А. БАБОРЕКО И. А. БУНИН

А. БАБОРЕКО

И. А. БУНИН

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ


Ив. Бунин
14. XII 33

А. БАБОРЕКО

И. А. БУНИН



(С 1870 по 1917)



Издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1967

8Р1
Б12

Оформление художника
Э. Ракузиной

7—2—3
268—66

ОТ АВТОРА

Предлагаемая вниманию читателей работа является результатом многолетних изысканий. В ней собран и систематизирован в хронологическом порядке архивный и малоизвестный материал (документы, письма, воспоминания и т. д.) о крупнейшем русском писателе И. А. Бунине. Многие из этих материалов вводятся в обращение впервые.

Не претендуя на полноту изложения, автор стремится дать как можно больше малоизвестных фактов и сведений о жизни Бунина, представляющих интерес как для широкого читателя, так и для специалиста-литературоведа, углубленно изучающего жизнь и творчество писателя.

Род Буниных ведет свое начало от Симеона Бунковского, который в XV веке выехал из Литвы к московскому Великому Князю Василию Темному. Будучи «мужем знатным», как говорится в «Гербовнике дворянских родов», Симеон Бунковский вместе со своей дружиной поступил к нему на «ратную службу».

Правнук Симеона Бунковского — Александр Лаврентьев сын Бунин в войне против татар был убит под Казанью. Другой его предок, стольник Козма Леонтьев Бунин, — как писал И. А. Бунин 18 ноября 1895 года поэту А. А. Коринфскому, ссылаясь на Словарь Брокгауза, — «в 1676 году пожалован от царей Иоанна и Петра Алексеевичей «за службу и храбрость» на поместья грамотою» [1].

В Дворянской родословной книге, хранящейся в Орловском областном архиве, записана «Родословная и доказательства о дворянстве рода Буниных». В этой записи указывается, что предку Буниных Якову «по грамоте царя Петра Алексеевича 1706 года велено отказать поместье в разных деревнях и пустошах, он же Яков Бунин по указу Правительствующего сената 1722 года внесен в список московских дворян».

Среди предков Бунина было немало людей даровитых — «видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства» [2].

В старину из рода Буниных вышло два знаменитых гравера. На последнем листе букваря, по которому учился сын Петра царевич Алексей и где выгравированы сорок три листа, указано: «Сей букварь сочинил

иеромонах Карион, а знаменил и резал Леонтий Бунин. 7202 (1694)». Леонтий Бунин печатал гравюры, заимствуя для этого иностранные образцы, главным образом голландские. Знаменит был гравер по меди Петр Бунин, сын Леонтия, учившийся искусству у голландского мастера, для чего, по указу Петра Первого, получал государственное содержание.

Предками автора «Деревни» являются поэтесса А. П. Бунина и В. А. Жуковский — сын тульского помещика Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи.

У деда И. А. Бунина, Николая Дмитриевича, было трое детей: Николай, Алексей и Варвара. Все они были людьми незаурядными. Некоторые черты деда писатель придал Петру Кириллычу («Суходол») и помещику Хвощинскому («Грамматика любви»).

Вот что рассказывает о них В. Н. Муромцева-Бунина по семейным преданиям:

«Отец любил повествовать и о более близких предках, о своем деде, который был человек богатый, имел поместья в Воронежской и Тамбовской губерниях и только под старость поселился в своей родовой вотчине Орловской губ., Елецкого уезда, в Каменке...

— При моем отце, Николае Дмитриевиче, — рассказывал Алексей Николаевич,— был здесь уже полустепной простор, засеянные поля. Но сад еще был замечательный: аллея в семьдесят развесистых берез, а фруктовый сад какой! а вишенник, малинник, сколько крыжовнику, а дальше целая роща тополей, а вот дом оставался под соломенной крышей и горел несколько раз, потом опять отстраивался, икона безглавого Меркурия тоже несколько пожаров выдержала, даже один раз раскололась!

Рассказывал, что мать его (рожденная Уварова) была красавицей: «Она рано умерла, и отец так тосковал, что даже тронулся, впрочем, говорят, что во время Севастопольской кампании, когда мы были на войне, он как-то лег спать после обеда под яблоней, поднялся вихрь, и крупные яблоки посыпались на его голову... После чего он и стал не вполне нормальным».

Мать тоже иногда вмешивалась в разговор и сообщала детям, что ее предки были помещиками Костромской, Московской, Орловской и Тамбовской губерний и что в их семье жила легенда: некогда Чубаровы были князьями. Петр Великий казнил одного князя Чубарова,

стрельца, сторонника царевны Софьи, и лишил весь род княжеского титула...» [1]

Варвара Николаевна, родная тетка Ивана Бунина, жила в своем именье Каменка, описанном Буниным под названием Суходола. Изображена она как в повести «Суходол», так и в раннем рассказе Бунина «Фантазер» и в очерке «Шаман и Мотька».

Алексей Николаевич, отец поэта, помещик Орловской и Тульской губерний, родился в 1824 году. Он был участником Крымской войны, куда отправился добровольцем вместе с братом Николаем, со своим ополчением (уволен из ополчения 5 декабря 1856 г.). Там встретился с Л. Н. Толстым.

Бунин писал:

«Отец, человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладевало им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев — он был очень вспыльчив — и того меньше» [2].

Это был, как писал Бунин в «Жизни Арсеньева», человек удивительный «талантливостью всей своей натуры, живого сердца и быстрого ума, все понимавших, все схватывавших с одного намека, соединявший в себе редкую душевную прямоту и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певучую романтичность сердца» [3].

Учился он в Воронежской гимназии, вместе с Н. С. Лесковым, но очень недолго: бросил занятия с первого класса. В старости много читал.

Из девяти его детей пять умерло в раннем возрасте. Сам он прожил восемьдесят два года, скончался 6 декабря 1906 года в имении сына Евгения Алексеевича, в Огневке.

Мать Бунина (урожденная Чубарова) родилась, по-видимому, в 1835 году в Огневке. Умерла в 1910 году.

В «Родословной рода гг. Чубаровых» [4] указывается, что отца Людмилы Александровны звали Александр Федорович Чубаров, мать — Анна Ивановна (урожденная Бунина). У них были еще дети: Иван (род. 2 февраля 1833 г. ум. 9 марта 1861 г.) и Мария (дата рожд. неизвестна — ум. 22 августа 1867 г.) — по первому мужу Бунина, а по второму Резвая. По свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной, смерть И. А. Чубарова

перенесена в «Суходол» — смерть Петра Петровича,— «лошадь, шедшая сзади розвальней, убила его копытом» [1]. Иван Алексеевич Бунин назван в честь своего дяди И. А. Чубарова.

Людмила Александровна «имела характер меланхолический. Она подолгу молилась перед своими темными большими иконами, ночью простаивала часами на коленях, часто плакала, грустила. Все это отражалось на впечатлительном мальчике» [2] — будущем поэте.

О своем детстве Бунин писал А. А. Коринфскому 18 ноября 1895 года:

«Родился я 10 октября 1870 года в Воронеже, куда мои родители переселились на время из деревни для воспитания моих старших братьев; но детство (с четырехлетнего возраста) мне пришлось провести в глуши, в одном из небольших родовых поместий (хутор Бутырки, Елецкого уезда, Орловской губ.).

Как я выучился читать, право, не помню, но правильно учиться я начал только тогда, когда ко мне пригласили гувернера, студента Московского университета некоего Н. О. Ромашкова, человека странного, вспыльчивого, неуживчивого, но очень талантливого — и в живописи, и в музыке, и в литературе. Он владел многими языками — английским, французским, немецким и знал даже восточные, так как воспитывался в Лазаревском институте, много видел на своем веку, и, вероятно, его увлекательные рассказы в зимние вечера, когда метели буквально до верхушек заносили вишенник нашего сада на горе, и то, что первыми моими книгами для чтения были «Английские поэты» (изд. Гербеля) и «Одиссея» Гомера, пробудили во мне страсть к стихотворству, плодом чего явилось несколько младенческих виршей... Десяти лет меня отдали в Елецкую гимназию, где курса я, к счастью, не докончил по болезни...» [3]

Бунин с раннего детства был человеком впечатлительным, с необычно живым воображением: «Все, помню, действовало на меня, — писал он, — новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, таинственные лощины за хутором, легенда о каком-то беглом солдате, едва живом от страха и голода и скрывавшемся в наших хлебах, ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, еще, может, при

Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за вишневый сад, на запад» [1].

В заявлении директору гимназии отец писал:

«Желая дать образование сыну моему Ивану Бунину во вверенном вам учебном заведении, имею честь покорнейше просить распоряжения вашего о том, чтобы он был подвергнут надлежащему испытанию и медицинскому освидетельствованию и помещен в том классе, в который он, по своим познаниям и возрасту, может поступить, при чем имею честь сообщить, что он приготовлялся к поступлению в первый класс и до сего времени обучался у меня дома. Желаю, чтобы сын мой, в случае принятия его в заведение, обучался в назначенных для того классах новым иностранным языкам, буде окажет достаточные успехи в обязательных для всех предметах, в противном же случае одному немецкому. При этом прилагаются свидетельства о возрасте, звании (и привитии оспы). К сему прошению Елецкий землевладелец коллежский регистратор Алексей Николаев Бунин.

Елец, 1881 года, августа 7 дня» [2].

Экзамен Бунин выдержал в начале августа.

Его зачислили в 1 «б» класс.

В «Автобиографическом конспекте» за 1881 год Бунин записал:

«С конца августа жизнь с Егорчиком Захаровым (незаконным сыном мелкого помещика Валентина Николаевича Рышкова, нашего родственника и соседа по деревне «Озерки») у мещанина Бякина на Торговой улице в Ельце. Мы тут «нахлебники» за 15 руб. с каждого на всем готовом» [3].

Затем Бунин жил у «ваятеля всего того, что требуется для кладбищенских памятников, — и целую зиму, каждую свободную минуту мял глину, лепил из нее то лик Христа, то череп Адама и достиг таких успехов, что хозяин иногда пользовался, — пишет он в «Автобиографических заметках» 1927 года, — моими черепами, и они попадали на чугунные кресты в изножья распятий, где, верно, и теперь еще пребывают, — где-то там, на монастырском кладбище в Ельце!» [4] Он обитал еще у двоюродной сестры Веры Аркадьевны Петиной, в замужестве — Орловой, после развода с мужем и продажи именья поселившейся в Ельце. Здесь было людно,

шумно. Актеры, бывавшие в доме Веры Аркадьевны, снабжали Бунина контрамарками на спектакли, и он часто бывал в театре.

В списке учеников, живущих не у родителей или близких родственников, составленном на 1 сентября 1884 года, значится, что Бунин, ученик 3 «б» класса, жил у мещанки А. О. Ростовцевой—Рождественская ул., д. Высотского, № 74; поступил на квартиру 16 августа 1883 года [1].

По записям в школьных журналах, Бунин год от года учился все хуже. В 1-м классе у него годовой балл по латыни и математике — «три», по остальным предметам «четыре» и «пять». В конце 1883/84 учебного года средний балл успеваемости $2^7/_8$, прилежание — «два», внимание — «три», манкировок — четырнадцать, в третьем классе учился два года.

Особенно страшила его математика, успехи в которой были наименее заметны. К тому же пропуски занятий, видимо по болезни, — он стал очень нервным, — трудно было восполнить домашними уроками. Отец сообщал старшему сыну Юлию Алексеевичу 9 мая 1885 года об успехах его младшего брата на экзаменах по латыни, греческому и русскому языкам; не предвиделось затруднений и с французским; «но математика жестоко его пугает,— пишет Алексей Николаевич,— собственно потому, что он был целый великий пост в деревне, времени много ушло почти без занятий, а Николай Иосифович (Ромашков. — *А. Б.)* сам не из лучших математиков; до окончания экзамена к математике остается две недели. Я и стремлюсь нанять репетитора, чтобы дело поправить» [2].

Сам И. А. Бунин в письме к Юлию Алексеевичу от 21 мая 1885 года называет «самым страшным» [3] экзамен по математике, который он, однако, выдержал и перешел в следующий класс «с наградой второй степени» [4].

Три четверти того, чему учили в гимназии, по словам Бунина, ни на что не было нужно и преподавалось тупо и казенно. Учителя в большинстве были люди серые и незначительные, а то и просто чудаки, вызывавшие насмешки своих воспитанников.

В праздничные дни Бунин любил бродить по Ельцу; на его окраине нередко играл с Егорчиком Захаровым в индейцев.

В гимназические годы Бунин писал стихи (автографы хранятся в Государственном музее И. С. Тургенева в Орле) — детски беспомощные, нередко фотографически изображая то, что его окружало, иногда подражал известным поэтам. Четырнадцатилетним гимназистом он напечатал без подписи «довольно лирическую корреспонденцию о двух бродягах, замерзших под нашей деревней в сильную вьюгу»[1].

В «Автобиографическом конспекте» 1883—1884 годов Бунин записал:

«В начале осени мой товарищ по гимназии, сын друга моего отца Цветков, познакомил меня в городском саду с гимназисткой Юшковой. Я испытал что-то вроде влюбленности в нее и, кажется, из-за нее так запустил занятия, что остался на второй год в третьем классе. Цветков был малый уже опытный в любовных делах, бодрый нахал».

Запись Бунина о 1885 годе:

«Перешел в 4 класс.

Начало июня сватовство Евгения, поездки к его невесте, в семью винокура Отто Карловича Туббе, в Васильевское. Ее сестра Дуня. Прогулка в Колонтаевку (это Шаховское в «Митиной любви».— В. М. *), по вечерам я под руку с Дуней, в которую будто бы влюблен. Как-то ночью возвращение из Озерок в Васильевское. Евгений и Настя. Мы с Дуней. Рассвет, гуси через дорогу (уже в Васильевском), не помня себя, осмелился — поцеловать едва-едва Дуню в щеку. Неизъяснимое чувство, уже никогда больше в жизни не повторившееся,— ужас блаженства[2].

Свадьба Евгения[3] — кажется, на Ильин день, в Знаменском (приходе Озерок). Пир в Озерках, всю ночь. На рассвете Дуня в постели, в гостиной. Поцелуи, больше ничего не смел. Петр Николаевич (двоюродный брат Бунина. — *В. М.)* с черной бородой. Иван Вуколыч (незаконный сын старика Пушешникова. — *В. М.)* хромой.

Вскоре неожиданный приезд Юлия из Харькова, из тюрьмы.

Настя (жена Евгения) ходит хозяйкой в кружевном капоте.

---

* Примечания В. Н. Муромцевой-Буниной.

В зале в солнечный вечер шутя подняла меня, — «вот я какая сильная», — и я почувствовал через капот ее...

Осенью рано утром Евгений повез меня в гимназию. Серое утро, ворота монастыря при въезде в Елец. Дуня гостила в Озерках, со слезами простился с ней, полусонный.

На Рождество приехал домой через Васильевское, Эмилия Васильевна Фехнер, гувернантка у Туббе. Тотчас влюбился.

В гимназию больше не вернулся».

Вера Николаевна Муромцева-Бунина приводит в своей книге и старые дневниковые записи И. А. Бунина:

«Переписано с истлевших и неполных клочков моих заметок того времени.

Конец декабря 1885 года...

Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, сердце ныло так сладко и даже по временам я плакал, сам не зная отчего; но и сквозь слезы и грусть, навеянную красотою природы или стихами, во мне закипало радостное светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думал я...

29 декабря 1885 г.

Сегодня вечер у тетки. На нем, наверно, будут из Васильевского, и в том числе гувернантка, в которую я влюблен не на шутку.

...Сердце у меня чуть не выскочило из груди! Она моя! Она меня любит! О! с каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими ручками, и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцелуй!..

Да! Пиша эти строки, я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!.. Может быть, некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое излияние нежных чувств! «Еще молокосос, а ведь влюбляется, скажут они!» Так! Человеку, занятому всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, то есть когда душа менее загрязнилась

и эти свойства более подходят к тому состоянию, когда она была чиста и, так сказать, даже божественна, правда слишком (следующее слово нельзя разобрать. — *И. Б.**). Но, может быть, именно более всего святое свойство души Любовь тесно связана с поэзией, а поэзия есть бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский... Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная; я слыхал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души, и смеяться над этим даже грешно! Что же касается до того, что я «молокосос», то из этого только следует то, что эти чувства более доступны «молокососу», так как моя душа еще молода и, следовательно, более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать эти чувства другим, а для того чтобы удержать в душе напевы:

Пронесутся года. Заблестит
Седина на моих волосах,
Но об этих блаженных часах
Память сердце мое сохранит...

...Остальное время вечера я был как в тумане. Сладкое, пылкое, чувство было в душе моей. Ее милые глазки смотрели на меня теперь нежно, открыто. В этих очах можно было читать любовь. Я гулял с ней по коридору и прижимал ее ручки к своим губам и сливался с нею в горячих поцелуях. Наконец пришло время расставаться. Я увидал, как она с намерением пошла в кабинет Пети. Я вошел туда же, и она упала ко мне на грудь. «Милый,— шептала она,— милый, прощай! Ты ведь приедешь на Новый год?» Крепко поцеловал я ее, и мы расстались».

«Продолжение дневника 27 января 1886 года.

Юлий живет в Озерках — под надзором полиции, обязан три года не выезжать никуда.

Зимой пишу стихи. В памяти морозные солнечные дни, лунные ночи, прогулки и разговоры с Юлием» [1].

---

* Примечание И. А. Бунина.

Юлий Алексеевич Бунин (родился 7 июля 1857 г., умер в 1921 г.), видный журналист и литературно-общественный деятель, был народовольцем, участвовал в в революционном студенческом кружке в Москве[1]. В 1884 году был арестован. В тюрьме пробыл около года, затем был выслан на три года под надзор полиции в Озерки и прожил там до осени 1888 года.

В Ельце Иван Бунин учился около четырех с половиною лет — до середины зимы 1886 года.

Педагогический совет 4 марта 1886 года за то, что ученик «четвертого класса *Бунин* Иван до сих пор не явился из рождественского отпуска и не взносил установленной платы за учение»[2], исключил его из гимназии. «Теперь детство, — писал Бунин в 1900 году в рассказе «Над городом», — кажется мне далеким сном, но до сих пор мне приятно думать, что хоть иногда поднимались мы над мещанским захолустьем, которое угнетало нас длинными днями и вечерами, хождением в училище, где гибло наше детство, полное мечтами о путешествиях, о героизме, о самоотверженной дружбе, о птицах, растениях и животных, о заветных книгах!»

Теперь он снова жил в деревне, но не в Бутырках, а в Озерках — старосветской усадьбе, доставшейся матери по наследству от бабушки Чубаровой, умершей в мае 1881 года. Озерки (в «Жизни Арсеньева»—Батурино) — зажиточная деревня, где был пруд, сады. Соседи Буниных — помещики Цвиленевы и Рышковы.

Жизнь Бунина в Озерках мало чем отличалась, повидимому, от его жизни в Бутырках, где он, по рассказу В. Н. Муромцевой-Буниной, дружил с крестьянскими ребятами, бывал с ними в ночном, рассказывал им сказки[3]. Позже, в «Автобиографических заметках», он вспоминал: «От дворовых и матери я в ту пору много наслушался песен, сказок, преданий, слышал, между прочим, «Аленький цветочек», «О трех старцах», — то, что потом читал у Аксакова, у Толстого. Им же я обязан и первыми познаниями в народном и старинном языке»[4].

«По вечерам он уходил на часок в очередную избу «на посиделки», — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — куда вносил оживление своими шутками, а иногда и рассказами.

Ходил и «на улицу», где «страдали», плясали, и он сам иногда придумывал «страдательные» или плясовые, которые вызывали смех и одобрение» [1].

С удовольствием слушал молодой поэт старинные песни, исполнявшиеся на посиделках. Несколько отрывков он записал:

— Матушка, с горы мёды текут,
Сударыня моя, мёды сладкие...

— Один-один мил — сердечный друг,
Да и тот со мной не в любви живет!

— Что запил, загулял, друг Ванюшечка,
Что забыл да забыл про меня!

— Воротися, веселье мое,
Я тебе ли да радость скажу!

— Уснул, уснул, мой желанный,
У девушки на руке,
На кисейном рукаве [2].

«Но что бы я ни делал, с кем бы ни разговаривал, — признавался он мне перед смертью, — вспоминает Вера Николаевна, — всегда меня точила одна мысль: мне уже восемнадцать лет! пора, пора!» [3]

В Озерках под руководством Юлия Алексеевича, кандидата университета, Бунин готовился на аттестат зрелости.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина вспоминает:

«Юлий Алексеевич рассказывал мне: «Когда я приехал из тюрьмы, я застал Ваню еще совсем неразвитым мальчиком, но я сразу увидел его одаренность, похожую на одаренность отца. Не прошло и года, как он так умственно вырос, что я уже мог с ним почти как с равным вести беседы на многие темы. Знаний у него еще было мало, и мы продолжали пополнять их, занимаясь гуманитарными науками, но уже суждения его были оригинальны, подчас интересны и всегда самостоятельны.

Мы выписали журнал «Неделя» и «Книжки Недели», редактором которых был Гайдебуров, и Ваня самостоятельно оценивал ту или другую статью, то или иное произведение литературы. Я старался не подавлять его

авторитетом, заставляя его развивать мысль для доказательства правоты своих суждений и вкуса» [1].

Осенью 1886 года, шестнадцатилетним юношей, Бунин начал писать роман, озаглавленный «Увлечение», который закончил 26 марта 1887 года [2]. Роман напечатан не был. Только включенные в него строки из стихотворения И. С. Тургенева «Призвание» («О, приди же. Над водами //Машут лебеди крылами. //Колыхается волна...» и т. д.) вошли потом в «Митину любовь». Писал он и стихи. Некоторые из написанных в этом году стихотворений он включил в собрание сочинений 1915 года.

Впоследствии Бунин писал:

«Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Современниками моими были тогда люди очень разнообразные: Григорович, Толстой, Щедрин, Лесков, Глеб Успенский, Эртель, Гаршин, Чехов, Короленко, Вл. Соловьев, Фет, Майков, Полонский, Надсон, Фофанов, Мережковский... Декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в восьмидесятые годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть, сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описания действительности... Отчасти эти утверждения простительны: тут декаденты и символисты были верны давним нравам русской жизни, каждое десятилетие которой всегда имело своих собственных героев, в свой срок неизменно притязавших на исключительное право быть «солью земли», эру начинавших только с самих себя. Но правильны ли эти утверждения? Давно ли перед тем появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни» Фета, стихи Вл. Соловьева? Можно ли назвать серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате». И так ли уж были не новы — и по духу и по форме — как раз в те дни выступившие Гаршин, Чехов?» [3]

В «Автобиографическом конспекте» за 1887 год Бунин записал:

«Смерть Надсона. Посылка в «Родину» стихов. Появление стихотворения «Нищий» в мае.

Тотчас отправился пешком в Озерки, рвал по лесам

росистые ландыши и поминутно перечитывал свои стихи, это утро никогда не забудешь».

Смерть Надсона произвела большое впечатление на Бунина. 22 февраля 1887 года он напечатал в «Родине» стихи «Над могилой С. Я. Надсона».

Двадцать седьмого февраля 1887 года он начал писать большую поэму в трех песнях «Петр Рогачев» — подражание «Евгению Онегину» [1]. Написал только первую часть, которая была завершена им 5 марта 1887 года.

В августе 1888 года Юлий Алексеевич уехал в Харьков, позднее он должен был выписать к себе и младшего брата.

Бунин по-прежнему посылал стихи в столичные журналы, написал статью «Поэзия и отвлеченное мышление» [2] и намеревался отправить ее в «Неделю», обещал «Родине» присылать каждый месяц журнальные обозрения.

Двадцатого ноября Бунин сообщал брату, что редактор «Недели» Гайдебуров прислал ему письмо, в котором пишет, что у него «есть несомненные задатки поэтического творчества» [3].

Однообразие деревенских впечатлений, необходимость постоянно видеть вокруг себя одни и те же лица приводили Бунина в уныние. 26 декабря 1888 года он писал Юлию Алексеевичу из Глотова:

«Прежде всего скажу тебе, что пишу письмо едва не со слезами. Тоска такая, что грудь даже ломит. Правда, я все время старался исполнять твой совет и все время не раскисал почти ни капли. Но вчера и нонче, — как дьявол на мне поехал. И понимаешь, дорогой мой Юричка, ничего не могу с собой сделать: вчера целый вечер едва сидел. Просто видеть никого не могу из этих скотов. Нонче то же самое.

Одинокий, потерянный,
Как в пустыне стою...

Милый, голубчик, ей-богу, не ломаюсь! Даже ночью снится что-то необычайно темное и грустное, сердце щемит во сне даже. Евгений говорит, что это — желчь, но хотя я и чувствую себя в самом деле нездоровым, не соглашаюсь с ним: лицо совершенно не желтое. Похудел я, правда, здорово и бесцветен, как рыба... Ужасно

жаль, что ты не приехал к Рождеству. Полежали бы опять в детской на кровати, поговорили бы и почитали... У нас, разумеется, все идет поразительно похоже на прошлый год»[1].

Двадцатого января 1889 года Бунин получил приглашение сотрудничать в «Орловском вестнике», газете «общественной жизни, литературы, политики и торговли». Он сообщает об этом Юлию Алексеевичу: «Вчера я отправился к Назарову (поэту-самоучке, проживавшему в то время в Ельце.— *А. Б.*) вечером и не застал его. Жена его говорит, что я ему *страшно* нужен. Я в Биржу. Там он мне сообщил следующее: «У меня, говорит, три раза была Семенова (издательница «Орловского вестника») и убедительно просила передать вам, «что она просит вас быть при «Орловском вестнике» *помощником редактора.* Редактор (неофициальный) там некто Борис Петрович Шелихов. Он тоже был у меня и говорил то же самое. Потом писал об этом». Я спросил у Назарова, что, может быть, Шелихов думает, что я был где-нибудь в университете, или не знает, что мне восемнадцать лет; Назаров говорит, что Шелихов и Семенова знают отлично, что я нигде почти не был, знают, что я так молод, но думают, что я для них вполне годен. Шелихов слишком занят и типографией, и корректурой, и корреспонденциями и т. п., так что ему некогда перерабатывать даже различные сведения из жизни Орла. Поэтому он думает, что я ему буду хорошим помощником, буду писать фельетоны, журнальные заметки и т. п. Семенова читала в «Родине» мое журнальное обозрение и восхищается моим уменьем владеть пером... При редакции прекрасная библиотека, получаются буквально *все* журналы. Подумай, какая прелесть! К тому же навсегда там меня не привяжут. Семенова, говорит Назаров, прекрасная, простая дама или барышня, что ли (она живет вполне официально с Шелиховым: молоденькая еще!), отвечай же, Юричка, поскорее, ехать мне или нет»[2].

Прежде, чем принять предложение Семеновой, Бунин отправился к брату в Харьков.

Он надеялся, что Юлий Алексеевич найдет ему хоть «пустяковую работу» при редакциях газет «Южный край» или «Харьковских губернских ведомостей». Прожил он здесь, однако, недолго, месяц или два, — пого-

стил у брата, который сам обосновался в этом городе лишь на время, не имел определенных занятий и искал поддержки друзей.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина пишет:

«Он прожил в каморке Юлия месяца два, его полюбили, но он был юноша непокладистый, не скрывал своего отрицательного отношения к тому, что ему не нравилось, бросался в споры со всеми, несмотря на возраст и уважение, которое окружало того или другого человека. С некоторыми он подружился, в том числе с Босяцкими, присяжным поверенным и его женой Верой, с которой скоро перешел на «ты», так как они подходили друг к другу по возрасту. Много позднее мы с Иваном Алексеевичем один раз были у них в Москве; действительно, милые, умные и приятные люди. Сошелся с семьей Воронец. Подружился он с одним поляком-пианистом, богатым человеком...

Характер у него был вспыльчивый, независимый, порой дерзкий, мнения свои он отстаивал яростно, спорил со всяким, какого бы ранга он ни был. Ему почти все прощали его выходки, насмешки и восхищались его уменьем изображать кого-нибудь из отсутствующих» [1].

«Как-то его друг, — продолжает Вера Николаевна,— пианист, после игры рассказал, что был в Зальцбурге в музее Моцарта, где находятся его старинные клавикорды, а в витрине — его череп.

Иван Алексеевич позднее, когда мы с ним были в Зальцбурге и первым долгом зашли в дом Моцарта, поведал мне, как он чуть с ума не сошел, услыхав рассказ от харьковского пианиста, что он здесь был, и как Ивану Алексеевичу тогда страстно захотелось прославиться написать какую-нибудь замечательную вещь, тогда даже он чуть не ушел от ужина, — такое у него явилось желание сразу попасть в Зальцбург и увидеть все своими глазами. И он долго стоял и смотрел то на череп, то на клавикорды» [2].

Из Харькова Бунин уехал в Крым. 13 апреля 1889 года он прибыл в Севастополь, и в тот же день писал родным:

«Я приехал в Севастополь только сегодня...

Севастополь мне не особенно понравился. Ты, папа, наверное не узнал бы его: теперь он совершенно отстроился, но плох тем, что почти совершенно лишен

зелени. Красоту его составляет, разумеется, море. Часа в три дня я нанял парусную лодку, ездил (конечно, не один, а с рыбаками) к Константиновской крепости, потом в открытое море. День сегодня был — прелестный; волны прозрачные, совершенно изумрудные. Даль видна верст на сорок. Вечером гулял на бульваре, слушал музыку, смотрел на закат солнца, — выбрал на самом берегу на возвышенности скамеечку и одиноко сидел, глядел в даль, до тех пор, пока совсем не стемнело. Потом воротился в свой нумер и, вспомнив, что я теперь отдален от вас целою тысячею верст, загрустил немного.

До свидания, мои дорогие; завтра отправлюсь к Байдарским воротам, а потом в Ялту.

14 и 15 апреля.

Сегодня я отправился к Байдарским воротам. Ехать пришлось на перекладных (до Байдарских ворот две станции) по шоссе, в бричке. Бричка совершенно в таком же роде, как обыкновенные солдатские телеги, крашенные зеленою краскою; лошадей впрягается пара, в дышло. Ехать, во всяком случае, не очень-то удобно, да и дорога сначала, от Севастополя неинтересная: голая, песчаная и каменистая. Однако, начиная от Балаклавы, идут уже горы и местность меняется; чем дальше — горы все неприступнее и выше, леса по ним гуще и живописнее, становится дико и глухо, изредка где-нибудь у подошвы горы белеет одинокая татарская хатка; самая большая деревенька — это Байдары, в Байдарской долине. Там уж настоящая красота. Долина вся кругом в горах, вся в садах; не знаю почему, только горы постоянно в какой-то голубой дымке, — словом, роскошь. Около самых Байдарских ворот — станция. Байдарскими воротами называется широкий проход между двумя самыми высокими горами — вот так: (тут в письме рисунок. — *А. Б.*). В этом проходе, как видно на рисунке, построены искусственные ворота. Я слез на станции и спокойно пошел к воротам. Но едва я вышел из ворот, как отскочил назад и замер от невольного ужаса: море поразило меня опять. Под самыми воротами — страшный обрыв (если спускаться по этому обрыву по извилистой дороге — до моря считается версты три), а под

ним и впереди и направо и налево верст на пятьдесят вдаль — открытое море. Поглядишь вниз — холод по коже подирает; но все-таки красиво. Справа и слева ворот — уходят в небо скалы, шумят деревья; высоко, высоко кружатся орлы и горные коршуны. С моря плывет свежий, прохладный ветер; воздух резкий.

Ночевал я на станции и утром отправился обратно пешком (до Севастополя — сорок верст). Сначала шел прекрасно; в Байдарах есть трактир, зашел, ел яйца, пил крымское вино. На улицах — сидят на земле татары, пробуют лошадей и т. д. Около деревни встретил пастуха, загорелую круглую морду под огромной мохнатой шапкой. Сел, разговор начали:

— Сабанхайрос, — говорит пастух.

— Сиги-манан, — отвечаю я ему дружески.

Пастух осклабился; потом развернул какие-то вонючие шкуры, достал куски черного, как уголь, сухого хлеба — отмек куша́ешь? — спрашивает и подает мне. Я взял, спрятал и пошел дальше.

Полдень застал меня в горах, жара — дышать невозможно; кое-как добрался до станции, потом нанял обратного ямщика и за тридцать копеек доехал до Севастополя. Ямщик оказался славный малый, солдат, настоящий тип. Низенький, коренастый; ватный картуз набок, на левом виске ухарски взбиты волосы...

Скоро мое путешествие кончилось» [1].

Путешествие, о котором рассказывается в этом письме, отразилось в «Жизни Арсеньева» (книга 4, гл. 15).

Лето Бунин провел в деревне у родных, бывал и в Орле, в редакции, и у Бибиковых на Воргле.

Только осенью 1889 года Бунин переехал в Орел, где начал работать в редакции «Орловского вестника».

Жил он некоторое время у издательницы газеты Надежды Алексеевны Семеновой на Зиновьевской ул., дом № 2, где помещались редакция и типография [2]. Публичная библиотека «Орловского вестника», кабинет для чтения находились, как говорится в приложении к № 90 газеты от 9 июля 1888 года, на Болховской ул., дом 36 (бывший Красовского).

Надежда Алексеевна Семенова только номинально состояла редактором «Орловского вестника», фактически делами его занимался ее муж — Борис Петрович

Шелихов, который не мог выступать владельцем и редактором газеты, так как был политически неблагонадежен и состоял под надзором полиции.

Семенова является прототипом Авиловой в «Жизни Арсеньева». Б. П. Шелихов — прототип героя рассказа Бунина «Гость», Адама Адамовича.

В «Орловском вестнике» Бунин печатал свои рассказы, стихи, литературно-критические статьи и заметки в постоянном разделе «Литература и печать». Он был нередко фактическим редактором газеты. Вспоминая это время, Бунин говорил Н. А. Пушешникову в 1911 году: «Восемнадцатилетним мальчиком я был уже фактическим редактором «Орловского вестника», где я писал передовицы о постановлениях Святейшего Синода, о вдовьих домах и быках-производителях, а мне надо было учиться и учиться по целым дням!» [1]

О своей работе в газете Бунин писал Юлию Алексеевичу 27 июля 1890 года:

«Милый и дорогой Юринька! Я до сих пор еще в Орле. Занимаюсь в редакции (я,— знаешь ведь,— по-мальчишески люблю эту обстановку), хожу в летний сад и даже... как ты думаешь, на что решился? — Драму пишу!.. Попытка не пытка... Ты сам часто это говоришь. Может, выйдет и жалкая штука,— да если мне хочется писать?.. Кончу, должно быть, в середине августа и пришлю тебе, если ты уж будешь настолько груб, что сам не вырвешься в Озерки. Ты писал в прошлом письме, что желал бы видеть все мои фельетоны в «Орловском вестнике». Думаю, что *все* тебе будет неинтересно. Так, например, в конце июня было три моих фельетона,— перевод еврейской повести «Кляча» (то есть переводил, разумеется, не я, а... резчик печатей, а я переписал его перевод своими словами). Предисловие к этой «Кляче», впрочем, посылаю... Или, например, тоже недавно был мой фельетон «Театр графа Каменского в Орле» — опять-таки статья, составленная на основании каких-то мемуаров Шестакова в «Деле» за 73 год. Главным же образом строчу «Литературу и печать»,— заметки г... и маленькие, а за месяц все-таки набирается денег до 15, а иногда с фельетонами 20 рублей. Две копейки за строку. Впрочем, за последнее время стал писать меньше: надоело, опошлишься. Да и ты вряд ли рад, как ты пишешь, что я строчу все это.

Я, брат, помню твой совет не поддаваться «писательскому зуду»...» [1]

Писал Бунин в это время и рассказы. Несколько позже, по-видимому, в январе 1891 года он обратился к Чехову с просьбой прочитать несколько его рассказов и высказать о них свое мнение. Он писал Чехову:

«...Вы самый любимый мной из современных писателей, и так как я слыхал от некоторых моих знакомых (харьковских), знающих вас, что вы простой и хороший человек,— то «выбор» мой «пал» на вас. К вам я решился обратиться с следующей просьбой: если у вас есть свободное время для того, чтобы хоть раз обратить внимание на произведения такого господина, как я,— обратите, пожалуйста. *Ответьте мне, ради бога, могу ли когда-нибудь прислать вам два* или три моих (печатных) рассказа и прочтете ли вы их когда-нибудь от нечего делать, чтобы сообщить мне несколько ваших заключений...» [2]

У газеты «Орловский вестник» было четыре цензора, в том числе — вице-губернатор, навязывавший ей свои личные взгляды и вкусы. По воспоминаниям журналиста и активного участника народнического движения И. П. Белоконского, сотрудничавшего в ней в те годы, когда входил в ее редакцию Бунин, каждое утро, приступая к делу, наводили справки: «Кто сегодня цензор?» [3] Материал для газеты, запрещенный одним цензором, давали другому, пользуясь тем, что цензоры ссорились между собою.

В редакции и в Литературно-художественном кружке Бунин встречался с видными деятелями народничества и с поднадзорными. Некоторые из них не один год провели в тюрьме и в ссылке. В их числе, кроме Белоконского, были М. А. Натансон, в прошлом — участник освободительного движения, теперь служащий Орловско-Грязской железной дороги; А. В. Пешехонов, статистик орловского земства, впоследствии — видный публицист; активный член партии «Народное право» И. Н. Львов, кандидат математических наук, недолгое время заведовавший статистическим бюро. Несомненно, что общение с такими людьми, как Пешехонов или Львов, не могло не сказаться на пробуждении общественных интересов Бунина.

такъ какъ Вы самый любимый
мною
изъ современ. писателей и такъ какъ
я слышалъ отъ нѣкоторыхъ моихъ
знакомыхъ (харьковскихъ), знающихъ
Васъ, что Вы простой и добрый
человѣкъ, — то „выборъ" мой
„палъ" на Васъ. Къ Вамъ я рѣ-
шился обратиться съ слѣдующей
просьбой: если у Васъ есть свобод-
ное время для того, чтобы хоть разъ
обратить вниманіе на произведенія
такого господина, какъ я, — обратите
пожалуйста. Отвѣтьте мнѣ ради
Бога, могу-ли когда нибудь прис-
лать Вамъ два-три моихъ
(печатныхъ) разсказа и прочтете-ли
Вы ихъ когда-нибудь отъ нечего
дѣлать, что-бы сообщить мнѣ
нѣсколько Вашихъ заключеній...
и будьте снисходительны къ просьбѣ

Искренно уважающаго Васъ

Ив. Бунина

В редакции некоторое время работала корректором В. В. Пащенко. Бунин писал о Варваре Владимировне 28 августа 1890 года Юлию Алексеевичу:

«Я познакомился с нею года полтора тому назад (кажется, в июне прошлого года), в редакции «Орловского вестника». Вышла к чаю утром девица высокая, с очень красивыми чертами лица, в пенсне. Я даже сначала покосился на нее: от пенсне она мне показалась как будто гордою и фатоватою. Начал даже «придираться». Она кое-что мне «отпела» довольно здорово. Потом я придираться перестал. Она мне показалась довольно умною и развитою. (Она кончила курс в Елецкой гимназии.) Потом мы встретились в ноябре (как я к тебе ехал). Тут я прожил в редакции неделю и уже подружился с нею, даже откровенничал, то есть немного изливал разные мои чувства. Она сидела в своей комнате с отворенною дверью, а я, по обыкновению, на перилах лестницы, около двери. (На втором этаже.) Не помню, говорил ли я тебе все это. Если и не говорил, то только потому, что не придавал этому никакого значения, и, ради Христа, не думай, что хоть каплю выдумываю: ну из-за чего мне?

Потом мы встретились в самом начале мая у Бибиковых (в их имении в селе Воргол. — *А. Б.*) очень радостно, друзьями. Проговорили часов пять без перерыву, гуляя по садочку. Сперва она играла на рояле в беседке все из Чайковского, потом бродили по дорожкам. Говорили о многом; она, честное слово, здорово понимает в стихах, в музыке. И не думай, пожалуйста, что был какой-нибудь жалкий шаблонный разговор. Уходя и ложась спать, я думал: «Вот милая, чуткая девица». Но кроме хорошего, доброго и, так сказать, чувства удовлетворения потребности поговорить с кем-нибудь, ничего не было...

Потом мы вместе поехали в Орел,— через несколько дней,— слушать Росси. Опять пробыли в Орле вместе с неделю. Иногда среди какого-нибудь душевного разговора, я позволял себе целовать ее руку — до того мне она нравилась. Но чувства ровно никакого не было. В это время я как-то особенно недоверчиво стал относиться к влюблению. «Все, мол... пойдут неприятности и т. д.»

Можешь поверить мне, что за это время я часто думал и оценивал ее, и, разумеется, беспристрастно. Но

симпатичных качеств за нею, несмотря на мое недоверие, все-таки было больше, чем мелких недостатков. Не знаю, впрочем, может быть, ошибаюсь.

С июня я начал часто бывать у них в доме. С конца *июля* я вдруг почувствовал, что мне смертельно жалко и грустно, например, уезжать от них. Все больше и больше она стала казаться мне милою и хорошею; я это начал уже чувствовать, а не умом только понимать. Но не называл это началом влюбления и, помнишь, пиша тебе из Орла о ней, говорил правду. Сильное впечатление (в смысле красоты и т. п.) произвела она на меня накануне моего отъезда, со сцены: она играла в «Перекати-поле» (Гнедича) любительницей, играла вполне недурно, главное,— очень естественно *. Ночью, вспомнив, что я завтра уезжаю, я чуть не заплакал. Утром я написал ей, напрягая всю свою искренность, стихотворение...

Написал и сейчас же злобно зашагал вниз. Простились мы очень холодно, по крайней мере и она и я с серьезным видом. Это было в самом конце июля.

В начале августа я опять был у них. Когда я начал бормотать, что, мол, не вздумайте еще посмеяться над стихами, она сказала: «Если вы меня считаете способной на это, зачем писали? И зачем подозреваете, когда знаете, как я отношусь к вам. Вы мне всегда казались милым и хорошим, как никто». Уехал я опять с грустно-поэтичным чувством. Дома я долго размышлял над этим. Чувство не проходило. И хорошее это было чувство. Я еще никогда так разумно и благородно не любил. Все мое чувство состоит из поэзии... Милый Юринька, ты не поверишь, каким перерожденным я чувствовал и чувствую себя!..

Восьмого августа я опять приехал к ним в Елец и вместе с ее братом и с нею поехал к Анне Николаевне Бибиковой ** в имение их верст за десять от Ельца на Воргле. У Бибиковой есть еще брат Арсений (лет 18), приехала еще некая Ильинская, барышня, занимавшаяся прежде в «Орловском вестнике». Стариков — только

---

* Она готовится в «настоящие» актрисы. Мать у нее тоже была актрисой, а отец прежде держал оперу в Харькове. Прожился и стал уже специально заниматься докторством. *(Прим. И. А. Бунина.)*

** Вот тоже милая и умная девушка! *(Прим. И. А. Бунина.)*

один Бибиков, но он к нам почти не показывался. Было очень весело и хорошо. Мы провели там трое суток. И вот 12-го ночью мы все сидели на балконе. Ночь была темная, теплая. Мы встали и пошли гулять с Пащенко по темной акациевой аллее. Заговорили. Между прочим, держа ее под руку, я тихонько поцеловал ее руку.

— Да вы уж серьезно не влюблены ли? — спросила она.

— Да что об этом толковать,— сказал я,— впрочем, если на откровенность, то есть, кажется, *да*. — Помолчали.

— А знаете,— говорит,— я тоже, кажется... могу полюбить вас.

У меня сердце дрогнуло.

— Почему думаете?

— Потому что иногда... я вас ужасно люблю... и не так, как друга; только я еще сама не знаю. Словно весы колебаются. Например, я начинаю ревновать вас... А вы — серьезно это порешили, продумали?

Я не помню, что ответил. У меня сердце замерло. А она вдруг порывисто обняла меня и... уж обычное... я даже не сразу опомнился! Господи! что это за ночь была!

— Я тебя страшно люблю сейчас,— говорила она,— страшно... Но я еще не уверена. Ты правду говоришь, что часто на то, что говоришь вечером, как-то иначе смотришь утром. Но сейчас... Может быть, ввиду этого мне не следовало так поступать, но все равно... Зачем скрываться?.. Ведь сейчас, когда я тебе говорю про свою любовь, когда целую тебя, я делаю все это страшно искренне...

На другой день она действительно попросила меня «забыть эту ночь». Вечером у нас произошел разговор. Я просил ее объяснить мне, почему у нее такие противоречия. Говорит, что сама не знает; что сама не рада. Расплакалась даже. Я ушел, как бешеный. На заре она опять пришла на балкон (все сидели в доме, а я один на нем), опять обняла, опять начала целовать и говорить, что она страшно бы желала, чтобы у нее было всегда ровное чувство ко мне.

Кажется, 14-го мы уехали с Воргла. Я верхом провожал ее до Ельца. На прощанье она попросила меня возвратить ее карточку.

— Хорошо,— сказал я и заскакал, как бешеный. Я приехал в Орловскую гостиницу совсем не помня себя. Нервы, что ли, только я рыдал в номере, как собака, и настрочил ей предикое письмо: я, ей-богу, почти не помню его. Помню только, что умолял, хоть минутами любить, а месяцами ненавидеть. Письмо сейчас же отослал и прилег на диван. Закрою глаза — слышу громкие голоса, шорох платья около меня... Даже вскочу... Голова горит, мысли путаются, руки холодные — просто смерть. Вдруг стук — письмо! Впоследствии я от ее брата узнал, что она плакала и не знала, что делать. Наконец, настрочила мне: «Да пойми же, что весы не остановились, ведь я же тебе сказала. Я не хочу, я пока, видимо, не люблю тебя так, как тебе бы хотелось, но, может быть, со временем я и полюблю тебя. Я не говорю, что это невозможно, но у меня нет желания солгать тебе. Для этого я тебя слишком уважаю. Поверь и не сумасшествуй. Этим сделаешь только хуже. Со временем, может быть, и я сумею оценить тебя вполне. Надейся. Пока же я тебя очень люблю, но не так, как тебе нужно и как бы я хотела. Будь покойнее».

До сих пор еще не определилось ничего...» [1]

Пащенко была одних лет с Буниным, родилась она в 1870 году [2]. В 1888 году Пащенко закончила гимназию. В ее «Аттестате» сказано, что «ученица 7 класса Елецкой женской гимназии Варвара Владимировна Пащенко, как видно из документов, дочь врача, православного вероисповедания, имеющая от роду 17 лет, поступила, по свидетельству Царицынской прогимназии, в 3-й класс Елецкой женской гимназии 1882 года октября 5 дня...» [3].

По окончании седьмого класса Пащенко поступила в восьмой — дополнительный класс «для специального изучения русского языка», как она писала в заявлении начальнице Елецкой женской гимназии 26 августа 1887 года [4].

Бунин писал ей 9 апреля 1891 года:

«Драгоценная моя, деточка моя, голубеночек! Вся душа переполнена безграничною нежностью к тебе, весь живу тобою. Варенька! как томишься в такие минуты! Можно разве написать? Нет, я хочу сейчас стать перед тобою на колени, чтобы ты сама видела все, — чтобы даже в глазах светилась вся моя нежность и предан-

ность тебе... Неужели тебе покажутся эти слова скучным повторением? Ради Христа, люби меня, я хочу, чтобы в тебе даже от моей заочной ласки проснулось сердце. Господи! ну да не могу я сказать всего. Право, кажется, что много хорошего есть у меня в сердце, и все твое, — все оживляется только от тебя. О, Варюшечка, не хвастовство это! К чему сейчас скверное мелкое самолюбие?..

Вот, например, за последнее время я ужасно чувствую себя «поэтом». Без шуток, даже удивляюсь. Все — и веселое и грустное — отдается у меня в душе музыкой каких-то неопределенных хороших стихов, чувствую какую-то творческую силу создать что-то настоящее. Ты, конечно, не знаешь, не испытывала такое состояние внутренней музыкальности слов и потому, может быть, скажешь, что я чепуху несу. Ей-богу, нет. Ведь я же все-таки родился с частичкой этого. О, деточка, если бы ты знала все эти мечты о будущем, о славе, о счастии творчества. Ты должна знать это: все, что есть у меня в сердце, ты должна знать, дорогой мой друг. Нет, ей-богу, буду, должно быть, человеком. Только кажется мне, что для этого надо не «место», а сохранять, как весталке, чистоту и силу души. А ты называешь это мальчишеством. Голубчик, ты забываешь, что я ведь готовил себя с малолетства для другой, более идеалистической жизни» [1].

В то время Бунин сильно нуждался. 29 мая 1891 года он писал Юлию Алексеевичу:

«Если бы ты знал, как мне тяжко!.. Я больше всего думаю сейчас о деньгах. У меня нет ни копейки, заработать, написать что-нибудь — не могу, не хочу... Штаны у меня старые, штиблеты истрепаны. Ты скажешь — пустяки. Да я считал бы это пустяками прежде, но теперь это мне доказывает, до чего я вообще беден, как дьявол, до чего мне придется гнуться, *по неволе* расстраивать все свои лучшие думы, ощущения заботами (например, сегодня я съел бутылку молока и супу даже без «мягкого» хлеба и целый день не курил,— не́ на что).

И этакая дура хочет жениться, скажешь ты. Да, хочу! *Сознаю* многие скверности, препятствующие этому, и потому вдвойне — беда!.. Кстати о ней: я ее люблю (знаю это потому, что чувствовал не раз ее другом

своим, видел нежною со мною, готовой на все для меня); это раз; во-вторых, если она и не вполне со мной единомышленник, то все-таки — девушка, многое понимающая... Ну, да впрочем, куда мне к черту делать сейчас характеристики!..

Я тебя, кроме твоих советов, которые, богом клянусь, ценю глубоко, дорогой мой, милый Юринька, хотел просить еще места в Полтаве, рублей на сорок, на тридцать пять, да еще буду кое-что зарабатывать литературой — проживем с нею; а, главное, *с тобою,* в одном городе!

Пишу несвязно, по-мальчишески — понимаю. Лучше не могу. Прощай и не называй меня дураком: мне тяжко, как собаке, — смерть моя!

Может быть, приеду к тебе, когда — не знаю.

Читаю Шпильгагена «Загадочные натуры» [1].

Нередко он обращался к Юлию Алексеевичу с просьбой выслать пять—десять рублей или хоть два рубля немедленно. В письме от 15 августа 1891 года он писал брату: «...Нужда положительно приперла меня к стене, убивает все надежды и думы своею *неумолимою безвыходностью...* Поверь, Юричка, не раз уже я доходил изза денег чуть не до петли, — но такого положения не было!» [2]

В мае—октябре 1891 года он писал тому же адресату:

«Скажи, пожалуйста — неужели ты думал, что я на самом деле такая скотина, что не понимаю, насколько страшно я запутался? А я, брат, запутался. Прежде всего я понял, что мое образование кончено. Теперь я уже никуда не приготовлюсь и в ноябре буду солдатом. Сознаю, что это гадость, слабость — но ведь я сам — эта слабость — и, следовательно, я мучился и мучаюсь *вдвойне.* Вдумайся. Затем кое-что помельче: где мне жить? Дома? Бедность, грязь, холод, *страшное одиночество* — раз. Глядеть в глаза семье, перед которой я глубоко виноват — тяжело, страшно тяжело — два... Следовательно, как я поеду туда? Да я и так там не был с декабря. В редакции — работа проклятая, сволочи они оказались при близком сожительстве—страшные. Я сам думал, что не буду работать, буду лениться иногда. Вышло иначе: я работал, как никогда в жизни... Ты удивишься, не поверишь, — я и сам не верил. Но поборол

себя. И в награду за это придирки, кричат как на сапожника, устраивают скандалы из того даже, если я пойду вечером в гости... Да что — не расскажешь. Я говорил Лизе.

Затем — перед тобой свинство, затем эта любовная история. Вдумывался, образумливал себя, говорил себе, что мне уж видно не до любовных историй — нет, не могу забить себя. А разве я могу жениться. Мне даже приходится не видать ее черт знает по скольку.

В конце января я был в Ельце. Там, желая проехать домой и не смея, не имея даже возможности вследствие безденежья, я дошел черт знает до чего. Когда я поехал в Орел, я был совсем больной; я плакал навзрыд в вагоне, и наконец около самых Казаков выскочил из вагона, с платформы. Убился не особенно и был приведен стрелочником в вокзал. Тут расспросы жандарма, скотина начальник станции. До вечера один-одинешенек я проревел в дамской комнате. Даже соображенье совсем ослабло. Вечером меня препроводили в Елец. Там я пролежал у Пащенко дня четыре; желчь разлилась ужасная. Воротился в Орел — скандал, ежедневные упреки в том, что я целую неделю был в отсутствии. Я опять разболелся. И надо было через силу работать. Плохо, смутно прошел февраль. В конце февраля мы, то есть я, Варя и ее мать, поехали в Елец. В вагоне ночью у меня болели зубы. Я лег, и Варя стала укрывать меня пледом и целовать меня, ласкать. В это время подошла ее мать! Мы, разумеется, не стали отрицать. Разумеется, на другой день вышел скандал... Главным образом она возмутилась, что мы не сказали ей всего сперва, сначала... Но это все ты, пожалуй, сочтешь пустяками... Денег у меня теперь нету. Рублей 40 будет только к Святой. Хорошо все? Комментировать подробнее все сказанное — не могу даже. Прощай пока. Я теперь, брат, чувствую себя настолько несчастным, настолько погибшим, что не могу ныть: все это слишком серьезно. Только скажу одно: я страдал за два последних месяца так, как, может быть, не буду во всю жизнь. Хочешь поверить — верь, хочешь пожалеть хоть немного — пожалей, брат. Ну да будет...

С редакцией разошелся, когда уже было написано это письмо... Вышла громадная ссора из-за моих заметок о «Московских ведомостях». Они страшно боятся

цензуры. Борис Петрович (Шелихов. — *А. Б.*) в конце концов сказал, что он даст мне в «рыло». Он бешеный, прямо-таки больной, но я не мог снесть — уехал. Еду домой!» [1]

О своем душевном состоянии Бунин писал Юлию Алексеевичу из Орла 10 августа 1891 года:

«Я сейчас в Орле, милый братка, вместе с Варварой Владимировной. Она приехала узнать окончательно, получит ли она место в Управлении Орловско-Витебской дороги. Кажется, я уже писал тебе, что ей предлагает Надежда Алексеевна еще и другое место — корректора в «Орловском вестнике», но последнее представляет вот какое затруднение: зная, что служу в редакции, ее не будут пускать родители служить со мной в одном доме... Впрочем, если в Витебском Управлении дело не выгорит, она все-таки будет корректировать, для чего, конечно, ей придется совсем перессориться дома. Но оба мы будем служить только тогда, когда уедет Борис Петрович, ибо при нем служить нельзя, нельзя будет с ним не перессориться вследствие его нервности. Уедет он, должно быть, совсем числа 20-го. Этот отъезд решился тяжело: позавчера он до того разволновался, что, когда пошел спать, хватился об пол в обмороке. Жалко его ужасно, но дело уже решено.

Состояние мое — крайне тревожное. Меня неотступно томит мысль о солдатчине. За последние же [дни] к этому прибавились еще думы о житье-бытье на свете, так сказать, «философского» характера. Для чего я только рождался! Я, например, знаю, что давай я себе волю думать в этом направлении — с ума сойду! Помнишь, — у меня было такое состояние в Озерках: явилась какая-то mania grandiosa, — все кажется мелко, пустяково... Ну, словом, я глуп, чтобы выразить все это, но ощущения, ей-богу, тяжелые.

Конечно, с Варей мне сравнительно легко. Мне даже кажется, не женись я — дело будет плохо... А женюсь?.. Не знаю!» [2].

С августа 1891 года В. В. Пащенко работала в управлении Орловско-Витебской железной дороги.

В ноябре Бунин проходил военный призыв. 17 ноября он телеграфировал в Орел Пащенко: «Свободен», — по жребию его не взяли, и через два дня он был зачислен в ополчение по второму разряду. Практически это означа-

ло, что ему придется служить только в случае войны. Об этом он рассказал в письме к В. В. Пащенко из Ельца от 17 ноября 1891 года:

«Сегодня ты, вероятно, получила мою телеграмму... С тех минут, когда определилось ее содержание, я никак не могу прийти в нормальное состояние. Каково, зверочек? Свободен! И свободен не до будущего года, а *навсегда!* Глупый случай перевернул все. Ведь за последние дни я не только не надеялся оказаться не годным или получить дальний жребий, но даже не рассчитывал на отсрочку до будущего года. И вдруг произошло то, чего я даже представить себе не мог! Без всякой надежды запустил я вчера руку в ящик с роковыми билетами и в руке у меня оказалось — 471! А скверно было на душе и еще больше скверного ждал я в будущем. Когда вчера утром я попал в эту шумную, пьяную, плачущую, неистово пляшущую и сквернословящую толпу, у меня сжалось сердце. Все это, думал я, мои будущие сожители, с которыми, в тесноте, в холоде и махорочном дыму вагона, среди криков пьяных, мне придется ехать одинокому, потерянному в какую-нибудь Каменец-Подольскую губернию, в темный, скучный уездный городишко, в казармы, где придется в *каждом шаге* подчиниться какому-нибудь рыжему унтеру, спать на нарах, есть тухлые (прости за гадкое слово) «консервы», каждый день с холодного раннего утра производить артикулы, стоять по ночам, на мятели и вьюге, на часах, где-нибудь за городом, около «запасных магазинов», и *только думать* иногда ночью о далеком от меня, дорогом, ненаглядном «друге»! Плохо, ей-богу, плохо, Варечка! Да и помимо личных соображений, все тяжелые, скорбные картины около приема камнем ложились на душу... Прождать очереди взять жребий пришлось до половины 8-го вечера. Наконец-то раздалось: «Бунин, Иван Алексеевич!» Машинально я шагнул к роковому ящику и опустил руку. Какой-то билет мне попался под пальцы. Но — решительно не знаю почему — я толкнул его пальцем и взял лежащий с ним рядом. Сердце, — правда, билось страшно—не от ожидания чего-либо—я, повторяю, мало придавал значения жребию, думал, что возьму, например, 65, 72, 20 и т. д., — а от какого-то непонятного волнения, так что встрепенулся только тогда, когда исправник, своим поповским голосом, выклик-

нул — 471-й! «Ну, брат, слава богу, шанс есть», — в один голос сказали Евгений и Арсик (А. Н. Бибиков. — *А. Б.*), когда я воротился в толпу. Всю дорогу из присутствия мы горячо толковали о том, могу ли я остаться за флагом, наберут ли до моего номера комплект 151 человек из 517 призываемых или нет. Надо было принять во внимание, что из этих 517 человек 200 было льготных, а из остальных будет много не годных. Но все-таки надежда затеплилась. Первым делом я думал отправиться на телеграф и известить тебя. Но потом сообразил — о чем? Ведь легко могут взять.

Ночь мы провели с Арсением. Евгений спал, а мы почти нет. Сегодня отправились в 10 часов в прием. Ощущалось, что идешь на Страшный суд, что сегодня будет серьезный перелом в моей судьбе. Сели и ждем, а нервы все более и более взвинчиваются. Целые вереницы Адамов прошли перед нами, и каждый невзятый уменьшал у меня один шанс на то, что до меня не дойдет очередь... Прошел час, другой, третий. Папа твой (В. Е. Пащенко был врачом в приемной комиссии.— *А. Б.*) неустанно мерял и слушал, мерял и слушал и хладнокровно решал судьбы... Господи! Хоть бы поскорее *что бы ни было*... Наконец — 5-й час. Набрали уже более 140 человек, остается 10—11 человек набрать, а всего призываемых стоит человек 20—18. Ну, думаю, непременно погиб. Теперь и думать нечего, что до меня не дойдет очередь и не выкрикнут № 471-й... Вот наконец остается два человека, один... Вдруг все стихает... «Набор кончен, те из призываемых, которые остались, зачисляются в ополченцы и будут осматриваться завтра!» Я поднялся как в чаду и очнулся от слов папы: «Поздравляю, Иван Алексеевич, завтра мы вас осмотрим и запятим во 2-й разряд ополченцев!» Он подошел ко мне и сказал это так радостно и искренно, как я никогда не надеялся услышать от него. Да, действительно, он милый и благородный человек!..

Понимаешь, Варечка, все эти призывные термины? Завтра меня осмотрят уже не для того, чтобы взять в службу, а только для определения разряда: если окажусь ополченцем 1-го разряда — служить все равно не буду, буду только являться раза два в десять лет на 2—3 недели на временные сборы, если 2-го разряда — не буду совсем никогда являться, ибо ополченцы всех

разрядов призываются в солдаты только в исключительных случаях — во время отечественных войн.

Вот тебе 471! Мог ли я ожидать, что эти цифры спасут меня и оставят свободным гражданином? Сейчас уже 10 часов. Спать хочу страшно, утомлен и духом и телом до последних пределов. В первый раз я засну сегодня спокойно!..

Может быть, это письмо не ласково. Но прошу тебя — верь, что оно писано при самой теплой и нежной любви к тебе, моя дорогая, милая, сладкая деточка! Я получил твое письмо, я еще сильнее убедился, что ты меня искренно любишь и простишь все мои подлые подозрения. Не думай, что я упоминаю о нем вскользь. Оно слишком дорого, значительно для меня. Никогда я еще не получал от тебя такого ласкового, доброго, искреннего. Клянусь же тебе богом, что я ценю его, милая, хорошая моя!» [1]

Из-за материальной необеспеченности Бунина родители Вари не разрешали ей выйти за него замуж, и им приходилось скрывать свои отношения. Родные Бунина не могли им помочь, так как сами сильно нуждались. По словам сестры Маши (письмо Юлию Алексеевичу, по-видимому, за 1891 г.), она, мать и отец дошли до того, что по целым дням сидят *«совершенно* (подчеркнуто в автографе. — *А. Б.*) без хлеба»; в стенах детской — щели, так что «везде светится» [2].

Лишившись Озерок, которые перешли к Евгению Алексеевичу, отец переселился к своей сестре Варваре Николаевне, мать и Маша — в Васильевское к С. Н. Пушешниковой, которой платили за свое содержание.

О неустроенности своего положения Бунин писал брату 25 ноября 1891 года: «...Меня сильно занимает мысль — куда мне пристроиться. При благоприятных условиях — я *убежден,* что смогу приготовиться в какое-нибудь высшее учебное заведение. Это *необходимо* уже потому, что иначе — то есть без дела — я совсем погибну от сознания идиотского существования. Как это устроить, когда нет никаких средств (я писал уже тебе, что окончательно разошелся с «Орловским вестником» — нелепая ревность заставила Бориса Петровича (Шелихова. — *А. Б.*) сказать мне «мерзавца»)? Как же жить? Куда поступать лучше?.. Подробно хотелось бы поговорить с тобою об этом, да не в письмах — не умею —

а лично. Пиши, ради бога, скорее — и в частности, о том, приедешь ли ты домой и когда?

Теперь я поселился в Орле, нашел квартиру (Воскресенский переулок, д. Пономарева, кварт. г-жи Шиффер) за 20 рублей со столом и зажил тихо и спокойно... пока... Хожу в библиотеку, доканчиваю «афоризмы Щедрина», читаю с Варею по вечерам... (Представить себе ты не можешь, как я заразил ее разными идеями! (серьезно!) статьями Цебриковой по женскому и моральным вопросам, Скабичевским, Кавелиным, Шелгуновым и т. д.)» [1]

Позднее Бунин писал:

«Я все же немало читал тогда — то, что попадалось под руку. Иногда пытался читать то, что в то время полагалось читать «для самообразования», записал, что «надо прочесть» и так и не прочел: Блос — «Французская революция», Шильдер — «Александр Первый», Трачевский — «Русская история», Мейер — «Мироздание и жизнь природы», Ранке — «Человек», Кареев — «Беседы о выработке миросозерцания», что было уже глупее всего... В старых журналах нахождение любимых стихов, давно знакомых по сборникам, но тут напечатанных впервые, давали великую радость: тут эти строки имели особенную прелесть, казались гораздо пленительнее, поэтичнее по их бóльшей близости к жизни их писавшего, по представлениям о том времени, когда он только что передал в них только что пережитое, по мнимому очарованию тех годов, когда жили, были молоды или в расцвете сил Герцен, Боткин, Тургенев, Тютчев, Полонский... и вот это время воскресало,— я вдруг встречал как бы в самую пору создания это знакомое, любимое...» [2]

В конце 1891 года вышел первый сборник стихов Бунина — как приложение к газете «Орловский вестник» [3]. Стихотворение «Не пугай меня грозою» из этого сборника включалось Буниным во многие последующие издания.

В марте 1892 года Бунин, как видно из его писем В. В. Пащенко [4], временно работал в Полтаве у брата, заведовавшего статистическим бюро земской управы. Он собирался также отправиться работать в Москву. 13 апреля 1892 года он сообщал В. В. Пащенко:

«Сегодня, Варюшечка, я получил место в Москве, в ветеринарном статистическом бюро. Работа будет вре-

менная, жалованье — один рубль в день. Решил туда ехать двадцатого. Но сегодня же пришлось перерешить, — *ехать сегодня* и ехать черт знает каким окольным путем — через Минск: у супругов Женжуристов (друзей Буниных в Полтаве. — *А. Б.*) произошла развязка — они разошлись. Лидия Александровна (Л. А. Женжурист, дочь политического ссыльного Макова. — *А. Б.*) уезжает навсегда из Полтавы, к родным, в Минск, и вот я везу ее, потому что она еле жива» [1].

Но планы Бунина изменились, и он вернулся в Орел, где была Пащенко. 19 мая 1892 года он писал брату Юлию:

«...С Варей мы расходимся *окончательно*. Мое настроение таково, что у меня лицо как у мертвеца, полежавшего с полмесяца. Помоги же мне ради бога. Вот слушай. Я писал тебе, что мы ездили с ней к отцу; она осталась, была с ним, разговаривала и после меня и вернулась совсем больная и расстроенная с предложением, чтобы мы разъехались на год. Отец этого требует, хочет, чтобы мы сошлись только тогда, когда у меня будет определенное положение. Он плакал, просил ее об этом, она дала ему слово и стоит на этом предложении. Она говорит, чтобы я уезжал, нашел место, постарался найти и ей и через год мы съедемся. Я принять этого ни за что не могу. Я довольно ждал, я уже второй год слышу колебания, такое предложение оскорбительно мне донельзя, я не могу вследствие такого предложения верить, что она меня любит. Расстаться с любимым человеком еще на год, когда уже дело тянулось два года — это не любовь! Она,— я думаю, я убежден,— сама боится, что я не буду работать, что у нас будет нужда... Но я этого не могу — я уже несколько раз сказал, что мы расстанемся, но только навсегда. Богом клянусь, это уж лучше!

Я наконец даже уступал, предлагал, что я согласен ждать совместной жизни, но буду жить в Орле, буду работать сперва в редакции, а потом в Управлении Орловско-Грязской дороги (которое переходит в Орел и в котором обещают мне место), и будем жить так, как до сих пор жили —то есть она будет ходить ко мне. Но она и на это не согласна! Она говорит, что, исполняя желание отца, она не может сделать это... а если и согласится, то этакая жизнь будет ей тяжела. Этакое хож-

дение друг к другу в гости нам уже давало себя знать — это, действительно, тяжело, не удовлетворяет... Так вот она говорит, что ей будет и теперь также тяжело. Теперь я решительно не знаю, что делать, не знаю, чем уговорить ее и... единственно что могу предложить — расход! Да, непременный... Она тоже проплакала вчера целый день. Что делать? Скажи? На такой компромисс я не пойду, ни за что! Чего она боится? Что изменится, если мы поселимся под одной кровлей? Ведь детей у нас не будет!» [1]

Насколько тяжело было Бунину, видно из письма Варвары Владимировны Ю. А. Бунину от 8 июля 1892 года:

«Дорогой Юлий Алексеевич!

Когда вы были здесь, у меня не раз являлось желание поговорить с вами серьезно, но все как-то не удавалось, да и во мне самой теплилась надежда, что все переменится, пойдет лучше, глаже, теперь же, все взвесив, я собралась с духом и пишу вам.

За последнее время особенно часты и резки стали наши ссоры с Ваней; сначала я и сама придерживалась пословицы: «милые бранятся», и каждая наша ссора кончалась хорошим миром, теперь же эти ссоры участились и мы, буквально, миримся для того, чтобы вновь поссориться. Вам покажется странным, что я не поговорила об этом с вами лично, это потому, что перед самым вашим приездом сюда Иван мне *поклялся,* что он будет верить мне, перестанет изыскивать предлоги для ссор... Я всему этому еще раз поверила, но, конечно, напрасно: на другой же день мы поссорились, и поссорились серьезно. Так длилось больше месяца; теперь я уже не верю ни его обещаниям, ни клятвам...

Поверьте мне, что я его очень люблю и ценю, как умного и хорошего человека, но жизни семейной, мирной у нас не будет никогда. Лучше, как мне ни тяжело, теперь нам разойтись, чем через год или полгода. Это, согласитесь, будет и труднее и тяжелее. Сама я не могу этого ему сказать, потому что достаточно мне принять серьезный тон, чтобы у него явилось озлобление, он начинает кричать на меня, и дело кончается истерикой, как, например, вчера, когда он бросился на пол в каменных сенях и плакал, как в номерах «Тула», где он в порыве раздражения хотел броситься из окна. Все

это невыразимо угнетает меня, у меня пропадает и энергия, и силы...

Я вам уже говорила, что он не верит мне, а теперь прибавлю, что он и не уважает меня, а если и утверждает, то только на словах. Он мне толкует о моей неразвитости, — я знаю это сама, — но к чему же принимать такой холодный, обидный, саркастический тон?! Он говорит беспрестанно, что я принадлежу к пошлой среде, что у меня укоренились и дурные вкусы, и привычки,— и это все правда, но опять странно требовать, чтобы я их отбросила, как старые перчатки... Если бы вы знали, как мне это все тяжело! Верьте мне, что я вовсе не хотела водить его за нос, по его выражению, я все время, решив окончательно жить с ним, старалась примениться к нему, к его характеру, но теперь вижу, что сделать этого не могу. Пока еще мы можем мириться и любовно относиться друг к другу, но и это стали только минуты, а будет мало-помалу остывать наша любовь, все это выплывет ярче и резче. Пусть он поживет хоть год без меня; может быть, у него сгладятся все эти шероховатости, и он будет терпимее, и тогда я с удовольствием пойду с ним,— но теперь, теперь не могу... Пишу я вам, голубчик, потому что сама я этого не скажу Ивану: он меня пугает самоубийством, поэтому я бы очень хотела, чтобы вы сами сказали ему это: вы не допустите его ни до какого сумасбродства, если только это отчаяние искренно в нем, в чем он заставил меня сомневаться. Скажите ему, что вы за последний приезд убедились, что я не гожусь ему в жены, что ему нужно жену и более образованную, и развитую, говорите, что хотите, но только повлияйте на него. Если же он вернется ко мне, то я опять уступлю ему, мы, пожалуй, и сойдемся, но только я не жду добра ни для себя, ни для него. Я и ранее видела эту разницу между нами, но, повторяю, я думала, что это все стушуется при нашей любви. Все мои надежды рухнули, и теперь я прошу помощи от вас. *Вызовите его телеграммой под предлогом, что ему готово место,* по вашему письму он не поедет, а надо, чтобы он ехал сразу, пока у меня хватит сил не остановить его. Там, в Полтаве, вы ему все объясните, разубедите его, или же я пришлю туда лаконическое письмо, в котором я ему пока напишу, чтобы он поступал на место, успокоился бы, и тогда я приеду, а там будет

видно дело. Сразу же разорвать с ним это будет тяжело для него. Впрочем, обдумайте, напишите, я поступлю по вашему совету. Только вызовите его туда, он здесь ведь без места и терзается сам, и мучает меня.

Только не пускайте его сюда из Полтавы ни под каким видом, иначе я не поручусь ни за него, ни за себя. Телеграфируйте же скорее, настойчиво и убедительно.

Пишите мне, как он все это примет, как он будет чувствовать себя. Не считайте меня взбалмошной девушкой, ей-богу, минутами так страшно делается и за свою, и за Ивана жизнь, что выразить вам не могу. Жду вашей немедленной резолюции; только по приезде его к вам и после разговора с ним напишите все мне.

Ваша *В. Пащенко.*

Если найдете нужным, то разорвите это письмо» [1].

На следующий день она снова писала Юлию Алексеевичу:

«Сегодня, Юлий Алексеевич, явились новые осложнения, а именно: Иван получил окончательно место в Управлении и завтра уже пойдет на работу. Значит, вызывать в Полтаву, мне кажется, его нельзя, а поэтому, ради Христа, приезжайте сюда, голубчик, дня хотя на три. Мне так тяжело теперь вести с ним какую-то игру, а сказать прямо — боюсь, — понаделает глупостей, бросит место и вообще выйдет ужасная вещь. Поэтому напишите, когда приедете, до тех пор я буду ждать; только на вас я надеюсь в смысле его образумления, иначе же не знаю, что делать, как поступить. Простите, что я беспокою вас, но это будет в последний раз. Жду от вас ответа немедленного на Контроль Сборов О. В. ж.-д.

Если же не можете приехать, то не пеняйте на меня тогда, голубчик; я не надеюсь на счастье с Ваней. Когда приедете, то прежде повидайтесь со мной; напишите, я выеду вас встретить одна и поговорю с вами ранее, чем вы увидите Ивана. Ради Христа, приезжайте; жду немедленного ответа.

Ваша *В. Пащенко.*

Р. S. Не браните меня, ради бога. При вас я только и решусь говорить с ним, и он будет покойнее, поэтому приезжайте. Откладываю разговор до вас. Получили ли мое письмо от 8-го июля? Ответьте скорее» [2].

В эти дни Бунин писал родным:

«Как видите, я поступил уже на службу, жив и здоров и уже с неделю хожу на службу. Окунулся с головой в канцелярщину. Начальник — старая ж... чуть-чуть не с гусиным пером, формалист и т. д. Но мы с ним ладим. Сперва я переписывал бумаги, почерк ему мой нравится, давали даже подшивать бумаги (вот когда я тебя вспомнил, милый Женичка!), теперь возведен в новую должность: веду *входящий* журнал... Чувствую себя и работаю хорошо. Прихожу, сию минуту же сажусь за работу, отзвоню себе и пойду. Веду себя со всеми отдаленно — тут ведь не редакция. Жалованья мне назначили 30 руб.» [1].

К этому времени относится письмо В. В. Пащенко к И. А. Бунину (без даты), в котором она говорит о своем отъезде из Орла:

«Уезжаю, Ваня! Чтобы хотя сколько-нибудь привести в норму наши, как и сам знаешь, ненормальные отношения, нужно вдали взглянуть на все наиболее объективно; последнее возможно именно, когда мы с тобой в разлуке. Надо сообразить, что собственно не дает мне покою, чего я хочу и на что способна. Да ты, голубчик, сам знаешь, что у меня в душе. А так, как жили, не приведя все душевные смуты в порядок, нельзя продолжать жить. Ты без меня будешь свободнее, бросишь, наверное, службу. И этот мотив сильно звучит в душе. Результат всех моих размышлений напишу из дому. Будь мне другом, верь, что я столько выстрадала за это последнее время, что, если бы дольше осталась — сошла бы с ума. Не фраза это, если ты хотя капельку знаешь меня, ты бы это понял.

Будь же другом дорогим — пиши мне. Дома я и полечусь и успокоюсь и вернусь бодрая, готовая и трудиться, и жить хорошо со всеми людьми. Сколько раз ты говорил, что я тебя измучила, но ведь и сама я мучалась не меньше, если не больше. Каждая ссора оставляла след, все накопилось, не могу так жить тяжело, не вижу смысла в этой жизни. Прости, родимый! И пойми, что это не каприз, это необходимо для дальнейшей жизни. Лучшего не придумаю. Пиши, голубчик.

Твоя *Варя.*

Не придумаю и не могу думать. Страшно тяжело, помоги разобраться. Не забудь меня. Не езди за мной — все напишу, и лучше, если что-либо выясним.

Голубчик, родимый, не забудь меня, ведь я все равно приеду, дай отдохнуть мне. Отдохни сам, успокойся, одумайся» [1].

Юлию Алексеевичу, который приезжал в Орел, удалось на этот раз уладить отношения Варвары Владимировны и Ивана Алексеевича.

В конце августа 1892 года Бунин и Пащенко переехали в Полтаву. Юлий Алексеевич взял к себе в Управу младшего брата, однако первое время у Бунина не было определенных занятий и он даже собирался уехать в Лубны. Только в январе 1893 года для него была придумана должность библиотекаря,— работа легкая, оставлявшая достаточно времени для чтения, поездок по губернии со статистиками или путешествий. Он писал матери из Полтавы 26 января 1893 года:

«Мои дела неопределенны. Может быть, поеду вскоре в Лубны, но вернее всего останусь библиотекарем в Управе. Не знаю еще, сколько буду получать, но, вероятно, никак не менее 40—45 р. Варя служит теперь в уездной управе и получает всего 15 рублей, но мы надеемся, что она получит место в сельскохозяйственном обществе на 40 рублей. Тогда у нас будет 80—85 рублей, и я буду иметь полную возможность заниматься и развиваться и писать...» [2]

В Полтавском земстве группировалась интеллигенция, причастная к движению 70-х и 80-х годов. Многие привлекались по политическим делам, побывали в тюрьме и ссылке: известный общественный деятель Н. Г. Кулябко-Корецкий, некоторое время заведовавший статистическим бюро, И. Н. Присецкий, братья В. И. и С. И. Мельниковы, В. П. Нечволодов, С. П. Балабуха и др. Были здесь и некоторые из товарищей Ю. А. Бунина по московским народническим кружкам — например, известный агроном М. П. Дубровский. Часто собирались по субботам у Веры Васильевны Терешкевич, также служившей в статистическом бюро. Собирались периодически и в других домах, «мечтали о возрождении радикального движения, строили даже планы этого возрождения, читали идейные книги и журналы, — пишет Ю. А. Бунин в своих воспоминаниях...— Мы глубоко верили,

что скоро вновь начнется освободительное движение, когда пригодятся и наши силы. Эта вера обусловливалась тем, что глухое в общественно-политическом смысле время близилось к концу, — кое в чем проявлялись признаки пробуждения...»[1]

В эту среду и попал И. А. Бунин.

Влияние прогрессивной интеллигенции распространилось и на газету «Полтавские губернские ведомости», в которой И. А. Бунин помещал свои художественные произведения и статьи. Братья Бунины входили в редакцию газеты.

Работу в библиотеке Бунин сменил вскоре на занятия статистикой.

В это время он много писал. Его имя стало чаще появляться в «толстых» журналах, а напечатанные произведения привлекали внимание корифеев литературной критики. Бунин в «Автобиографической заметке» приводит слова Михайловского, что из него выйдет «большой писатель»[2]. По словам Бунина, «редкое участие» принял в нем поэт А. М. Жемчужников, который содействовал напечатанию его стихов в «Вестнике Европы»[3]. Жемчужников писал Бунину 28 апреля 1893 года:

«Из вас может выработаться изящный и самобытный поэт, — если вы не будете давать себе поблажки. Пишите не как-нибудь, а очень хорошо. Это для вас вполне возможно. Я в этом убежден»[4].

В 1893—1894 годах Бунин, «от влюбленности в Толстого, как художника»[5], был толстовцем. Он жил тогда в Полтаве, «прилаживался к бондарному ремеслу»[6], посещал толстовские колонии.

Брат Бунина Юлий Алексеевич говорит в своих воспоминаниях, что И. А. Бунин «ездил в Сумской уезд Харьковской губернии к сектантам села Павловки для ознакомления и собеседований с ними. Сектанты эти по своим взглядам близко примыкали, как известно, к толстовскому учению»[7].

В самом конце 1893 года Бунин уехал из Полтавы в Харьковскую губернию к толстовцам села Хилково, а оттуда отправился в Москву к Толстому, о встрече с которым давно мечтал.

Бунин посетил Толстого в один из дней между 4 и 8 января 1894 года. Он писал В. В. Пащенко 4 января: «У Льва Николаевича еще не был. Сегодня — или к нему, или в итальянскую оперу... В Москве пробуду числа до 8-го» [1].

Эта встреча, по словам Бунина, произвела на него «потрясающее впечатление» [2]. Толстовец Б. Н. Леонтьев писал Толстому из Полтавы 30 января 1894 года: «Бунин приехал очень огорченный, что так мало провел времени с вами, — вы были главная цель его поездки, — он вас очень любит и давно жаждал знакомства с вами. Он не может спокойно, без волнения говорить о вас» [3].

Скоро увлечение Бунина толстовством кончилось, сам Толстой, писал он впоследствии, «и отклонил меня опрощаться до конца» [4].

В 1895 году Бунин написал рассказ «Сутки на даче» (позднее озаглавленный «На даче»), в котором довольно иронически обрисовал толстовца и неприменимость его взглядов к реальной жизни, а впоследствии, в «Освобождении Толстого», он посвятил толстовцам несколько едких страниц.

Но перед Толстым-художником Бунин преклонялся всю жизнь. Он говорил, что как только он «услышит имя Толстого, так у него загорается душа, ему хочется писать и является вера в литературу» [5].

О Толстом он «рассказывал с каким-то трепетом, чуть ли не со страхом» [6],— вспоминает свои беседы с Буниным поэт и литературный критик Г. В. Адамович. «Толстой неизменно живет с нами в наших беседах, в нашей обычной жизни» [7],— записала в своем дневнике поэтесса и писательница Г. Н. Кузнецова, много лет проживавшая в доме Бунина.

Уточняя сообщенные мною сведения, в заметке «Последние годы Бунина» [8], Г. В. Адамович писал:

«Накануне смерти был у Бунина Ал. Вас. Бахрах (парижский литератор. — *А. Б.)*, живший (вернее, скрывавшийся, как еврей) у него в Грассе во время войны. Бахрах мне сам об этом посещении рассказывал.

Разговор зашел о Толстом, но не об «Анне Карениной», а о «Воскресении», и Бунин, болезненно морщась, вспомнил главу о православной обедне, и сказал:

— Ах, зачем, зачем он это написал!

У вас упоминается «Анна Каренина», и в такой форме, которая совпадает с моим разговором с Буниным, — но не накануне смерти, а за два-три месяца до нее. Я действительно спросил:

— Иван Алексеевич, помните вы ту главу, где ночью, на станции, в снегу, Вронский неожиданно подходит к Анне и впервые говорит о своей любви?

Бунин приподнялся на кровати и сердито взглянул на меня:

— Помню ли я? Да что вы в самом деле! За кого вы меня принимаете? Кто же может это забыть? Да я умирать буду, и то повторю вам всю главу слово в слово. А вы спрашиваете, помню ли я!

Где-то (не помню, где) я этот разговор привел, по-русски. Кроме того, привел его во французском сборнике, посвященном Бунину, в серии книг, посвященных Нобелевским лауреатам, изданной Шведской Академией» [1].

Бунин говорил Бахраху: «Я недавно кончил перечитывать «Войну и мир», должно быть в пятидесятый раз. Читаю лежа, но от восхищения постоянно приходится вскакивать. Боже, до чего хорошо... А в «Иване Ильиче» взят какой-то ошибочный упор. Вот лежит Иван Ильич и думает: того-то не успел сделать, то-то позабыл, как гадко жизнь свою прожил. А главное ведь не это (и сразу с нескрываемым содроганием) — главное это ужас самой смерти, ужас небытия, ухода от жизни... Чем полнее прожита жизнь, тем страшнее приближение конца...

— Вы знаете насколько выпукло написаны персонажи Толстого. Возьмите любой текст: каждому портрету уделяется лишь несколько слов, а создается впечатление, что описана каждая веснушка. И вы никогда ни с кем не спутаете Наташу, Соню, Анну. Только один Иван Ильич написан обще. Но это ведь сделано умышленно» [2].

Александр Васильевич Бахрах вспоминает свое посещение Бунина в последний день его жизни — 7 ноября 1953 года:

«Когда я пришел, он лежал полузакрыв глаза, еще более отощавший за ту неделю, что я его не видал, еще более подавленный и измученный, и красивое лицо его, сильно заросшее щетиной, было почти пепельного цвета...

На его постели лежал томик Толстого, и когда я спросил его, что он теперь читаст, он, как мне показалось, слегка приободрился и ответил, что еще раз хочет перечитать «Воскресение», но сказал при этом, что читать ему уже трудно, трудно сосредоточиться, особенно трудно держать книгу в руках. А потом добавил и, что меня удивило, с какими-то почти гневными интонациями:

— Ах, какой замечательный был во всех отношениях человек, какой писатель... Но только до сих пор не могу понять, для чего понадобилось ему включить в «Воскресение» такие ненужные, такие нехудожественные страницы...

Он имел в виду те, в которых описывается служба в тюремной церкви... (Не лишено возможности, что до этого дня ему и не попадался экземпляр «Воскресения» с восстановленными купюрами, сделанными в свое время цензурой.)»[1].

Прожив зиму 1893/94 года в Полтаве, весной Бунин «отправился опять один странствовать то в поезде, то пешком, то на пароходе «Аркадий», на котором он тогда поднялся вверх по Днепру»[2].

В июле он приезжал в Огневку, Тульской губернии, в именье брата Евгения Алексеевича. Там встретил мать и сестру, которых Евгений вызвал телеграммой,— он сильно болел. Бунин уехал из Огневки 24 июля, 27 был в Харькове, где встретил его Юлий Алексеевич. Оттуда братья отправились в Полтаву.

Летом он снова путешествовал по хуторам и деревням Украины, по старинным селам Поднепровья. В одну из таких поездок он видел на переселенческом пункте целую «орду» крестьян, гонимых нищетой и голодом с родных мест за десять тысяч верст в Уссурийский край. О переселенцах он скоро написал рассказ «На край света».

В августе Бунин был в одном из дачных мест под Полтавой у художника Мясоедова. Он записал об этом в дневнике[3].

Двадцатого октября 1894 года в Ливадии умер Александр III, и это обстоятельство имело для Бунина большое значение. Дело в том, что за незаконную торговлю толстовской литературой — распространение изданий «Посредника» — Бунин был приговорен к трехме-

сячному заключению в тюрьме. Теперь, по манифесту Николая II, он был амнистирован.

Четвертого ноября 1894 года, в день присяги новому императору, В. В. Пащенко, воспользовавшись тем, что «все мужчины отправились в собор и в приходские храмы» [1], уехала, оставив Бунину записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом»... Эта фраза, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина,— так часто цитировалась в течение нашей жизни и при Юлии Алексеевиче, что я не сомневаюсь в ее подлинности» [2].

Разрыв с Варей Бунин тяжело переживал. Родные опасались за его жизнь. По просьбе Юлия Алексеевича, из Огневки приехал Евгений, чтобы увезти брата с собой. Но Евгений Алексеевич не решился один ехать с ним. Отправились все втроем. По настоянию И. А. Бунина остановились в Ельце. Встретиться с Варей или узнать, где она, оказалось невозможно. Ее отец при появлении Бунина в его доме обошелся с ним очень грубо: об этом пишет из Полтавы Юлий Алексеевич матери Варвары Владимировны.

В Огневке Бунин пробыл недолго. Скоро он опять отправился в Елец, где узнал, что В. В. Пащенко вышла замуж за его друга А. Н. Бибикова. Это известие настолько ошеломило Бунина, что, по словам его сестры Марии Алексеевны, с ним «сделалось дурно, его водой брызгали». Он поехал к Пащенко, не застал их дома и поездом отправился домой. «Ему хочется уехать к тебе,— пишет далее Мария Алексеевна Ю. А. Бунину.— Но мы боимся его одного пускать. Да он и сам мне говорил, что я один не поеду, я за себя не ручаюсь» [3].

Сам Бунин говорит в письме (без даты) к Юлию, что, услыхав о замужестве Вари, «насилу выбрался на улицу, потому что совсем зашумело в ушах и голова похолодела, и почти бегом бегал часа три по Ельцу, около дома Бибикова, расспрашивал про Бибикова, где он, женился ли. «Да, говорят, на Пáщенки...» Я хотел ехать сейчас на Воргол, идти к Пащенко и т. д. и т. д., однако собрал все силы ума и на вокзал, потому что быть одному мне было прямо страшно. На вокзале у меня лила кровь из носу и я страшно ослабел. А потом ночью пер со станции в Огневку, и, брат, никогда не забуду я этой ночи! Ах, ну к черту их — тут, очевидно, роль сыграли 200 десятин земельки» [4].

О той поре своей жизни Бунин вспоминал: «Так же *внутренно* одиноко, обособленно и невзросло, вне всякого общества, жил я и в пору моей жизни с ней. Я по-прежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям (равно как и всем женщинам: ведь это даже как бы и не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще никогда никем точно не определенные, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них). Я жил, на всех и на все смотря со стороны, до конца ни с кем не соединяясь, — даже с нею и с братом. И по-прежнему дома не сиделось...» [1]

Отношения Бунина и В. В. Пащенко отразились в «Жизни Арсеньева», хотя этот роман нельзя рассматривать как автобиографию писателя. Сам Бунин не раз протестовал против такого представления о его произведении.

Он писал:

«Недавно критик «Дней», в своей заметке о последней книге «Современных записок», где напечатана вторая часть (а вовсе не «отрывок») «Жизни Арсеньева», назвал «Жизнь Арсеньева» произведением «автобиографическим».

Позвольте решительно протестовать против этого, как в целях охранения добрых литературных нравов, так и в целях самоохраны. Это может подать нехороший пример и некоторым другим критикам, а я вовсе не хочу, чтобы мое произведение (которое, дурно ли оно или хорошо, претендует быть, по своему замыслу и тону, произведением все-таки художественным) не только искажалось, то есть называлось неподобающим ему именем автобиографии, но и связывалось с моей жизнью, то есть обсуждалось не как «Жизнь Арсеньева», а как жизнь Бунина. Может быть, в «Жизни Арсеньева» и впрямь есть много автобиографического. Но говорить об этом никак не есть дело критики *художественной*»[2].

Бунин говорил журналисту и писателю Андрею Седых:

«Вот думают, что история Арсеньева — это моя собственная жизнь. А ведь это не так. Не могу я правды писать. Выдумал я и мою героиню. И до того вошел в ее жизнь, что, поверив в то, что она существовала, и влюбился в нее... Беру перо в руки и плачу. Потом начал видеть ее во сне. Она являлась ко мне такая же, какой

я ее выдумал... Проснулся однажды и думаю: господи, да ведь это, быть может, главная моя любовь за всю жизнь. А, оказывается, ее не было» [1].

В 1933 году в беседе с корреспондентом белградской газеты «Время» Милорадом Дивьяком Бунин говорил:

«Жизнь Арсеньева» можно было бы вполне назвать «Жизнью Дипона» или «Жизнью Дирана». Я хотел показать жизнь одного человека в узком кругу вокруг него. Человек приходит в мир и ищет себе в нем место, как и миллионы ему подобных: он работает, страдает, мучается, проливает кровь, борется за свое счастье и в конце концов или добивается его, или, разбитый, падает на колени перед жизнью. Это все!.. Арсеньев, Дипон, Диран, можете назвать героя как угодно, суть дела от этого нисколько не изменится». «Можно при желании считать этот роман и автобиографией, так как для меня всякий искренний роман — автобиография. И в этом случае можно было бы сказать, что я всегда автобиографичен. В любом произведении находят отражение мои чувства. Это, во-первых, оживляет работу, а, во-вторых, напоминает мне молодость, юность и жизнь в ту пору» [2].

Вера Николаевна также неоднократно подчеркивала, что «Жизнь Арсеньева» нельзя называть автобиографией, и что в образе Лики лишь частично отразились черты В. В. Пащенко.

«Лика — Пащенко, — пишет она, — только в самом начале, при первом знакомстве, но и то автор сделал ее выше ростом. В Лике собраны черты разных женщин, которых любил он. Скорее чувства Алеши Арсеньева совпадают с его чувствами к Пащенко. Иван Алексеевич написал, что «Лика вся выдумана». Кроме того, он был так влюблен в Пащенко, что не мог даже мысленно изменять ей, как изменял Алеша Арсеньев. Не мог он в ту пору вести таких разговоров, какие велись между ними в «Жизни Арсеньева», они более позднего времени. Кроме того, много сцен взято из времени его женитьбы на Цакни, когда он жил в Одессе, и внешность Лики более похожа на внешность Цакни, чем на внешность Пащенко. Я обеих знала» [3].

О Лике — Пащенко В. Н. Муромцева-Бунина пишет Андрею Седых:

«Не Лика «списана» с Пащенко, Бунин воскресил свои чувства к ней... Пащенко не была некрасивой, у нее

были мелкие, но правильные черты лица, хотя шея у нее была короткой, носила очки, стригла на манер 80-х годов волосы, тогда как Анна Николаевна (Цакни. — *А. Б.*) была красавицей восточного типа. И сцена ревности Алеши была пережита [не] в Орле, она (А. Н. Цакни. — *А. Б.*) танцевала с каким-то красавцем на балу в Одессе в нарядном туалете. У меня главная цель[1] доказать, что «Жизнь Арсеньева» не жизнь Бунина, что это не автобиография, а роман, написанный на биографическом материале, но, конечно, многое изменено. Например, он описывает, как он с подругой Лики ходил к усадьбе, взятой в «Дворянском гнезде» Тургеневым. Это он ходил со мной, а во время своей орловской жизни не удосужился ее посмотреть... Но вы понимаете, что для романа это был козырь, тут он и высказывает свои мысли о Тургеневе. Но критики некоторые упорно называют это произведение автобиографией...»[2]

«Также из Одессы перенесена в Елец сцена беготни брата героини с собакой, — это бегал брат Анны Николаевны... Бунин даже у Гали (Г. Н. Кузнецовой.— *А. Б.*) взял, как она под большим шелковым платком лежала на диване»[3]. Варвара Владимировна «была другим человеком: бойцом по натуре»[4].

В январе 1895 года Бунин оставил службу в Полтаве и уехал в Петербург. Остановился на Невском (д. 106, кв. 13). Он встретился с редакторами журнала «Новое слово» С. Н. Кривенко и А. М. Скабичевским, с Н. К. Михайловским; по-видимому в этот приезд он познакомился с писателем А. М. Федоровым, с которым впоследствии подружился.

Познакомился он и с К. Д. Бальмонтом. Поэт М. М. Гербановский писал Бунину 11 февраля 1895 года из Петербурга: «С Бальмонтом вижусь часто, и всякий раз вспоминаем мы о тебе»[5]. По поводу этого письма Бунин записал в дневниковых заметках 20 марта 1915 года: «Перечитал письма Гербановского-Лялечкина. Наша дружба с Бальмонтом»[6].

Между 6 и 8 февраля 1895 года Бунин приехал в Москву, поселился в меблированных комнатах Боргеста у Никитских ворот.

Об этих днях Бунин писал впоследствии:

«Старая, огромная, людная Москва» и т. д. Так встретила меня Москва когда-то впервые и осталась в моей памяти сложной, пестрой, громоздкой картиной — как нечто похожее на сновидение. Через два года после того я опять приехал в Москву — тоже ранней весной и тоже в блеске солнца и оттепели, — но уже не на один день, а на многие, которые были началом новой моей жизни, целых десятилетий ее, связанных с Москвой. И отсюда идут уже совсем другие воспоминания мои о Москве, в очень короткий срок ставшей для меня, после моего второго приезда в нее, привычной, будничной, той вообще, которую я знал потом около четверти века.

Это *начало* моей новой жизни было самой темной душевной порой, внутренно самым мертвым временем всей моей молодости, хотя внешне я жил тогда очень разнообразно, общительно, на людях, чтобы не оставаться наедине с самим собой. Пространно говорить о последующей моей жизни нет возможности. Нет и необходимости: многое уже сказано, и прямо, и косвенно, в моих прежних писаниях» [1].

Бунин прожил в Москве до середины марта или до начала апреля. С начала апреля он уже в Огневке. 3 апреля пишет оттуда Юлию Алексеевичу: «Ужасно однообразно проходит время. Целый день что-то хочется делать, а делается все вяло и лениво. О будущем просто и подумать боюсь. В Москву осенью? Да я-то зачем? Гадко вспомнить о нашем номере в доме Боргеста! Да и это ведь временно! Впрочем, ей-богу, до низости плохо выражаю свои ощущения, а настроение вовсе не минутное... В Петербург? Зачем? Будь они прокляты, эти большие города! Эх, кабы опять в Полтаву! На тихую жизнь, на тихую работу! Только уж, конечно, теперь она мне не нужна одному, даже с тобой, мне там делать нечего. Прежде была под ногами почва... Если бы были средства, все бы ничего, а то совсем пропадать буду!

Учусь по-английски, читаю Липперта, да все это ни к чему — противные, отрывочные клочки знаний ни к черту не нужны!» [2]

Жалобы на недостаточность, отрывочность знаний, приобретенных в юности, Бунин высказывал не раз. Об этих годах он вспоминал:

«Всякий в юности к чему-нибудь готовится и в известный срок вступает в ту или иную житейскую деятельность, в соучастие с общей людской деятельностью. А к чему готовился я?.. Я рос без сверстников, в юности их тоже не имел да и не мог иметь: прохождения обычных путей юности — гимназия, университет — мне было не дано. Все в эту пору чему-нибудь где-нибудь учатся, и там, каждый в своей среде, встречаются, сходятся; а я нигде не учился, никакой среды не знал» [1].

В 1911 году, будучи в Нюрнберге, Бунин, любуясь старинной архитектурой средневекового города, говорил Н. А. Пушешникову, «что всегда, когда он видит прекрасное, у него является ужасное сожаление, что он так убого и плохо прожил столько лет, что у него совершенно пропали самые лучшие, самые нежные годы, когда все так живо воспринимается и остается потом на всю жизнь. А я тратил силы и молодость — на что? Страшно вспомнить теперь, сколько времени пропало зря, даром! Разве я так писал бы, если бы я в юности жил иначе, если бы я больше учился, больше работал над собой, если бы я родился не в Бутырках, а здесь, если бы у меня в молодости не было такой нужды» [2].

«Если бы я тогда не терял времени и вовремя учился, работал — чего бы мог наделать!» [3] — говорил Бунин много позже Г. Н. Кузнецовой. Он говорил также, «что жаль ему, что он не положил всю свою жизнь «на костер труда» [4]. Но службы, которая могла бы поглотить все его силы, работы ради благополучия он боялся до ужаса: «Я с истинным страхом смотрел всегда на всякое благополучие, приобретение которого и обладание которым поглощало человека, а излишество и обычная низость этого благополучия вызывали во мне ненависть — даже всякая средняя гостиная с неизбежной лампой на высокой подставке под громадным рогатым абажуром из красного шелка выводили меня из себя» [5].

В те годы напряженных поисков своего пути он пишет в письме к Белоусову 14 октября 1895 года: «Пусть мы маленькие люди, пусть мы только немного приобщены к искусству — все равно! Во всякой идее, во всяком идейном деле дорого прежде всего даже не выполнение его, а искание этой идеи, любовь к ней! Грустно станет порой, как посмотришь, что вот уж почти вся

юность, вся молодость, все то, что порой раскрывает всю душу великим дуновением счастья, радости высокой и светлой, радости жизни, ее биения, искусства, красоты и правды, — что все это пока только «не что иное, как тетрадь с давно известными стихами», не выразившими даже тысячной доли того, что чувствовалось!» [1] Много позже Бунин напишет в своих воспоминаниях:

«Начало моей новой жизни совпало с началом нового царствования. Плохие писатели писали тогда романы и повести, пошлые заглавия которых верно выражали сущность происходившего: «На переломе», «На повороте», «На распутье», «Смены»... Все и впрямь было на переломе, все сменялось: Толстой, Щедрин, Глеб Успенский, Златовратский — Чеховым, Горьким, Скабичевский — Уклонским, Майков, Фет — Бальмонтом, Брюсовым, Репин, Суриков — Левитаном, Нестеровым, Малый театр — Художественным... Михайловский и В. В. — Туган-Барановским и Струве, «Власть земли» — «Котлом капитализма», «Устои» Златовратского — «Мужиками» Чехова и «Челкашем» Горького.

Первое время в том разнообразном, но все же довольно однородном обществе, в котором я бывал и черты которого мне были известны еще с Харькова, над всеми чувствами и мыслями преобладало одно — сознание того перелома, который совершился со смертью Александра III: все сходились на том, что совершилось нечто огромное — отошла в прошлое долгая пора тяжкого гнета, которого не было в русском обществе и политической жизни России со времен Николая I, и настала какая-то новая...

«Россия — сфинкс». Религия Герцена — религия земли. «Община, артель — только на них, на этих великих началах, на этих святых устоях может развиваться Россия. И это — свет во тьме *мещанского* запада».

«И вот почему, среди скорби и негодования, мы далеки от отчаяния и протягиваем вам, друзья, нашу руку на общий труд. Перед нами светло и дорога пряма» (Герцен).

Вера в народную жизнь. Народничество влияло на все — на литературу, науку, жизнь. Народничество жило верой, что Россия войдет в светлое царство социализма. Народничество было проникнуто истинным религиозным пафосом.

Россия — страна особая, у России свой особенный путь развития. России предстоит великое слово — она скажет миру свое новое слово: вот положения, выражающие душу общественного и духовного движения за последние сто лет истории русского самопознания в девятнадцатом веке, вот история русского освободительного движения. Чаять будущего века — чаять светлого будущего.

Герцена спасала вера в социализм, в идеал.

Да, назначение русского человека — это, бесспорно. всеевропейское и всемирное. Достоевский.

Пропагандисты, герои, борцы, мученики.

«Да, веры в будущее у нас было много! Мы чувствовали силы необычайные — нам давала их вера в народ». Мокриевич.

«О, если бы я мог утонуть, распасться в этой серой грубой массе народа, утонуть... но сохранить тот же светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть на счет того же народа!» Михайловский... [1]

В деревне Бунин прожил весну 1895 года, изучал английский язык, писал стихи, переводил «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «летом ездил по Днепру» [2] — побывал в Каменец-Подольске у Гербановского, к которому должен был приехать и Бальмонт, посетил старинный город Канев, близ которого, над Днепром, находится могила Шевченко, человека «великого сердца» [3], как писал о нем Бунин.

В июне Бунин навестил брата в Полтаве, прожил у него не меньше месяца и затем месяца на два вернулся в Огневку, где продолжал много писать. Осенью он решил предпринять новую поездку в столицы с тем, чтобы найти «издателей... на книгу стихов и рассказов» [4].

В конце октября 1895 года Бунин уехал в Петербург. По пути задержался ненадолго в Москве, — встретился здесь со своим другом И. А. Белоусовым и с писателем и поэтом Л. М. Медведевым, вел переговоры с редакцией «Русской мысли» о печатании рассказа «На даче».

В эти дни он познакомился с А. И. Эртелем [5]. 29—30 октября Бунин уехал из Москвы в Петербург, чтобы

принять участие в вечере, устроенном обществом по оказанию помощи переселенцам (остановился на Малой Итальянской, д. 3). С. Н. Кривенко просил его выступить на этом вечере с чтением рассказа «На край света». Вечер состоялся 21 ноября 1895 года, и выступление Бунина вызвало бурю оваций [1].

Числа с 10 декабря 1895 года до 12 января 1896 года он жил в Москве, — снова встретился с Бальмонтом, познакомился с поэтессой Миррой Лохвицкой.

Двенадцатого декабря состоялось знакомство с Чеховым [2]. Через два дня Бунин подарил Антону Павловичу оттиск рассказа «На хуторе».

В середине декабря (после 16) Бунин познакомился с В. Я. Брюсовым. Брюсов записал в дневнике 16 декабря 1895 года: «...В среду заходил ко мне с Бальмонтом Бунин, но не застал меня...» [3] Через день-два после этого они снова посетили Брюсова.

Бунин вспоминал: «Брюсова я узнал еще в студенческой тужурке. Поехал к нему в первый раз с Бальмонтом. Он жил на Цветном бульваре, в доме своего отца, торговца пробками. Дом был небольшой, двухэтажный, толстостенный,— настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с высокими и всегда запертыми на замок воротами, с калиткой, с собакой на цепи во дворе. Мы Брюсова в тот день не застали. Но на другой день Бальмонт получил от него записку: «Очень буду рад видеть вас и Бунина, — он настоящий поэт, хотя и не символист». Поехали снова — и я увидел молодого человека...» Говорил он «высокопарно... и все время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революционно (в смысле искусства), — да здравствует только новое и долой все старое!» [4]

В январе 1896 года Бунин уехал в Полтаву, где прожил февраль и март. 10 марта на музыкально-вокальном вечере, устроенном полтавским музыкально-драматическим кружком, он читал «На край света». 21 марта Бунин писал Л. Н. Толстому из Полтавы (опубликовавший это письмо В. Г. Лидин считает, что оно не было отправлено):

«...Я теперь вполне бродяга: с тех пор, как уехала жена, я ведь не прожил ни на одном месте больше двух месяцев. И когда этому будет конец, и где я задержусь

и зачем, — не знаю. Главное — зачем? Может быть, я эгоист большой, но, право, часто убеждаюсь, что хорошо бы освободиться от этой тяготы. Прежде всего — удивительно отрывочно все в моей жизни! Знания самые отрывочные, и меня это мучит иногда до психотизма: так много всего, так много надо узнать, и вместо этого жалкие кусочки собираемых. А ведь до боли хочется что-то узнать с самого начала, с самой сути! Впрочем, может быть, это детские рассуждения. Потом в отношениях к людям: опять отрывочные, раздробленные симпатии, почти фальсификация дружбы, минуты любви и т. д. А уж на схождение с кем-нибудь я и не надеюсь. И прежнего нельзя забыть, и в будущем, вероятно, никого, с кем бы хорошо было: опять будет все раздробленное, неполное, а ведь хочется хорошей дружбы, молодости, понимания всего, светлых и тихих дней... Да и какое право, думаешь часто, имеешь на это? И при всем этом ничтожном, при жажде жизни и мучениях от нее, еще знать, что и конец вот-вот: ведь в лучшем случае могу прожить двадцать пять лет еще, а из них десять на сон пойдет. Смешной и злобный вывод! Много раз я убеждал себя, что смерти нет, да нет, должно быть, есть, по крайней мере, я не то буду, чем так хочу быть. И не пройдет ста лет, как на земле ведь не останется ни одного живого существа, которое так же, как и я, хочет жить и *живет* — ни одной собаки, ни одного зверька и ни одного человека — все новое! А во что я верю? И ни в то, что от меня ничего не останется, как от сгоревшей свечи, и ни в то, что я буду блуждать где-то бесконечные века — радоваться или печалиться. А о боге? Что же я могу сообразить, когда достаточно спросить себя: где я? Где эта наша земля маленькая, даже весь мир с бесчисленными мирами? — Положим, он вот такой, ну хоть в виде шара, а вокруг шара что? Ничего? Что же это такое «ничего», и где этому «ничего» конец, и что, что там, за этим «ничего», и когда все началось, что было до начала — достаточно это подумать, чтобы не заикаться ни о каких выводах! Да и можно, наконец, примириться со всем, опустить покорно голову и идти только к тому, к чему влекут хорошие влечения сердца, и утешаясь этим, но как тяжело это — опустить голову в грустном сознании, со слезами своего бессилия и покорности! Да и в этом пути — быть вечно непонятым

даже тем, кого любишь так искренне, как можно, как говорит Амиель!

Утешает меня часто литература, но и литература — ведь, боже мой, кажется иногда, что нет в мире настроений прекраснее, радостнее или грустнее сладостно и что *все* в этом чудном настроении, но ненадолго это, уже по одному тому, что из всего того, что я уже лет десять так оплакивал или обдумывал с радостью, с бьющимся всей молодостью сердцем, и что казалось сутью души моей и делом жизни — из всего этого вышло несколько ничтожных, маленьких, ничего не выражающих рассказиков!..

Так я вот живу, и если письмо мое детское, отрывочное и не говорящее того, что я хотел сказать, когда сел писать, то и жизнь моя, как письмо это. Не удивляйтесь ему, дорогой Лев Николаевич, и не спрашивайте — зачем написано. Ведь вы один из тех людей, слова которых возвышают душу и делают слезы даже высокими и у которых хочется в минуту горя заплакать и горячо поцеловать руку, как у родного отца!» [1]

В конце марта Бунин приехал в Огневку, где напряженно переводил «Гайавату».

Летом он путешествовал.

Вот дневниковая запись Бунина:

«Днепровские пороги, по которым я прошел на плоту с лоцманами летом 1896 года.

Тридцать первого мая Екатеринослав. Потемкинский сад, где провел с час, потом за город, где под Екатеринославом на пологом берегу Днепра Лоцманская Каменка. В верстах в пяти ниже — курганы: Близнецы, Сторожевой и Галагана — этот насыпан, по преданию, разбойником Галаганом, убившим богатого пана, зарывшим его казну и затем всю жизнь насыпавшим над ней курган. Дальше Хортица, а за Хортицей — пороги: первый самый опасный — Неяситец или Ненасытец; потом тоже опасные: Деде и Волнич; за Волничем, в четырех верстах, последний опасный — Будило, за Будило — Лишний; через пять верст — Вильный и наконец Явленный» [2].

Через Александровск Бунин уехал в Бахчисарай, оттуда, верхом на лошади — в Чуфут-Кале. Под Бахчисараем осмотрел монастырь, в горах — «пещерный город». Опять, как и в первое свое путешествие по Крыму,

проехал через Севастополь на Байдары. На этот раз, переночевав в Кикинеизе. отправился далее по южному побережью Крыма — в Ялту и Гурзуф.

Много позднее Бунин записал:

«Дальнейшие годы уже туманятся, сливаются в памяти — многие годы моих дальнейших скитаний, — постепенно ставших для меня обычным существованием, определявшиеся неопределенностью его. И всего смутнее начало этих годов — самая темная душевная пора всей моей жизни. Внешне эта пора была одна, внутренне другая: тогдашние портреты мои, выражение их глаз неопровержимо свидетельствуют, что был я одержим тайным безумием.

Летом я уехал в Крым. Ни одной знакомой души там не было. Помню, поздним вечером прибыл я в Гурзуф, долго сидел на балконе гостиницы: темнело, воздух был непривычно тепел и нежен, пряно пахло дымом татарских очагов, тлеющего кизяка; горы мягкими стенами, просверленными у подножий красноватыми огнями, как будто ближе обступили тесную долину Гурзуфа с его садами и дачами. На другой день я ушел на Аю-Даг. Без конца шел по его лесистым склонам все вверх, достиг почти до его вершины и среди колючих кустов лег в корявом низкорослом лесу на обрыве над морем. Было предвечернее время; спокойное, задумчивое море сиреневой равниной лежало внизу, с трех сторон обнимая горизонт, муаром струясь в отвесной бездне подо мною, возле бирюзовых скал Аю-Дага. Кругом, в тишине, в вечном молчании горной лесной пустыни беззаботными переливами, мирно грустными, сладкими, чуждыми всему нашему, человеческому миру, пели черные дрозды, — в божественном молчании южного предвечернего часа, среди медового запаха цветущего желтого дрока и девственной свежести морского воздуха. Я лежал, опершись на локоть, слушая дроздов, и цепенел в неразрешающемся чувстве той несказанной загадочности прелести мира и жизни, о которой немолчно говорило в тишине пение дроздов» [1].

Из Гурзуфа Бунин снова отправился в Ялту, где он познакомился с Станюковичем, потом (9 июня) в Одессу, где три дня прожил у Федорова, и 14 июня уехал в Каховку, а затем — по Днепру до Никополя. В эту поездку в 1896 году он записал «псальму про сироту» —

древний южнорусский сказ молодого нищего Родиона Кучеренко. В рассказе об этом страннике-певце «Лирник Родион» Бунин вспоминает: «Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его».

Шестнадцатого июня Бунин «сидел в Александровске», рассчитывая дня через три прибыть в Полтаву. Погостив у брата в Полтаве, по крайней мере, до конца июня, он уехал в Огневку, где прожил примерно до середины октября. Теперь предстояло отправиться в Петербург — и не просто ради удовольствия, а для переговоров об издании книги рассказов, от исхода которых многое зависело в материальном положении Бунина и в его литературных делах.

Пятнадцатого октября 1896 года он сообщал брату в Полтаву, что «дня через три» уедет в столицы. 25 октября Бунин приехал в Москву. На следующий день он писал Юлию Алексеевичу:

«Милый, дорогой друг мой Юринька! Не могу выразить тебе до чего тяжело у меня на душе! Это не минутное настроение. С самого отъезда из Полтавы я не перестаю думать о том, для чего мне жить на свете. Я невыносимо устал от скитальческой жизни, а впереди опять то же самое, но без всякой уже цели. Главное — без цели. Кроме того, никогда у меня не выходит из головы положение нашей семьи. Я всех горячо люблю, и все мы разбросаны...

Ты поймешь, что я теперь чувствую среди этих дьявольских шестиэтажных домов, один, всем чужой и с 50 руб. в кармане. Евгений раньше взял у меня десять рублей, и теперь мне было невозможно брать у него их: пойдут за мое житие у него. А мне так хотелось еще побыть в деревне! Ведь еще 19-го я привез все вещи на Бабарыкино, но меня охватил такой страх и тоска, что я вернулся в Огневку, и вернулся на свою голову! В Москву я приехал вчера, остановился у Фальц-Фейна. Вечером попер к Белоусову...» [1]

Тридцатого октября Бунин уже был в Петербурге. Он писал Юлию Алексеевичу 30 ноября: «Михеев (приятель Бунина. — *А. Б.*) недавно ездил к Короленко и говорил ему про меня, что я желал бы с ним познакомиться. Короленко сказал: «Я знаю Бунина, очень инте-

ресуюсь его талантом и рад познакомиться». На той неделе поедем к нему» [1].

Бунин встретился с Короленко 7 декабря, на юбилее Станюковича [2].

Материальные дела Бунина в это время были плохи. «Живу нищим» [3],— писал он брату и выражал надежду, что изданием «Гайаваты» поправит положение.

Для Бунина имело большое значение то, что он теперь сблизился с редакцией «Мира божьего». В будущем он напечатает в этом журнале многие свои произведения. В эти дни он познакомился также с приемной дочерью издательницы журнала Давыдовой — Марией Карловной [4], ставшей впоследствии женой Куприна.

Десятого января Бунин познакомился в редакции «Нового слова» с писательницей Екатериной Михайловной Лопатиной [5]. Это было началом их большой дружбы.

Приехав в январе 1897 года в Москву, он прожил там почти до конца месяца и в последних числах января уехал в деревню.

Тридцатого января 1897 года он писал из Огневки И. А. Белоусову: «Зажил я серенько, но тихо и начинаю работать... Вышли мне, пожалуйста, книжку: *Н. А. Борисов, «Калевала»,* издание Клюкина...»[6] 28 февраля он извещал Белоусова: «Все время провожу за чтением... Посылаю тебе свою книжечку. Ей пока везет. Федоров прислал недавно вырезку из газеты «Сибирь», где говорится, что редкое явление эти рассказы. Каково?! Рад этому, а потому и хвалюсь тебе так бессовестно» [7].

В середине марта Бунин уехал в Полтаву. 15-го писал Белоусову: «Когда я получил твое письмо — я лежал на одре: было что-то вроде инфлуэнцы, которая меня так угостила, что однажды, поднявшись с этого одра, я упал без памяти. Как видишь — плохо дело... Теперь... я в Полтаве, куда только что прибыл — поспешил по некоторым делам. Пробуду тут, вероятно, до 8—10 апреля... Писать я пока ничего не пишу, — все еще плохо себя чувствую. А сегодня — особенно: «Новое время» гнусно отозвалось обо мне: пишут, что я... как ты думаешь? в чем повинен? — в пристрастии к изображению грязи и мути жизни!! Ну, не подлецы? Это я-то, когда кругом так и сыплются грязные и раз-

вратные книги, а я воспеваю деревенские идиллии и слагаю деревенские элегии. И ведь гнусней всего то, что это — среди похвал моему «искреннему» (?) дарованию и в таком тоне, словно я заведомый фотограф грязных сцен. Конечно, я и знал, что «Новое время» меня обдаст, но лгать-то зачем же?..

Читал похвалы мне в «Русском богатстве» и «Мире божьем». Впрочем, я опять съехал на рецензии... Даже стыдно стало... Поэтому умолкаю пока...»[1]

В марте Бунин напечатал в «Новом слове» (1897, кн. 6) статью (без подписи) о поэте А. А. Коринфском. Принадлежность рецензии Бунину указана А. М. Федоровым в письме к нему от 26 марта 1897 года: «А здорово вы отделали Коринфского-то в мартовской книжке»[2].

Заехав из Полтавы ненадолго в Огневку, Бунин 30 апреля отправился путешествовать — в Шишаки, потом в Миргород. Он нигде не задерживался долго.

В письме (без даты), относящемуся к этому времени, он писал Белоусову: «...Я, брат, опять почти ничего не пишу. Все учусь, — по книгам и по жизни: шатаюсь по деревням, по ярмаркам, — уже на трех был, — завел знакомства с слепыми, дурачками и нищими, слушаю их песнопения и т. д. Сегодня поправляю предисловие к «Песне о Гайавате»[3].

В дневнике Бунин записал:

«Перелет птиц вызывается действием внутренней секреции: осенью недостатком гормона, весной избытком его... Возбуждение в птицах можно сравнить с периодами половой зрелости и «сезонными толчками крови» у людей...

Совсем, как птица, был я всю жизнь!»[4]

Другая запись от 30 апреля 1897 года:

«Овчарки Кочубея. Рожь качается, ястреба, зной. Яновщина, корчма. Шишаки. Яковенко не застал, поехал за ним к нему на хутор. Вечер, гроза. Его тетка, набеленная и нарумяненная, старая, хрипит и кокетничает. Докторша «хочет невозможного».

Миргород, там ночевал»[5].

В Миргороде Бунин был 6 мая 1897 года. В этот день он писал Белоусову: «Я уже, как видишь, пустился в передвижения, «многих людей города посетил и обычаи видел», то есть говоря не гомеровским языком, уже

много пропер по степям, по шляхам, местечкам и хуторам, а теперь приветствую тебя из великого Миргорода! Любопытный город, если только могут называться городами болота, по которым шуршит камыш, кричат кулики, а по берегам стоят избушки, крытые очеретом. Много написал бы тебе, да боюсь, что письмо это попадет к городничему. В Полтаве я буду снова дней через 6—7, куда и прошу тебя убедительно писать. Я, верно, еще отправлюсь по Полтавщине...» [1]

В Полтаве Бунин прожил около двух недель: 24 мая — опять в путь: побывал в Кременчуге, Николаеве, далее морем прибыл в Одессу, к А. М. Федорову.

Записи Бунина об этом путешествии приводит В. Н. Муромцева-Бунина:

«Кременчуг, мост, солнце, желто-мутный Днепр.

За Кременчугом среди пустых гор, покрытых хлебами, думал о Святополке Окаянном.

Ночью равнины, мокрые после дождя пшеницы, черная грязь дороги.

Николаев, Буг. Ветрено и прохладно. Низкие глиняные берега, Буг пустынен. Устье, синяя туча, громадой поднявшаяся над синей сталью моря. Из-под боков парохода развалы воды... бегут сквозь решетку палубы...

Впереди море, строй парусов.

Выход из устья реки в море: речная мутная, жидкая вода сменяется чистой, зеленой, тяжелой и упругой морской... Другой ветер, другой воздух, радость этого ветра, простора, воздуха, счастье жизни, молодости... Яркая зелень волн, белизна чаек, запахи пароходной кухни... Уже слегка подымает и опускает, — это было тоже всегда радостью, — и от этого особенно крепко и ловко шагаешь по выпуклой, недавно вымытой гладкой палубе и глядишь с мужской жадностью, как на баке кто-то стоит, придерживает одной рукой шляпу с развевающейся от ветра дымчатой вуалью, а другой обвивающие ее по ногам полы легкого пальто.

Пароходный лакей, похожий на Нитше, густо усатый, рыжий.

Штиль. Пароход мерно гонит раскаты волн и шипящую пену.

Там внизу, где работают стальные пароходные машины, все шипит, все в горячем масле, на котором

свертываются крупные капли пара. Пахнет им и горячим металлом.

Неподвижные, крупные, металлические белые электрические, высоко висящие огни поздней ночью, в пустом и тихом порту. Тени пакгаузов. Крысы.

Мачты барок в порту качались мерно, дремотно, будто сожалея о чем-то!» [1]

Двадцать девятого мая Бунин прибыл в Люстдорф (дачная местность под Одессой. — *А. Б.*), «сидел на скалах возле прибоя», а вечером «ходил в степь, в хлеба. Оттуда смотрел на синюю пустынность моря» [2].

В Люстдорфе в 1897 году Бунин познакомился с А. И. Куприным [3].

Куприн тогда жил у соседей Бунина по даче, Каришевых. Бунин с ним подружился, помог ему, тогда еще молодому писателю, напечатать рассказы в «Мире божьем» и в «Одесских новостях».

«В это чудесное лето, — пишет Бунин в воспоминаниях о Куприне, — в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка» [4].

Побывав в Одессе, наведавшись снова в Полтаву, Бунин, по его выражению, «ломал поход» в деревню. «Теперь, — пишет он Белоусову 15 июня 1897 года, — тут засяду надолго, может быть, даже до октября, и буду упорно работать. В октябре в Москву. Писал ли я тебе, что в половине августа брат переезжает в Москву на службу — редактором «Вестника воспитания»? Из этого следует, что я теперь буду в Москве по зимам почти безвыездно» [5].

Двадцать шестого августа Бунин сообщил брату, что он с сестрой и матерью (которую надо было лечить) скоро приедут в Москву. В деревне, по его словам, «кругом брань и все больные, так что писать строчки нельзя. Просто беда!» [6].

В этот раз в Москве Бунин познакомился с Николаем Дмитриевичем Телешовым, ставшим его другом.

Встретился он, по-видимому, и с Короленко. Во всяком случае, Федоров, недавно вернувшийся из Петербурга в Одессу, писал 5 октября 1897 года Бунину: «О том, что вы в Москве, мне передавал В. Г. Королен-

ко, у которого я был и который также не отказался от сотрудничества у нас. Он хотел писать вам о вашем переводе и, между прочим, очень хвалил вас»[1].

В Москве, однако, Бунин долго не засиделся — 15 октября был уже в Петербурге (Пушкинская ул., дом 1, меблированные комнаты Пименова) и прожил там немногим менее месяца. Он вел переговоры об издании «Гайаваты», пытался устроить в «Русском богатстве» рассказ Телешова «Сухая беда», а в «Неделе» — «Гайдамаков» Шевченко в переводе Белоусова.

Десятого ноября 1897 года Бунин возвратился в Москву. 16 ноября он принимал участие в праздновании тридцатилетнего юбилея литературной деятельности Н. Н. Златовратского.

Бунин охотно бывал на литературных собраниях, у приятелей, на семейных вечерах.

У Телешова составился дружеский кружок писателей «Парнас», где читались и обсуждались новые произведения. С конца 1890-х годов из членов «Парнаса» составился кружок «Среда».

И. А. Белоусов писал:

«...«Среды» явились продолжением того кружка, который гораздо раньше собирался у Н. Д. Телешова, когда он жил в доме своего отца на Валовой улице... Кружок тогда назывался «Парнас»; участвовавших в нем было очень немного: Сергей Дмитриевич Махалов, теперь известный драматург С. Разумовский... Владимир Семенович Лысак, выпустивший книжечку миниатюр под названием «Подорожник», сам Н. Д. Телешов, его брат — Сергей Дмитриевич, я, да еще кое-кто из молодых музыкантов...

Интимный кружок «Парнас» просуществовал несколько лет, широкого развития он не получил, но значение его заключается в том, что он явился основоположником «Сред», имевших большое значение в русской литературе за известный период...»[2]

Об очередном собрании кружка Телешов извещал Белоусова 29 января 1898 года: «Дорогой Иван Алексеевич... к субботе кончу рассказ («Домой».— *А. Б.),* и у меня будут Бунины и вы, а в воскресенье днем я привезу рассказ в редакцию («Детского чтения». — *А. Б.*). Приезжайте в субботу ко мне... Будут только Бунины, Махалов, Лысак, вы и я»[3].

Тринадцатого января 1898 года Бунин послал из Апраксина (местность под Петербургом. — *А. Б.*) П. А. Ефремову стихотворение «В степи» для сборника «Памяти В. Г. Белинского» (М. 1899), составленного из трудов русских литераторов.

После 30 января Бунин уехал из Москвы в Огневку, потом — в Петербург. Здесь он снова встретился с Е. М. Лопатиной. Она записала в дневнике:

Двадцать второго февраля 1898 года, Петербург. «Возвращаюсь однажды к дяде Вл. Л. и нахожу телеграмму Бунина с извещением о том, что он едет. Утром он пришел к дяде, и весь день мы почти не расставались... То провожал меня в «Сын отечества», то отвозил еще куда-нибудь, поправлял оттиски моего романа, и раз я была у него в номере на Пушкинской. Понемногу все стали замечать, намекать на его любовь... Вечером он ждал меня в Союзе писателей. Я никогда этого вечера не забуду. Никогда, кажется, я его таким не видала. Так был бледен, грустен, мил. Так мы тихо, грустно и хорошо говорили... Он поправлял мой второй оттиск, хвалил эту часть. Мне было страшно грустно, и казалось, что у него на глазах слезы... Из Союза он пошел за мной, провожать меня. Как я помню эту ночь. Шел снег, что-то вроде метели... Наконец, уже на Садовой, мы заговорили, и все было сказано. Мне вдруг стало легко говорить с ним. Мы пешком дошли до Мастерской, и было так грустно. Я сказала ему, что боюсь его увлечения, его измученного лица и странного поведения, иначе не стала бы говорить; что я не могу пойти за ним теперь, не чувствую силы, не люблю его настолько. Он говорил о том, как никогда и не ждал этого, как во мне он видит весь свет своей несчастной жизни; он не боялся этого, потому что ему нечего терять, ему уже давно дышать нечем; без меня у него тоска невыносимая, но это не какая-нибудь обыкновенная влюбленность, которую легко остановить, а трезвое, настоящее чувство, очень сложное, и расстаться со мною ему невыносимо уже теперь...

Вечером он пришел на вокзал, бледный, даже желтый, и сказал мне, что, вероятно, уедет в понедельник в Нормандию. И тут же говорил, что поправит и пришлет мне с поправками весь мой роман... Сегодня я послала ему письмо. Я говорила ему, что мне грустно, что я хочу

его видеть и хочу, чтобы он знал это, но не зову его... Послала вечером с посыльным на вокзал...»[1]

В ответ на это письмо Бунин писал: «Ох, если бы знали, каким счастьем захватило мне душу это внезапное прикосновение вашей близости, ваши незабвенные и изумительные по выражению чувства слова: «Мне грустно; я хочу вас видеть и *хочу, чтобы вы знали это...»* Не забуду я этого до гробовой доски, не прощу себе до могилы, что не умел я взять этого, и не могу не простить вам за них всего, что только не превышает всех моих сил»[2].

В первых числах марта Бунин был в Москве.

Возвратилась в Москву и Лопатина. Она записала в дневнике 12 марта 1898 года: «Иван Алексеевич приехал дня через два после того, как я писала в последний раз, и в среду уже был у меня. Он у меня постоянно, мы вместе работаем... Мне теперь с ним легко, в наших отношениях есть много поэтичного, и, хотя часто меня пугает мысль, что с ним будет, думаю, что иначе поступить я не должна. «Постарайтесь взглянуть на это оригинальнее... Как-никак, а мы артисты, черт возьми, нужно же, чтобы мы выработали какие-нибудь иные формы»,— говорил он мне»[3].

Бунин вспоминал о Лопатиной:

«Она была худая, болезненная, истерическая девушка, некрасивая, с типическим для истерички звуком проглатывания — м-гу! — звуком, которого я не мог слышать. Правда, в ней было что-то чрезвычайно милое, кроме того, она занималась литературой и любила ее страстно. Чрезвычайно глупо думать, что она могла быть развитей меня оттого, что у них в доме бывал Вл. Соловьев. В сущности, знала она очень мало, «умные» разговоры еле долетали до ее ушей, а занята она была исключительно собой. Следовало бы как-нибудь серьезно на досуге подумать о том, как это могло случиться, что я мог влюбиться в нее. Обычно при влюбленности, даже при маленькой, что-нибудь нравится: приятен бывает локоть, нога. У меня же не было ни малейшего чувства к ней, как к женщине. Мне нравился переулок, дом, где они жили, приятно было бывать в доме. Но это было не то, что влюбляются в дом оттого, что в нем живет любимая девушка, как это часто бывает, а наоборот. Она мне нравилась потому, что нравился дом...

Кто я был тогда? У меня ничего не было, кроме нескольких рассказов и стихов. Конечно, я должен был казаться ей мальчиком, но на самом деле вовсе им не был, хотя в некоторых отношениях был легкомыслен до того и были во мне черты такие, что не будь я именно тем, что есть, то эти черты могли бы считаться идиотическими. С таким легкомыслием я и сказал ей однажды, когда она плакалась мне на свою любовь к Т.: «Выходите за меня замуж...» Она расхохоталась: «Да как же это выходить замуж... Да ведь это можно только тогда, если за человека голову на плаху можно положить...» Эту фразу очень отчетливо помню. А роман ее с Т. был очень странный и болезненный. Он был похож на Достоевского, только красивей» [1].

До середины июня 1898 года Бунин прожил, по-видимому, в Москве и в Царицыно. Затем уехал на юг. 18 июня он писал Юлию Алексеевичу из Нежина: «Еду в Одессу, к Федорову» [2]. 24 июня он сообщал брату: «Я живу в Люстдорфе у Федорова. Пробуду здесь, должно быть, числа до десятого июля. Потом — не знаю куда. Вероятно, уже будет пора ехать на эту несчастную Мусинькину свадьбу, которой я до сих пор не верю как-то и все надеюсь, что она образумится. Так и скажи Машеньке, и еще скажи, что горячо целую ее и не думаю сердиться на нее, хотя мне так мучительно жаль ее *. Денежные дела мои плохи... Тут живет теперь еще Куприн, очень милый и талантливый человек. Мы купаемся, совершаем прогулки и без конца говорим. Чувствую себя все-таки плохо и физически и нравственно» [3].

В этом же письме Бунин сообщал брату, что на днях выйдет книга его стихов («Под открытым небом» — цензурное разрешение от 27 июля 1898 года).

Поселившись в Одессе, Бунин подружился с писателями и художниками, членами «Товарищества южнорусских художников». У них существовал обычай собираться по четвергам у художника Буковецкого.

---

* Свадьба состоялась 14 октября 1898 г. М. А. Бунина вышла замуж за помощника машиниста Иосифа Адамовича Ласкаржевского. Бунин на свадьбе не был

Вера Николаевна Муромцева-Бунина пишет:

«Четвергом» называлось еженедельное собрание «Южнорусских» художников, писателей, артистов, даже некоторых профессоров, вообще людей, любящих искусство, веселое времяпрепровождение, товарищеские пирушки. После обеда художники вынимали свои альбомы, писатели, поэты читали свои произведения, певцы пели, кто умел, играл на рояли. Женщины на эти собрания допускались редко. Возникли они так: художник Буковецкий, человек состоятельный и с большим вкусом, приглашал к себе друзей по четвергам: друзья были избранные, не каждый мог попасть в его дом. Когда он женился, то счел неудобным устраивать у себя подобные «мальчишники», и они были перенесены в ресторан Доди, где состав собиравшихся сильно расширился» [1].

Буковецкий был, по словам В. Н. Муромцевой-Буниной, «изысканный человек, умный, с большим вкусом, старался быть во всем изящным. Он писал портреты. Одна его вещь была приобретена Третьяковской галереей.

С первых же месяцев знакомства с этой средой Иван Алексеевич выделил Владимира Павловича Куровского, редкого человека и по душевным восприятиям, и по особому пониманию жизни. Настоящего художника из него не вышло... С 1899 года он стал хранителем Одесского музея... Иван Алексеевич очень ценил Куровского и «несколько лет был просто влюблен в него». После его самоубийства, во время первой мировой войны, он посвятил ему свое стихотворение «Памяти друга»...

Подружился он и с Петром Александровичем Нилусом, дружба длилась многие годы и перешла почти в братские отношения. Он, кроме душевных качеств, ценил в Нилусе его тонкий талант художника не только как поэта красок в живописи, но и как знатока природы, людей, особенно женщин,— и все уговаривал его начать писать художественную прозу. Ценил он в нем и музыкальность. Петр Александрович мог насвистывать целые симфонии.

Сошелся и с Буковецким, ему нравился его ум, оригинальность суждений, меткость слов. С остальными вошел в приятельские отношения, со всеми был на «ты»,

некоторых любил, например, Заузе, очень музыкального человека (написавшего романс на его слова «Отошли закаты на далекий север»), Дворникова, которого ценил и как художника, маленького трогательного Эгиза, необыкновенно гостеприимного караима. Забавлял его и Лепетич. Познакомился и со старшими художниками: Кузнецовым и Костанди»[1].

На «четвергах» Бунин читал свои и чужие произведения, читал прекрасно, хотя манера его чтения не вызывала особенного восторга, — «читал просто, а тогдашняя публика привыкла к актерскому чтению, к ложному пафосу, к «слезе» в голосе, к вульгарным эффектам. Кроме чужих произведений, он читал и свои стихи, но и они были встречены холодно — в стиле Бунина не было пустозвона, шаблонных рифм, и особенно потому, что в них не было гражданской скорби; они были наивны и благородны — качества, доступные не всем»[2].

«Бунин, — пишет П. А. Нилус, — отдавал друзьям весь свой смех, всю свою молодую радость...» На «четвергах», по его словам, «царил дух скептицизма, веселой шутки, незлобивой насмешки, дух правды»[3].

Бывал Бунин и в «Литературно-артистическом клубе»[4], где тоже читал.

Бунин сотрудничал в одесской газете «Южное обозрение»[5], печатал здесь свои стихи, рассказы, литературно-критические заметки (о стихах А. М. Федорова.— 1899, № 728, 15 февраля — и др). Издатель газеты Н. П. Цакни предлагал Бунину принять участие в издании газеты. В июле — сентябре 1898 года Бунин писал Юлию: «Я чуть не каждый день езжу на дачу Цакни, издателя и редактора «Южного обозрения», хорошего человека с хорошей женой и красавицей дочерью. Они греки. Цакни человек с состоянием — ежели ликвидировать его дела, то, за вычетом долгов, у него останется тысяч сто (у него два имения, одно под Одессой, другое в Балаклаве — виноградники), но сейчас совсем без денег, купил газету за три тысячи у Новосельского, без подписчиков и, конечно, теперь в сильном убытке, говорит, истратил на газету уже тысяч десять и, говорит, не выдержу, брошу до осени, ибо сейчас денег нет. Расходится «Южное обозрение» в три тысячи экземпляров (с розницей). Вот и толкуем мы с ним, как бы устроить дела на компанейских началах. Ведь помнишь,

Мы всю зиму толковали и пили за свою газету. Теперь это можно устроить. Цакни нужна или материальная помощь, или сотрудническая. «*Своей* компании, говорит он, я с удовольствием отдам газету» (направление «Южного обозрения» хорошее), могу отдать или совсем с тем, чтобы года три ничего не требовать за газету, а потом получать деньги в рассрочку, или так, чтобы компания хороших сотрудников работала бесплатно и получала барыши, ежели будут, причем и редактирование будет компанейское, или так, чтобы был представитель-редактор от компании, а он будет только сотрудником, или чтобы сотрудники при тех же условиях вступили пайщиками в газету, чтобы можно было, наконец, создать хорошую литературную газету в Одессе. Прошу тебя, Юлий, подумай об этом серьезно. Нельзя ли, чтобы Михайлов (Н. Ф. Михайлов — издатель журнала «Вестник воспитания». — *А. Б.*) вошел главным пайщиком? Или устроим компанию? Только погоди с кем бы то ни было переписываться — газета должна быть прежде всего в наших с тобой руках. Цакни просит меня переехать в Одессу, если это дело устроится. Хорошо бы устроить! Тем более, что все шансы за то, что я женюсь на его дочери. Да, брат, это удивит тебя, но выходит так. Я хотел написать тебе давно — посоветоваться, но что же ты можешь сказать? Я же сам очень серьезно и здраво думаю и приглядываюсь. Она красавица, но девушка изумительно чистая и простая, спокойная и добрая. Это говорят все, давно знающие ее. Ей 19-й год[1]. Про средства тоже не могу сказать, но 100 тысяч у Цакни, вероятно, есть, включая сюда 50 тысяч, которые ему должен брат, у которого есть имение, где открылись копи. Брат этот теперь продает имение и просит миллион, а ему дают только около 800 тысяч. Страшно только то, что он может не отдать долга. У Цакни есть еще и сын. Люди они милые и простые. Он был в Сибири, затем эмигрировал, 9 лет жил в Париже, жена его — женщина-врач. Тон в семье хороший. Не знаю, как Цакни отнесется к моему предложению. С Анной Николаевной,— которая мне очень мила, я говорил только с ней, но еще не очень определенно. Она, очевидно, любит меня, и когда я вчера спросил ее, улучив минуту, согласна ли она,— она вспыхнула и прошептала «да». Должно быть, дело решенное, но еще не

знаю. Пугает меня материальное положение — я знаю, что за ней дадут, во всяком случае, не меньше 15—20 тысяч, но, вероятно, не сейчас, так что боюсь за первое время. Думаю, что все-таки лучше, если даже придется первое время здорово трудиться — по крайней мере, я буду на месте и начну работать, а то я истреплюсь. Понимать меня она навряд будет, хотя от природы она умна. Страшно все-таки. *В тот же день пиши мне как можно подробнее* — посоветуй. А то думаю числа 26-го все кончить. 26-го литературный вечер, в котором и я [участвую], а еще Бальмонт. Он тут. Решив дело, поеду в Огневку не позднее 28—29—30. Жду письма с нетерпением» [1].

В своей книге «Жизнь Бунина» В. Н. Муромцева-Бунина приводит запись Ивана Алексеевича, относящуюся к тому времени: «Русский грек Николай Петрович Цакни, революционер, женатый на красавице еврейке (в девичестве Львовой), был сослан на крайний север и бежал оттуда на каком-то иностранном пароходе и жил нищим эмигрантом в Париже, занимаясь черным трудом, а его жена, родив ему дочь Аню, умерла от чахотки. Аня только двенадцати лет вернулась в Россию, в Одессу, с отцом, женившимся на богатой гречанке Ираклиди, учившейся пению и недоучившейся оперному искусству у знаменитой Виардо...» [2]

Свадьба Бунина и А. Н. Цакни состоялась 23 сентября 1898 года. 25 сентября Бунин сообщал Юлию Алексеевичу: «Позавчера я повенчался...» [3]

Галина Николаевна Кузнецова записала в дневнике 9 марта 1932 года: «...Я стала спрашивать его о его первой жене Анне Николаевне Цакни. Он сказал, что она была еще совсем девочка, весной кончившая гимназию, а осенью вышедшая за него замуж. Он говорил, что не знает, как это вышло, что он женился. Он был знаком несколько дней и неожиданно сделал предложение, которое и было принято. Ему было 27 лет.

«Когда я теперь вспоминаю это время — это было в сентябре в Одессе,— мне оно представляется очень приятным. И вот нельзя собственно никому сказать этого — из чего состояло это приятное? Прежде всего из того, что стояла прекрасная сухая погода, и мы с Аней и ее братом Бебой и с очень милым песиком, которого она нашла в тот день, когда я сделал ей предложение, езди-

ли на Ланжерон. Надо сказать, что в Ане была в то время смесь девочки и девушки, и «дамское» выражалось в ней тем, что она носила дамскую шляпу с вуалью в мушках, как тогда было модно. И вот через эту вуаль ее глаза — а они у нее были великолепные, большие и черные — были особенно прелестны. Ну, как сказать, из чего состояло мое приятное состояние в это время? Особенной любви никакой у меня к ней не было, хотя она и была очень милая. Но вот эта приятность состояла из этого Ланжерона, больших волн на берегу и еще того, что каждый день к обеду была превосходная кефаль с белым вином, после чего мы часто ездили с ней в оперу. Большое очарование ко всему этому прибавлял мой роман с портом в это время — я был буквально влюблен в порт, в каждую округлую корму...» [1]

Бунин ездил с Анной Николаевной в Крым и в именье Цакни под Одессой — Краснополье. Возвращаясь в Одессу на пароходе «Пушкин», он писал брату 1 октября 1898 года: «Видишь, я — в море и ужасно доволен этим. Возвращаемся с Анной Николаевной из Крыма, уехали в субботу на прошлой неделе, были в Ялте, Гурзуфе и т. д., потом в Севастополе и Балаклаве. Тут я перезнакомился с моими новыми родственниками. В Балаклаве — хорошо, земли тут у Цакни 48 десятин, и, как рассказывает его племянник, живущий в Балаклаве, все это стоит, а будет стоить еще более дорого... Он, то есть Николай Петрович, предлагал мне переселиться в Крым и заняться хозяйством» [2].

Бунин писал брату 15 октября 1898 года, что живет он «хорошо, совсем по-господски, Анна Николаевна — замечательно добрый, ровный и прекрасный человек, да и вся семья... Сейчас едем в именье — я, Аня и Беба, будем охотиться. Но буду, конечно, и работать и там. Там все есть, лошади верховые и т. д. — словом, тоже все по-барски, даже кухарку с нами шлют... Пробуду там *с неделю,* не больше — корректура... Машенька не радует меня, такие грустные письма пишет...» [3]

Девятнадцатого октября 1898 года он писал ему же: «А в Краснополье (или Затишье) очень хорошо. Местность тут совсем голая, но гористая, усадьба стоит на склоне горы, а перед ней громадная долина, красиво замкнутая горами... Дом привел меня в восторг —

огромный, массивный, уютный, старинный... Земли тут 800 десятин» [1].

В конце ноября Бунин вместе с Анной Николаевной побывал в Петербурге, а затем в Москве, 17 декабря присутствовали на премьере «Чайки» в Художественном театре [2]. Анна Николаевна числа 23-го уехала в Одессу.

Новый, 1899 год Бунин встречал с Юлием Алексеевичем в Москве, чувствовал себя одиноко. «Хотел бы я любить людей и есть во мне любовь к *человеку,* но в отдельности, ты знаешь,— писал он жене 31 декабря 1898 года,— я мало кого люблю» [3].

Двадцать первого января 1899 года Бунин приехал в Одессу, побывав перед этим в Калуге у Марии Алексеевны. Он и Анна Николаевна жили в Одессе на Херсонской, д. 40, кв. 17 (ныне ул. Пастера, д. 44, во дворе).

Художник П. А. Нилус говорил в 1913 году, что в то время Бунин «увлекался Лоти, Роденбахом, читал По, восхищался Одессой» [4].

Не позднее февраля 1899 года Бунин получил письмо от Горького с отзывом о его книге «Под открытым небом». Горький писал, что в его стихах «огромное чутье природы» [5].

Шестого апреля 1899 года Бунин отправился из Одессы в Ялту. В этот день он писал брату: «Я, как видишь, плыву, упиваюсь положительно морем, пароходом, лунной ночью. Еду в Ялту, проветриться дней на пять, увидаться с Миролюбовым, Чеховым и Горьким, которые в Крыму» [6]. Весной 1899 года Бунин и познакомился с Горьким. «Приезжаю в Ялту,— писал он в «Автобиографических заметках» 1927 года,— иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький»... Говорил он громко, с жаром, и все образами, и все с героическими, грубоватыми восклицаниями. Это был рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, которые все были совершенно былинные исполины» [7].

По словам Бунина, «чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения...» [8]

Позднее, пишет Бунин, «мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участвовал в «Сборниках Знания» [1].

Возвратился Бунин в Одессу 14 апреля и писал брату: «В Крыму видел Чехова, Горького (с Горьким сошелся довольно близко, — во многих отношениях замечательный и славный человек), Миролюбова, Ермолову, Давыдову с дочерью, с Марьей Карловной... Елпатьевского, художника Ярцева, Средина» [2].

Издатель «Журнала для всех» В. С. Миролюбов просил Бунина написать стихи о Пушкине к 100-летию со дня рождения поэта. 26 апреля Бунин писал ему:

«Сознание, что я во что бы то ни стало должен написать *хорошее* да еще юбилейное стихотворение, умерщвляло во мне всякое чувство. А потом я уж истомился, и Пушкин стал представляться мне врагом» [3]. Стихи, по его словам, получились «жалкие» [4].

Творчество Пушкина, как и Лермонтова, всю жизнь было для Бунина неувядаемым образцом настоящего искусства. Он не раз повторял, что «проза Лермонтова и Пушкина остались непревзойдены» [5].

По словам Бунина, он не знает «примеров такого такта и такого ума» [6], как у Пушкина.

«Мы почти ничего не знаем про жизнь Пушкина... А сам он ничего о себе не говорил. А если бы он совершенно просто, не думая ни о какой литературе, записывал то, что видел и что делал, какая это была бы книга! Это, может, было бы самое ценное из того, что он написал. Записал бы, где гулял, что видел, читал...» [7]

В дневниковых записях Г. Н. Кузнецовой приводится несколько высказываний Бунина о Пушкине. Так, 22 декабря 1928 года, в связи с разговором о том, что хорошо было бы написать художественные биографии некоторых писателей, она записывает слова Бунина:

«Это я должен был бы написать «роман» о Пушкине! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульфу, входит в

сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение... Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет... Но ведь этим надо жить, родиться в этом!» [1]

Двадцать восьмого февраля 1932 года Г. Н. Кузнецова вновь записала в дневнике:

«Вечером Иван Алексеевич читал мне стихи Пушкина. Читает он их так, как, пожалуй, сам Пушкин должен был читать: то важно, то совсем просто, то уныло... Но лучше всего у него вышло: «О, если правда, что в ночи...», которое он прочел глухим, таинственным, однообразным тоном, нигде не повышая его. Я напомнила, что Метнер в музыке кончает вскриком, как бы уже зовом в присутствии призрака: «Сюда, сюда!» Он покачал головой: «Неправда. Этот зов в сущности беспомощен» [2].

Двадцать первого июня 1949 года Бунин писал о Пушкине:

«Полтора века тому назад бог даровал России великое счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В некий страшный срок пресеклась, при ее попустительстве, драгоценная жизнь Того, Кто воплотил в себе ее высшие совершенства» [3].

Двадцать пятого мая 1899 года Бунин писал Брюсову: «Страшно одинока и непонятна жизнь... Еду в деревню... Буду думать думы на степных могилах» [4].

С 17 июня Бунин жил в Краснополье, наслаждаясь, по его словам, отдыхом и «ездою верхом... Успел уже порядочно загонять двух верховых лошадей...» [5].

Но семейная жизнь разладилась, и ему пришлось пережить немало тяжелого, что видно из писем к брату.

Четырнадцатого декабря 1899 года он пишет об обстановке в доме Н. П. Цакни и постоянных посетителях — участниках любительских спектаклей в «народной аудитории», в которых выступала в качестве певицы и Анна Николаевна:

«С конца июля я нахожусь, ты знаешь, в каком состоянии, и это продолжается до сей минуты. Я скверно, стыдно и пришибленно себя чувствую. И уже одно это

положительно разрушает мое здоровье. Вымышленно или нет мое горе — все равно я его чувствую, а это не проходит даром, и мне жаль себя. Нет сил подняться выше этой дрянной истории, очевидно в этом виноваты мои больные нервы — но все равно, я многое гублю и убиваю в себе. И до такой степени не понимать этого, то есть моего состояния, и не относиться ко мне помягче, до такой степени внутренно не уважать моей натуры, не ставить меня ни в грош, как это делает Анна Николаевна — это одно непоправимо, а ведь мне жить с ней век. Сказать, что она круглая дура, нельзя, но ее натура детски-тупа и самоуверенна — это плод моих долгих и самых беспристрастных наблюдений. Сказать, что она ... тоже нельзя, но она опять-таки детски-эгоистична и... не чувствует чужого сердца — это тоже факт. Ты говоришь — ее невнимание и ее образ жизни — временно, но ведь беда в том, что она меня ни в грош не ценит. Мне самому трогательно вспомнить, сколько раз и как чертовски хорошо я раскрывал ей душу, полную самой хорошей нежности — ничего не чувствует — это осиновый кол какой-то. При свидании приведу тебе сотни фактов. *Ни одного моего* слова, *ни одного моего* мнения *ни о чем* — она не ставит даже в трынку. Она глуповата и неразвита, как щенок, повторяю тебе. И нет поэтому никаких надежд, что я могу развить ее бедную голову хоть сколько-нибудь, никаких надежд на другие интересы. Жизнь нашу я тебе описывал. В 8 ч. утра — звонок — Каченовская. Затем — каждые пять минут звонок. Приходят Барбашев — который абсолютно... не делает с Бебой — затем... Лев Львович, старик аршин ростом с отвислой губой, битый дурак омерзительного вида, заведующий аудиторией, затем три-четыре... переписчика нот, выгнанный из какой-то гнусной труппы хохол Царенко... Затем студент Аблин, типичнейший фельдшеришка-плебей, которого моя дура называет рыцарем печального образа (!!), затем — вылитый И. Адамов — мальчишка-гречонок, певчий из церкви — Марфеси, 18 лет, затем еще два-три студента, и все это пишет ноты, гамит, ест и уходит только на репетиции вместе с Бебой, Аней и Элеонорой Павловной (мачеха А. Н. Цакни.— *А. Б.*). Так продолжалось *буквально* каждый день до прошлого воскресения. Николай Петрович, наконец, не выдержал, заговорил со мной. Он со слезами рас-

сказал мне, что эта жизнь ему, наконец, невтерпеж. «Я, говорит, пробовал несколько раз говорить с Элеонорой Павловной — сердцебиение, умирает. Что мне делать? Я едва, говорит, сдерживаюсь». Не стану тебе передавать всю нашу беседу и все его беседы с Элеонорой Павловной, вот одна из них — типичная. Недели полторы тому назад, поздно ночью вернулись с репетиции. Я ушел в свою комнату, Николай Петрович, который думал, что я уже сплю, пошел отворять дверь. Там он сказал Ане: «Здравствуй, профессиональная актриса». Затем произошел скандал. Он со слезами кричал, что он выгонит всю эту ораву идиотов и пошляков, что Элеонора Павловна развращает его детей, что из Бебы выйдет — идиот, что Аня ведет настолько пустую и пошлую жизнь, что ему до слез больно, что она без голоса примазалась к этой идиотской жизни и т. д. К великому моему изумлению, это не произвело на Аню особенного впечатления. Словом, жизнь потекла снова так же. Николай Петрович не имеет злого вида, но иногда прорывается, а между тем почти перестал обедать, завтракать и бывать дома. Он и говорил: «Хорошо, я сбегу», и действительно, нет часа, чтобы у нас кого-нибудь да не было. Элеонора Павловна плакала, обещала все это прекратить, но не прекратила. Я с ней говорил о жизни Ани — она говорит, что папа ее не понимает, объясняет все ее суетными и дурными наклонностями, а между тем «девочка увлечена делом, как она думает». Отчасти Элеонора, конечно, врет, ибо сама не может расстаться с «Жизнью за царя»... Мне Цакни сказал, что это он терпит только до поры, до времени. Если будет другая опера и Аня будет участвовать — *он предложит ей оставить его дом.* Но куда ему... привести это в исполнение! Поставили в прошлое воскресенье (6-го дек.) оперу, ноты у нас кончились, но жизнь мало изменилась. Буквально все [дни] снова проходят в разговорах, *ни на секунду* — клянусь тебе — не умолкаемых, и все об одном и том же. *Все* знакомые, все родные — клянусь тебе — глаза таращат, говорят, что они с ума сошли. И действительно это не поддается описанию!..

Но главное — *она беременна,* уже месяц»[1]. (Сын Бунина Николай родился в Одессе 30 августа 1900 года.)

Анна Николаевна сказала, пишет Бунин в другом письме: «Чувства нет, без чувства нельзя жить». Вече-

ром я расплакался до безумия... Я связывал ее... Она насиловала себя, подделываясь под мою жизнь и под мою серьезность... Чувствую ясно, что не любит меня почти ни капельки и... не понимает моей натуры и вообще гораздо пустее ее натура, чем я думал. Так что история проста, обыкновенна донельзя и грустна чрезвычайно для моей судьбы» [1].

«Ты не поверишь: если бы не слабая надежда на что-то, рука бы не дрогнула убить себя. И знаю почти наверно, что этим не здесь, так в Москве кончится. Описывать свои страдания отказываюсь, да и ни к чему. Но я погиб — это факт совершившийся... Давеча я лежал часа три в степи и рыдал и кричал, ибо большей муки, большего отчаяния, оскорбления и внезапно потерянной любви, надежды, всего, может быть, не переживал ни один человек... Подумай обо мне и помни, что умираю, что я гибну — неотразимо... Как я люблю ее, тебе не представить... Дороже у меня нет никого» [2].

Январь 1900 года (по-видимому, весь месяц) Бунин прожил в Москве у брата.

Брюсов записал в дневнике в конце января — начале февраля 1900 года: «В Москве Бунин и Перцов [П. П.]. С Буниным виделся раза три. Он гораздо глубже, чем кажется. Иные размышления его о человечестве, о древних египтянах, о пошлости всего современного и позоре нашей науки — даже сильны, производят впечатление. В жизни он, кажется, очень несчастен» [3].

Из Москвы Бунин отправился в Одессу.

Двадцать шестого февраля 1900 года он писал брату:

«...Мое положение трагическое. Относительно поездки в Константинополь и т. д. думаю, что это было бы для меня спасением, но что же сделать? Ведь я сейчас только понял, что я мечтаю как ребенок... где денег взять? *Ради Христа, подумай,— не придумаешь ли что-нибудь?* Ведь пойми — я пропадаю. По целым ночам реву от горя и оскорбления, а днем бегаю и стискиваю себя, чтобы быть спокойным. И ни копейки денег! Серьезно, надоедать стала мне эта штука, называемая жизнью. И впереди то же» [4].

Вера Николаевна писала об отношениях Бунина к Анне Николаевне: «Прочла все письма периода Цакни сразу. Расстроилась: представляла иначе — считала бо-

лее виноватым Ивана Алексеевича. А, судя по письмам, не только жизнь была не для творческой работы, а у самой Анны Николаевны не было настоящего чувства, и ей хотелось разрыва... Это понятно, конечно, они были и по натуре, и по среде, и по душе очень разные люди. И как с годами Иван Алексеевич, я не скажу, простил, а просто забыл все, что она причинила ему. Я менее злопамятного человека не знаю, чем он. Когда проходил известный срок того или другого отношения к нему человека, он забывал почти все» [1].

В 1900 году Бунин записал: «В начале марта полный разрыв. Уехал в Москву» [2].

В Москве Бунин пробыл до начала апреля. 11 марта В. Брюсов записал: «В Москве опять был Бунин. Заходил ко мне. Потом я был у него в каких-то странных допотопных меблированных комнатах с допотопными услужающими. Бунин только что вернулся с Михеевым от Васнецова. Восторгались оба безумно его новой картиной «Баян» [3].

Двенадцатого апреля Бунин приехал в Ялту. Поселился в гостинице «Крым».

Четырнадцатого апреля туда приехал Художественный театр, который ставил в Севастополе и Ялте спектакли «Чайка», «Дядя Ваня», «Одинокие» Гауптмана и «Гедда Габлер» Ибсена. Бунин познакомился с Вишневским, Станиславским и Книппер. Встретился с Чеховым, Горьким, бывал у Срединых, у Е. М. Лопатиной, встречался с Маминым-Сибиряком, Елпатьевским, Телешовым [4]. Познакомился с С. В. Рахманиновым [5].

В Ялту приехал Юлий Алексеевич, и, должно быть, в начале мая братья отправились в Одессу, надеясь вместе совершить заграничное путешествие. Но ехать в Константинополь в Одессе раздумали, опасаясь чумы. К тому же Бунин захворал.

В середине мая Бунин уехал в Огневку, по пути заглянул в Ефремов к сестре Маше, где в то время находились его отец и Н. А. Пушешников.

Бунин писал Юлию Алексеевичу 16 мая 1900 года из Ефремова:

«Выбраться в Огневку нет средств. Положение, брат, ужасное! У Евгения, говорят, лопать решительно нечего. Надеюсь все-таки удрать и пешком дойти до Огневки» [6].

В деревне Бунин засел за литературу; «много пишу, читаю,— говорит он в письме к Федорову,— словом, живу порядочной жизнью, а это... кажется, только и можно делать, что в Огневке. Кроме того, сильно тянет меня к себе Горький,— он в Полтавской губ.; а Полтавскую губ. я чрезвычайно люблю. Живет недалеко от Кременчуга. Там славные места!» [1].

В это время Бунин писал «Листопад». Н. А. Пушешников отметил в дневнике:

«В 1900 году, когда Иван Алексеевич писал поэму «Листопад», он жил в Огневке... Писал он на маленьком столике из некрашеных тесин, стоящем у окна. На столе, помню, всегда (в этот период) лежали ободранные, без обложек, книги стихов Фета, Майкова и др... в Огневке Иван Алексеевич постоянно гулял по одной и той же дороге (вечером) — на запад, к железной дороге. Он говорил, что очень любит ходить к железной дороге, потому что это вызывает у него воспоминания о путешествиях, юге, что он любит больше всего в жизни» [2].

В августе Бунин отправился в Москву, где пробыл до 6 сентября. Здесь он отдал «Листопад» для октябрьской книги «Жизни» и передал В. Я. Брюсову в издательство «Скорпион» сборник стихов (вышедший в 1901 году под заглавием «Листопад»).

Пятого сентября, довольный успехом переговоров с издателями, он уехал на две недели в Петербург. Остановился у А. М. Федорова.

Двадцать первого сентября Бунин сообщал Телешову, что возвращается в Москву — очень ненадолго. В этот приезд он бывал у О. Л. Книппер, присутствовал в Художественном театре на первом представлении «Снегурочки». Ольга Леонардовна писала Чехову 30 сентября, что после премьеры «Снегурочки» актеры ужинали в «Континентале», «были Горькие и Бунин, кутили до 5-го часу утра. Бунин был и у нас, принес мне свою книгу» [3].

В начале октября он уехал в Одессу — остановился не у Цакни, а у В. П. Куровского (Софиевская, 5).

Одиннадцатого октября Бунин отправился вместе с Куровским в заграничное путешествие. 10-го он писал Юлию Алексеевичу: «Еще в Одессе, задержал Куров-

ский. Уезжаем *завтра*... едем на Берлин прямо в Париж, откуда через Вену» [1].

Вечером 29 октября (10 ноября нов. ст. *) они приехали в Швейцарию [2].

Восемнадцатого ноября нов. ст. Бунин писал Брюсову из Rigi-Kulm: «Был в Альпах Бернских, в Гриндельвальде и Мюррене, на большой высоте, в снегах и зимней горной глуши, совсем перед вечным лицом Финстерааргорна и Юнгфрау. Теперь провожу вечер на высоте более 2000 метров, совсем в снегу, на Риги-Кульм. Взошел без проводников, один, по дикой дороге — хорошо!» [3]

25/12 ноября писал брату из Мюнхена:

«Мюнхен прелесть, картины Бёклина замечательны. Еду сейчас в Вену, вечером буду там, — там день, затем в Дрезден — тоже день, и домой!» [4]

Семнадцатого ноября 1900 года Бунин сообщал брату: «Сегодня, 17 ноября, возвратился в Петербург... Выеду отсюда или послезавтра, то есть в воскресенье, или в понедельник 20-го, то есть 21-го буду в Москве» [5].

В середине декабря Бунин был в Огневке, немного хворал [6].

После 20 декабря — опять в Москве. 21-го он заходил к О. Л. Книппер-Чеховой.

Ольга Леонардовна писала об этом посещении 23 декабря 1900 года М. П. Чеховой: «Был у меня Бунин, узнал из газет, что я больна, пришел. Сердится и негодует на тебя, что ты его не известила, ему так хотелось ехать с тобой (в Ялту. — *А. Б.)*. Какой-то он растрепанный, глаза болезненные, не знает, куда себя деть. Говорит, что поедет или в Ялту, или в Ниццу. Я его сильно уговаривала ехать в Ялту» [7].

По-видимому, именно в этот свой приезд в Москву Бунин в последний раз встретился с Толстым. В декабре 1902 года он говорил К. И. Чуковскому, бывшему в то время корреспондентом газеты «Одесские новости»: «Как-то в прошлом году прохожу я по Арбату, смотрю — в темноте Толстой.— Здравствуйте,

---

* В письмах, написанных из-за границы, Бунин пользовался и старым и новым стилем одновременно. В остальное время — только старым стилем, что и сохраняется по всей книге.

Иван Алексеевич. Почему вас не видать? — Я растерялся как школьник. Просто не знаю, куда шапку свою девать» [1].

Однако зимой 1901/02 года, как следует из этих слов Бунина, встреча произойти не могла. Толстой жил в Крыму и в Москву не приезжал. Позднее декабря 1900 года она также не могла произойти, так как Бунин 28 декабря был уже в Ялте и пробыл там январь и почти весь февраль, а в своих воспоминаниях он свидетельствует, что встретились они зимой, «в страшно морозный вечер» [2].

Позже Бунин так рассказал об этой встрече:

Лев Николаевич спросил, пишет ли он что-нибудь. Бунин ответил:

«— Нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде писал, кажется теперь таким, что лучше и не вспоминать.

Он оживился:

— Ах, да, да, прекрасно знаю это!

— Да и нечего писать, — прибавил я.

Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то.

— Как же так нечего? — спросил он. — Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да, да, попробуйте сделать так,— сказал он твердо.

Так видел я его последний раз» [3].

Двадцать восьмого декабря Мария Павловна сообщила из Ялты А. П. Чехову: «Бунин приехал и остановился у нас внизу» [4].

Бунин вспоминал об этих днях:

«...Мария Павловна пригласила меня жить у них «до возвращения Антоши». Я согласился, некоторое время мы жили втроем, а потом я остался вдвоем с Евгенией Яковлевной (матерью А. П. Чехова. — *А. Б.*).

Теперь я из письма Чехова к матери узнал, что Антон Павлович был доволен, что я гощу у них.

Жить в Аутской даче мне было приятно. Пробовал писать, делал заметки о нашем с Куровским путешествии. Много читал. Подолгу вел разговоры с матерью Чехова...

Ездили мы с Марьей Павловной на водопад Учан-су, в Гурзуф» [5].

А. И. Куприн писал Бунину: «...я вижу, что в доме Чеховых тебя все очень любят»[1].

В семье Чехова Бунин стал, по его выражению, «своим человеком». С Марией Павловной он был «в отношениях почти братских»[2].

В эти дни Бунин писал из Ялты:

Ю. А. Бунину (5 января 1901 г.): *«Христа ради, немедленно вышли* (десять рублей.— *А. Б.*). У меня *две копейки,* и не на что даже письма никуда послать... Начал писать много. *Тут дивно,* но я просто в отчаянии»[3].

И. А. Белоусову (12 января): «Одиноко, но дивно. Если бы ты знал, какие дни и какой вид у меня из окон! Пишу стихи и рассказы, читаю»[4].

Н. Д. Телешову (24 января): «Дорогой и милый друг! Прости, что не пишу, много работаю, да и много дней проходит в странном состоянии каком-то. Боже мой, ты не можешь себе представить, что за дни стоят! По 25 градусов тепла на солнце. Сейчас я на балконе гостиницы «Россия» — в одном пиджаке, и то жарко. Море, небо полно невыразимой радости, а я один, дьявольски один, то есть не в смысле знакомых, конечно... пропадает моя молодость ни за что! — Я все еще у Чехова»[5].

Бунин, проведя с Чеховым, приехавшим из Италии, «неделю изумительно»[6], отправился в Одессу 22 февраля.

В Одессе остановился у Куровского.

Примерно с 1 по 15 апреля Бунин снова жил в Ялте — приехал вместе с Куприным по приглашению Чехова.

Двадцать четвертого апреля он писал брату: «Еду в Огневку, настроение дьявольски скверное. Ведь я был опять в Одессе и тоскую об Ане страшно. Видел ее два раза на улице. А сынка, конечно, так и не видал, — проходя, видел его только издали, он был на балконе третьего этажа»[7].

Позднее Бунин рассказывал Г. Н. Кузнецовой, что виделся он с сыном «раз пять в году, причем «в это время весь дом затворялся у себя и дышал на меня злобой». Мальчик выбегал, бросался к нему на шею и звонко кричал: «Папа, покатай меня на трамвае!» Это казалось ему верхом счастья»[8].

В Огневке Бунин писал стихи, задумал написать статью о Жуковском, 8 мая он писал Ю. А. Бунину: «...Поклонись Николаю Федоровичу и спроси его, не возьмет ли он у меня осенью статью о Жуковском. Ты знаешь, как я его люблю» [1].

Двадцать восьмого мая 1901 года из Ефремова он пишет тому же адресату:

«Я как в тумане от работы и сиденья, хотя благодаря жаре, крику Жени (сын М. А. Буниной.— *А. Б.*) и пыли дело плохо идет и потому пишу тебе мертво. Положение дел таково: мать все время в Ефремове и глядеть на нее тяжело, так много она, бедная, трудится (прислуги сейчас нет) и не спит при этом ночи из-за Жени... Тружусь упорно... В Ефремове страшная нищета» [2].

Побывав в июне в Москве, Бунин с 18 июня — опять в Огневке, в начале августа он отправился в Одессу [3], поселился на даче Гернета — снял комнату у самого моря.

Второго сентября, по просьбе Чехова, Бунин уехал в Ялту [4], оттуда в сентябре — в Москву, в середине октября ездил из Москвы в Нижний Новгород. Горький сообщал К. П. Пятницкому (письмом между 13 и 17 октября 1901 г.), что у него «был Бунин Иван, был Андреев Леонид, Алексеевский Аркадий, и я два дня не видел себя... Иван Бунин предлагает издать его рассказы у «Знания»... Я — за издание Бунина «Знанием» [5].

Семнадцатого ноября в «Литературном кружке» Бунин прочел лекцию об искусстве швейцарского живописца и поэта Арнольда Бёклина, популярного в то время в России. О. Л. Книппер-Чехова писала Антону Павловичу 16 ноября: «В субботу Букишон читает о Бёклине в кружке. Маша пойдет, а я занята» [6].

Четырнадцатого декабря 1901 года Бунин присутствовал в театре Корша на премьере «Детей Ванюшина» С. А. Найденова. 15-го, побывав у О. Л. Книппер-Чеховой, уехал в Васильевское к Софье Николаевне Пушешниковой, там провел рождественские праздники.

В январе 1902 года возвратился в Москву. С этого года началось его сотрудничество в «Знании» Горького, где Бунин опубликовал много своих произведений. В 1902—1909 годах в «Знании» вышли четыре тома его сочинений.

Не позднее 11 января Бунин поселился в Одессе, у Куровского.

В письме от 15 января 1902 года Чехов писал Бунину о его рассказе «Сосны», опубликованном в 1901 году в журнале «Мир божий»: «Писал ли я вам насчет «Сосен»? Во-первых, большое спасибо за присланный оттиск, во-вторых, «Сосны» — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона» [1].

В феврале в «Журнале для всех» появился отзыв А. И. Куприна о сборнике стихов «Листопад»: «Стих г. Бунина изящен и музыкален, фраза стройна, смысл ясен, а изысканно-тонкие эпитеты верны и художественны». По его словам, Бунин «с редкой художественной тонкостью умеет своеобразными, ему одному свойственными приемами передать свое настроение» [2].

В конце марта Бунин отправился вместе с Нилусом в Ялту, где часто бывал у Чехова. Чехов в это время очень волновался по поводу того, что не было утверждено избрание Горького в академики. Об этом пишет и В. Н. Муромцева-Бунина в своей книге [3].

Май Бунин прожил в Огневке, июнь — в Москве. В. Н. Муромцева-Бунина пишет:

«В Москве, Петербурге, Одессе, даже в Крыму Иван Алексеевич часто бывал в ресторанах, много пил, вкусно ел, проводил зачастую бессонные ночи. В деревне он преображался... Разложив вещи по своим местам в угловой, очень приятной комнате, он несколько дней, самое большое неделю, предавался чтению — журналов, книг, Библии, Корана. А затем, незаметно для себя, начинал писать. За все время пребывания в деревне, как бы долго он там ни оставался, он жил трезвой, правильной жизнью... Он сразу облекался в просторную одежду, никаких крахмальных воротничков, даже в праздники, не надевал. Почти никуда не ездил, кроме того, что катался по окрестностям. Знакомства ни с кем из помещиков не заводил» [4].

Двадцать седьмого июня Бунин сообщал Горькому, что едет в Одессу «покупаться». С октября по декабрь он снова жил в Москве. 5 ноября присутствовал в Художественном театре на первом представлении «Власти тьмы» [5].

Восемнадцатого декабря 1902 года присутствовал на премьере пьесы Горького «На дне» в Художественном театре и на ужине, устроенном по этому поводу в ресторане «Эрмитаж» [1].

В конце декабря Бунин уехал вместе с С. А. Найденовым в Одессу.

Чехов писал жене 1 января 1903 года: «Бунин и Найденов теперь герои в Одессе. Их там на руках носят» [2].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина рассказывает:

«Бунин и Бабурин», как шутя прозвал Чехов Ивана Алексеевича и Найденова... время проводили по-одесски: ездили к Федоровым в «Отраду», самую близкую дачную местность, где Федоровы на зиму снимали... большой дом в саду, который на зимние месяцы сдавался дешево... Комнаты высокие, просторные, что давало Федоровым возможность приглашать к себе на обеды приезжих писателей и художников. Такие обеды проходили оживленно и весело. Чествовали приезжих в Артистическом кружке сотрудники местных газет совместно с любителями литературы: «Дети Ванюшина» уже гремели по всей России. Веселились они у Доди на «Четвергах», а свободные вечера просиживали в пивной Брунса за кружкой пива с сосисками — хозяин был австриец. Туда же к 11 часам приходили художники, и все сидели до полуночи» [3].

Корней Иванович Чуковский в эти дни поместил в «Одесских новостях» [4] статью о Бунине, в которой писал, что стихи его выражают «здоровье духа» в нынешние «путаные» времена.

Девятого апреля Бунин отправился в Турцию. «Он в первый раз целиком прочел Коран, который очаровал его, и ему хотелось непременно побывать в городе, завоеванном магометанами, полном исторических воспоминаний, сыгравшем такую роль в православной России, особенно в Московском царстве» [5].

Двенадцатого вечером Бунин писал брату Юлию из Константинополя:

«Выехал из Одессы 9 апреля, в 4 ч. дня, на пароходе «Нахимов», идущем Македонским рейсом, то есть через Афон. В Одессу мы приехали с Федоровым 9-го же утром... на пароход меня никто не провожал. Приехал я

туда за два часа до отхода и не нашел никого из пассажиров первого класса. Сидел долго один, и было на душе не то, что скучно, но тихо, одиноко. Волнения никакого не ощущал, но что-то все-таки было новое... в первый раз куда-то плыву в неизвестные края... Часа в три приехал ксендз в сопровождении какого-то полячка, лет пятидесяти, кругленького буржуа-полячка, суетливого, чуть гоноровитого и т. д. Затем приехал большой плотный грек лет тридцати, красивый, европейски одетый, наконец, уже перед самым отходом, жена русского консула в Витолии (близ Салоник), худая, угловатая, лет тридцати пяти, корчащая из себя даму высшего света. Я с ней тотчас же завел разговор и не заметил, как вышли в море. «Нахимов» — старый, низкий пароход, но зыби не было, и шли мы сперва очень мирно, верст по восемь в час. Капитан, огромный, добродушный зверь, кажется, албанец, откровенно сказал, что мы так и будем идти все время, чтобы не жечь даром уголь: зато не будем ночевать возле Босфора, а будем идти все время, всю ночь. Поместились мы все, пассажиры, в верхних каютах, каждый в отдельной. За обедом завязался общий разговор, причем жена консула говорила с ксендзом то по-русски, то по-итальянски, то по-французски, и все время кривляясь а-ля высший свет невыносимо. И все шло хорошо... медленно терялись из виду берега Одессы, лило вечерний свет солнце на немного меланхолическое море... Потом стемнело, зажгли лампы... Я выходил на рубку, смотрел на еле видный закат, на вечернюю звезду, но недолго: наверху было ветрено и продувало прохладой сильно. Часов в десять ксендз ушел с полячком спать, грек тоже, а я до двенадцати беседовал с дамой — о литературе, о политике, о том, о сем... В двенадцать я лег спать, а утром солнечным, но свежим пошел на корму... поглядел на открытое море, на зеленоватые тяжелые волны, которые, раскатываясь все шире, уже порядочно покачивают пароход. Добрался до каюты. Затем заснул и проснулся в одиннадцать часов... Балансируя, пошел завтракать, съел кильку, выпил рюмку коньяку, съел паюсной икры немного — и снова поплелся в каюту; завтракали только капитан и полячок. Остальные лежали по каютам, и так продолжалось до самого входа в Босфор. Пустая кают-компания, утомительнейший скрип переборок, медлен-

ные раскачивания с дрожью и опусканиями — качка все время была боковая,— пустой полусон, пустынное море, скверная серая погода... Проснусь,— ежеминутно засыпал, спал в общем часов двадцать,— выберусь, продрогну, почувствую себя снова хуже — и опять в каюту, и опять сон, а временами отчаяние: как выдержать это еще почти сутки? Нет, думаю, в жизни никогда больше не поеду. К вечеру мне стало лучше, полное отсутствие аппетита, отвращение к табаку и тупая сонливость продолжалась все время. К тому же солнце село в тучи, качка усилилась — и чувство одиночества, пустынности и отдаленности от всех близких еще более возросло. Заснул часов в семь, снова выпил коньяку,— за обедом я съел только крохотный кусок барашка,— изредка просыпался, кутался в пальто и плед, ибо в окна сильно дуло холодом, и снова засыпал... В два часа встал и оделся, падая в разные стороны: в четыре часа, по словам капитана, мы должны были войти в Босфор. Выбрался из кают-компании к борту — ночь и качка — и только. Сонный лакей говорит, что до Босфора еще часа четыре ходу. Каково! В отчаянии опять в каюту и опять спать. Вышел часа в четыре — холодный рассвет, но ни признака земли, только вдали раскиданы рыбачьи фелюги под парусами... кругом серое холодное море, волны, а внизу — скрип, качка и холод... Снова заснул... Открыл глаза — взглянул в окно — и вздрогнул от радости: налево, очень близко гористые берега. Качка стала стихать. Выпил чаю с коньяком — и в рубку. Сюда скоро пришли и остальные, за исключением дамы; солнце стало пригревать, и мы медленно стали входить в Босфор...

13 апреля (воскресенье) 1903 г.

Вход в Босфор показался мне диковатым, но красивым. Гористые пустынные берега, зеленоватые, сухого тона, довольно резких очертаний. Во всем что-то новое глазу. Кое-где почти у воды, маленькие крепости, с минаретами. Затем пошли селения, дачи. Когда пароход, следуя изгибам пролива, раза два повернул, было похоже на то, что мы плывем по озерам. Похоже на Швейцарию... Подробно все расскажу при свидании, а пока буду краток. Босфор поразил меня красотой, Константинополь. Часов в десять мы стали на якорь, и я отпра-

вился с монахом и греком Герасимом в Андреевское Подворье. В таможне два турка долго вертели в руках мои книги, не хотели пропустить. Дал 20 к.— пропустили. В Подворье занял большую комнату. Полежав, отправился на Галатскую башню» [1].

Проводник Герасим «очень хорошо показал ему Константинополь,— пишет Вера Николаевна,— когда через четыре года я попала туда вместе с Иваном Алексеевичем, то была поражена его знанием этого сказочного города.

Кроме обычных мест, посещаемых туристами, Герасим водил его в частные дома, к гречанкам необыкновенной толщины, похожим на родственниц Цакни, любезно угощавшим его вареньем со студеной водой, где-нибудь на Золотом Роге.

Византия мало тронула в те дни Бунина, он не почувствовал ее, зато Ислам вошел глубоко в его душу...

Я считаю, что пребывание в Константинополе в течение месяца было одним из самых важных, благотворных и поэтических событий в его духовной жизни.

После женитьбы, после разрыва с женой, после беспорядочной жизни в столицах, Одессе и даже Ялте, он, наконец, обрел душевный покой, мог, не отвлекаясь повседневными заботами, развлечениями, встречами, даже творческой работой, подумать о себе. Отдать себе отчет в том, как ему следует жить.

Он взял с собой книгу персидского поэта Саади «Тезкират», он всегда, когда отправлялся на Восток, возил ее с собой. Он высоко ценил этого поэта, мудреца и путешественника, «усладительного из писателей»...

Бунину было в эту весну 32 года...» [2]

Путешествие длилось немногим более двух недель. Оно дало материал для очерка «Тень птицы».

Бунин много путешествовал по Востоку. Он писал впоследствии: «Я тринадцать раз был в Константинополе...» [3]

О поездке в Константинополь Бунин писал Найденову 3 июня 1903 года:

«Я чрезвычайно доволен, что попал туда, жалею только, что пробыл там очень мало времени, и даю себе слово непременно побывать в Турции еще раз. Что же касается деревни, то я смотрю на нее не как на место удовольствия, а как на «келью творчества».

Впрочем, я из этой кельи уже удирал раз: был, как вы знаете, в Москве и в Нижнем Новгороде.

В Звенигород к вам непременно приеду. Случится это, по моим расчетам, числа 20-го июня»[1].

Лето Бунин прожил в Огневке у Евгения и у Пушешниковых в Глотове, в сентябре отправился в Москву (жил в меблированных комнатах в доме Гунста — Хрущевский пер., д. 5).

Он не пропускал собраний «Среды», был желанным гостем на вечерах у Телешова и не менее желанным у Чеховых.

Двадцатого сентября в Петербурге он присутствовал на двадцатипятилетнем юбилее литературной деятельности Короленко. Были на юбилее также Куприн, Горький, Н. К. Михайловский.

Впоследствии Бунин рассказывал о своих встречах с Короленко корреспонденту газеты «Южная мысль»:

«Жил он в Петербурге возле греческой церкви в деревянном 2-х этажном доме с мезонином, доме глубоко провинциальном (к провинциальному В. Г., кажется, вообще питает большую склонность).

В длинные петербургские вечера я и забирался к В. Г., с которым мы долго и много беседовали на литературные темы.

Однажды, помню, мы целый вечер говорили о Толстом.

В. Г. говорил о Толстом с благоговением.

Слушая его, я упивался и тонким анализом учения Толстого, и образностью речи В. Г.

Помню, в этот вечер Короленко подарил мне свою книгу, на которой сделал надпись: «Вечер. Пески. Долгие разговоры».

Затем с В. Г. я встречался в Москве.

Что я могу сказать о В. Г. Короленко?

Радуешься тому, что он живет и здравствует среди нас, как какой-то титан, которого не могут коснуться все те отрицательные явления, которыми так богаты наша нынешняя литература и жизнь»[2].

В октябре 1903 года Бунин приезжал в Нижний Новгород. 10—11 октября Горький сообщал оттуда: «На днях здесь будет Бунин, обещал привезти свой рассказ»[3] — для сборников «Знание».

Пятнадцатого октября в Нижнем Новгороде Бунин

выступал на литературно-музыкальном вечере с чтением своих произведений.

Пробыл он там примерно неделю, а затем вернулся в Москву.

Девятнадцатого октября Академия Наук присудила Бунину Пушкинскую премию за «Листопад» и «Гайавату» [1].

В Москве Бунин узнал от Ольги Леонардовны о новой пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад», рукопись которой она только что получила.

Двадцать третьего октября у О. Л. Книппер-Чеховой, где был и Найденов, «Бунин читал свой перевод «Манфреда», а я,— писала она Антону Павловичу,— подчитывала остальные роли...» [2].

Литератор и художник, режиссер Художественного театра Л. А. Сулержицкий писал Чехову 25 ноября 1903 года:

«Видел у Ольги Леонардовны Бунина. Сидел мрачный и ругал Россию «Азией». Он пришел с несостоявшегося собрания любителей русской словесности» [3].

В декабре 1903 года Бунин встретился с приехавшим в Москву Чеховым. Он вспоминал впоследствии:

«Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырех часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой... И эти бдения мне особенно дороги» [4].

Бунин старался развлечь Чехова, рассказывал о себе,— говорили и о брате Чехова Александре — образованном и, по словам Антона Павловича, необыкновенно талантливом человеке.

Чехов высоко ценил Бунина как писателя. Он писал А. В. Амфитеатрову 13 апреля 1904 года о рассказах Бунина «Сны» и «Золотое дно», напечатанных в сборниках «Знание» 1903 года под общим заглавием «Чернозем»: «...Есть места просто удивление» [5].

Перед своим отъездом за границу он говорил Н. Д. Телешову:

«А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте» [6].

Около двадцать четвертого декабря 1903 года Бунин отправился с Найденовым путешествовать по Франции и Италии [7].

Они побывали во Флоренции и Венеции, приезжали в Болье, где встретились с историком М. М. Ковалевским, 25 января (8 февраля) 1904 года были в Монте-Карло, встречались здесь с П. Д. Боборыкиным и доктором В. Г. Вальтером.

Прожив больше месяца за границей, Бунин и Найденов в начале февраля возвратились в Москву.

Одиннадцатого февраля Бунин впервые после возвращения присутствовал на «Среде» у Телешова, где были Горький, Андреев, Вересаев, Белоусов, М. П. Чехова, приехал на эту «Среду» и Чехов. 15 февраля Антон Павлович вернулся в Ялту. После этого больше встречаться им не пришлось.

Двадцать седьмого февраля Бунин вместе с Марией Павловной смотрел в Художественном театре «Вишневый сад», но постановка ему не понравилась.

Лето 1904 года Бунин прожил в деревне — сперва в Огневке, откуда уезжал на Кавказ, потом у Пушешниковых в Глотове.

В Огневке он прочитал в газетах о кончине Чехова, последовавшей в ночь на 2-е июля 1904 года в германском городе Баденвейлере.

«Смерть Чехова потрясла меня необыкновенно...» [1] — писал он А. М. Федорову. Чехов для Бунина был одним из наиболее замечательных русских писателей, человеком, жившим «небывало напряженной внутренней жизнью» [2].

25—26 июля Горький писал Бунину: «Очень прошу, напишите вы об Антоне Павловиче — право же, это необходимо, как противовес той пошлости, которой заслонили глаза и уши публики гг. газетчики и надмогильные языкоблудья» [3].

В августе Бунин начал работать над воспоминаниями о Чехове для «Сборника товарищества «Знание» за 1904 год», кн. 3 (СПб. 1905), посвященного Чехову.

В октябре Бунин закончил эту работу. В 1914 году дополнительно к этим воспоминаниям Бунин опубликовал в «Русском слове» заметки «О Чехове. Из записной книжки» [4]. В эмиграции, в последние годы жизни, он писал книгу о Чехове, в которой выразил свое преклонение перед его замечательным талантом. Приняться за книгу о Чехове убеждал его С. В. Рахманинов [5].

Для Бунина Чехов большой поэт, а не «хмурый» писатель и певец «сумеречных настроений»[1], как о нем нередко писали. Бунин с восхищением говорил, что «такого, как Чехов, писателя еще никогда не было! Поездка на Сахалин; книга о нем, работа во время голода и во время холеры, врачебная практика, постройка школ, устройство таганрогской библиотеки, заботы о постановке памятника Петру в родном городе — и все это в течение семи лет при развивающейся смертельной болезни! А его упрекали в беспринципности!»[2]

С сентября 1904 года Бунин жил в Москве, в гостинице «Лоскутной». Он часто заходил к Чеховым, которые всегда были ему рады. Заглядывал он и в Художественный театр, где тоже многое было связано с Чеховым и напоминало о нем.

В середине ноября Бунин отправился в Одессу — очень хотелось повидать сына,— из Одессы — в Глотово и после Нового года — в Огневку, навестить отца.

В январе 1905 года он получил письмо от родственницы А. Н. Цакни — Инны Ираклиди, о болезни сына Коли:

«Через полтора месяца после скарлатины Коля заболел корью. Как и скарлатина, корь была довольно легкая, но затем осложнилась воспалением сердца (эндокардит). Теперь его состояние тяжелое, о чем я считаю долгом вас известить. Его лечат доктора: Хмелевский, Крыжановский, Бурда и проф. Яновский. Все они находят Колино состояние не безнадежным, но две инфекционные болезни и затем такое осложнение не могут не быть угрожающими для четырехлетнего ребенка»[3].

Шестнадцатого января 1905 года сын Бунина скончался. Об этом сообщила Бунину в Васильевское Анна Николаевна в письме от 18 января[4].

В ответ на телеграфный запрос Бунина о сыне А. М. Федоров писал 22 января: «...Все, что можно было сделать для его спасения, было сделано — и доктора, и профессора, и все прочее. Тут несчастье, ужасное несчастье, в котором никто из близких не виноват. Это что-то роковое. Знаю, что тебе от этого не легче. Знаю, что ты должен страдать ужасно. Страдают и они. Говорят, Аня до такой степени потрясена, что на себя стала не похожа. Также и Элеонора Павловна и родные. Я боялся

идти туда, во-первых, потому, что страшно в такие минуты быть лишним, страшно оскорбить своим присутствием, словами людей, горе которых выше всего условного, сколько бы искренности и сочувствия не вносилось в это. Да и измучен я последними событиями ужасно. Как бы ни было велико твое горе, несомненно, и ты не можешь быть вне этой кровавой страды, которая захлестнула все сердца, любящие Россию и ненавидящие гнет и насилие»[1].

Речь идет о событиях 9 Января и последовавших за этим волнениях. Бунин уехал в Москву. В Москве вся левая часть интеллигенции была потрясена расстрелом мирной демонстрации. «Иван Алексеевич не мог усидеть в Москве, кинулся в Петербург,— писала В. Н. Муромцева-Бунина,— Юлий Алексеевич, зная натуру брата, настаивал в свою очередь, чтобы тот поехал и узнал все на месте из первых рук. В Петербурге... он повидался с друзьями: с Куприными, Елпатьевскими, Ростовцевыми, Котляревскими, заглянул во все редакции, с которыми был связан, в «Знание», отправился и на заседание «Вольно-экономического общества», где произносились смелые речи.

Северная столица отвлекла его, но рана не заживала, да и зажила ли она когда-нибудь? В последние месяцы его жизни, когда он почти не вставал с постели, у него на пледе всегда лежал последний портрет живого сына... В чем-то Иван Алексеевич был скрытен. Жаловался на Цакни, что у них «двери на петлях не держались» и скарлатину занес кто-нибудь из гостей»[2].

В марте Бунин возвратился из Петербурга в Москву. В начале апреля он уехал в Ялту: 7 или 8 апреля 1905 года Горький писал К. П. Пятницкому из Ялты: «Приехал сюда Бунин»[3].

Он бывал у Чеховых, встречался с Горьким. Писал Федорову 25 апреля 1905 года: «Вижусь с Горьким теперь каждый день, и проводим время очень приятно. Я за эти дни заразил его стихоманией, предварительно убив его «Сапсаном»[4].

В мае Бунин приехал в деревню — жил сперва в Глотове, а потом в Огневке.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина пишет:

«Всех он нашел в большой тревоге: мать на холодной заре вымылась в сенцах и схватила, по-видимому, воспа-

ление легких, температура высокая. Младший сын чуть с ума не сошел,— ведь со дня смерти маленькой сестры он был в вечном страхе за жизнь матери,— тут она жила в глуши, без хорошего врача, с ее астмой и ненадежным сердцем... Решили пригласить земского елецкого врача Виганда, замечательного диагноста и целителя...

Стояла рабочая пора. Евгений Алексеевич лошади не дал. Пришлось за дорогую цену Ивану Алексеевичу нанять лошадь в деревне у Якова, мужика скупого и хозяйственного. «Выехали ранним утром, когда особенно хорошо в погожие июльские дни бывает только в средней полосе России, в подстепье. Ехать нужно было двадцать пять верст. Яков все время соскакивал с облучка телеги и шел рядом. Я не знал, что делать, боялся не застать Виганда дома...» — вспоминал об этой поездке Иван Алексеевич незадолго до своей кончины...

К счастью, он застал доктора дома, и тот согласился приехать. К общей радости, Людмила Александровна, с помощью редкого врача и благодаря своему сильному организму, начала поправляться» [1].

Около восемнадцатого июня 1905 года А. М. Федоров сообщал Бунину подробности восстания на броненосце «Потемкин»:

«Милый Иван Алексеевич,

я должен написать тебе об этом событии хоть два слова. В настоящее время в Одессе стоит самый лучший броненосец «Потемкин», команда которого (800 чел.) возмутилась, частью убила, частью перевязала офицеров, завладела броненосцем и объявила себя свободными русскими гражданами. Маленькой искоркой, вызвавшей этот бунт, было убийство матроса старшим офицером за то, что матрос от лица всех товарищей пожаловался на то, что им дали борщ с гнилым мясом. Разумеется, это только продолжение прошлогоднего матросского бунта, который, кажется, охватил всю эскадру. По крайней мере, вот уже пять дней, как «Потемкин» свободно разгуливает возле берегов Одессы или стоит на рейде.

Освещенный заревом колоссального пожара, охватившего весь порт, он гордо стоял на рейде, освещая прожекторами эту невероятную феерию из крови, огня и залпов.

Над трупом матроса, положенном на мол с прокламацией на груди, говорились речи. Депутация из мат-

росов с «Потемкина» отправилась к воинскому начальнику, требуя похоронить его с соответствующим герою достоинством. Им разрешили, обещая неприкосновенность провожающих, но после похорон трое матросов были убиты казаками, а остальные арестованы. Тогда броненосец стал бомбардировать город, выпустил два снаряда, один из которых разбил крышу дома на Нежинской ул. Угроза подействовала: арестованных отпустили обратно. Явившаяся из Севастополя эскадра оставила... (неразб. 1 сл. — *А. Б.*) «Георгия» (броненосец) и удалилась куда-то. Из того, что Севастополь и Николаев объявлены на военном положении, ясно, что эскадра остальная также не на стороне правительства. Все побережье занято казаками, растянувшимися цепью. Жители бегут из Одессы. Мои знакомые, бывшие на «Потемкине», говорят, что настроение там спокойно-выжидательное. 180 тысяч денег и много боевых припасов. Они могли бы спастись, отправившись на румынскую границу и высадившись там, но когда им сказали это, они заявили, что заварили всю эту кашу вовсе не для того, что они не убийцы и не воры, а революционеры и только желают и действуют во имя свободы России. Говорят, что теперь у них там комитет из социал-демократов, прибывших с берега. Угрозами блокировать Черноморское побережье они надеются добиться осуществления своих требований и, таким образом, амнистии от народного представительства.

Слухи, один другого невероятнее, сменяются каждый день, каждый час. Живем как в кошмаре. Что будет — неизвестно, а пока в городе ужасы и кровь, благодаря военному положению.

Вчера «Потемкин» прошел куда-то мимо нас с миноноской своей, оставив заместителем в Одессе «Георгия». Говорят, на прогулку, а по другим сведениям — к батумскому побережью, в качестве бронированной и грозной пропаганды» [1].

Эти сообщения не могли оставить Бунина равнодушным.

В июле 1905 года Бунин поехал в Финляндию к Горькому. Вернувшись в Огневку, он 17 июля писал Федорову:

«Был в Москве, в Финляндии. Горький вызывал меня на совещание о новом журнале типа Симплицис-

сиумуса. Выйдет ли это дело — не знаю, но совещание было любопытное. Было очень много художников, и между ними знаменитые финляндцы — Галлен, Эрнефельд, Саарен, а из русских — Серов, Билибин, Грабарь и т. д. Видел Елпатьевского, Скитальца, Андреева. Купришка удрал на Кавказ. Видел ли ты его и какое он произвел на тебя впечатление? Говорят — бодр, весел и задумал драму.

Я строчил стихи. А ты? Пожалуйста, пришли что-нибудь почитать»[1].

В эти годы Бунин активно участвовал во всех горьковских начинаниях. Он печатал многие свои произведения в сборниках «Знания», в дешевой библиотеке «Знания». В новом журнале Горького «Жупел», о котором и шла речь в письме к Федорову, Бунин напечатал стихотворение «Ормузд». В 1905—1906 годах вышло три номера этого журнала, после чего он был закрыт.

На сентябрь Бунин уехал из деревни в Москву, а оттуда — в Крым, по приглашению М. П. Чеховой, которая писала Бунину 12 августа: «...Приезжайте на осень в Ялту. Отдохнете хорошенько, не будете тормошиться, поживете спокойно и поправитесь здоровьем. Потом, хотя бы перед рождественскими праздниками и на праздники, если у вас будет охста, проедемтесь за границу, где потеплее, или уже оставим до весны»[2].

С конца сентября и до 18 октября 1905 года Бунин жил в ялтинском доме Чехова. 29 сентября он писал Н. А. Пушешникову из Ялты: «Пишу на балконе, утро, на солнце — жара невыносимая, светло, радостно. Вдали море — тихое, голубая воздушная бездна»[3].

Позже Бунин вспоминал: «В 1905 году, с конца сентября и до 18 октября, я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и «мамашей», Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно — и очень нелегко для меня: все вокруг,— и в саду, и в доме, и в его кабинете,— было как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставлять в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки,

душевной скрытности; часто, я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: «Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!» Да и мне самому было трудно покинуть этот уже ставший чуть ли не родным для меня дом,— а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него,— этот кабинет, где особенно *все* осталось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек, купленных им по пути с Сахалина, в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня,— я бы строки не мог написать среди них,— его узенькая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда что-нибудь читал, лежало «Воскресение» Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной» [1].

В доме Чехова по телефону Бунин услыхал от С. П. Бонье, что в России революция. На следующий день он записал в дневнике:

«Ксения» 18 октября 1905 года.

Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни все время стояли серенькие, осенние, жизнь наша с Марьей Павловной и мамашей (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех вчера перед вечером, вдруг зазвонил из кабинета Антона Павловича телефон, и, когда я вошел туда и взял трубку, Софья Павловна стала кричать мне в нее, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действуют телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец. Тотчас пошел в город — какие-то жуткие сумерки и везде волнения, кучки народа, быстрые и таинственные разговоры—все говорят почти то же самое, что Софья Павловна. Вчера стало известно, уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят... Не по-

лучили ни газет, ни писем, почта и телеграф закрыты. Меня охватил просто ужас застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань — слава богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.

Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет «Ксения». На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил «Крымский вестник», с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову» [1].

Одесса встретила Бунина беспорядками, разгулом реакции, еврейскими погромами. 19 сентября, в день приезда он записал в дневнике:

«В тесноте, в толпе, в ожидании сходен узнаю от носильщиков... что на Дальницкой убили несколько человек евреев, — убили будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придал особого значения этому слуху, может и ложному...

Приехал в Петербургскую гостиницу, увидал во дворе солдат... Поспешно напился кофию и вышел... Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию «Южного обозрения». Тесное помещение редакции набито евреями с грустными серьезными лицами... С Нилусом пошел к Куровским. Куровский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг...

20 октября.

...Возле дома городского музея, где живет Куровский, — он хранитель этого музея, — в конце Софиевской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилилась так, что казалось, что в городе настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота...

21 октября.

Отвратительный номер «Ведомостей одесского градоначальства»...

22 октября.

...По Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, «ура», затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки — и проехали мимо, с улыбками»[1].

Числа 27 октября Бунин приехал в Москву. Он писал Н. А. Пушешникову 2 ноября 1905 года:

«Милый, родной, я вернулся с юга уже дней пять тому назад. Сперва жил в «Национальной». Сегодня переехал к Гунст, № 12. Очень был удивлен, что вы все удрали, но потом подумал, подумал... черт его знает, может быть, и лучше. Идет такая каша (и идет всюду), что совершенно нельзя ручаться ни за что. Вот и относительно деревни: сегодня получили письмо от Маши, что она с детьми и с мамой (точно ли с мамой — не разберешь) уехала в Ефремов — частью от нестерпимого холода, частью же от страха перед мужиками. Квартиру Маша вероятно, сняла, г... — сырую, холодную, и поэтому мне приходит в голову поехать в Ефремов — устроить их. Но поеду ли — еще неизвестно. Вероятнее всего, что нет. Опять ехать, опять вагоны... Не хочется.

Здесь в Москве тоже было жутко несколько ночей. Приходила мысль о Глотове. Но и в Глотово я сейчас не поеду. Если будете в деревне — приеду в начале декабря, числа 1-го...

В Одессе я видел дьявольские вещи. Расскажу после»[2].

В Москве, по словам Веры Николаевны, Бунин пережил «вооруженное восстание», как тогда называли декабрьские дни в Москве, когда Москва покрывалась баррикадами... когда грохотали пушки и стучали пулеметы, когда зарево озаряло Пресненский район...

Иван Алексеевич заходил иногда к Горькому, который... занимал квартиру на Воздвиженке. Квартира была забаррикадирована...

Иван Алексеевич купил тогда, — это делали почти все мужчины,— револьвер «на всякий случай»...[3].

Уехал он из Москвы 21 декабря — в Глотово.

Мария Павловна Чехова писала 14 января 1906 года:

«Милый Букишончик, я уже давно в Москве. Приехали в самый разгар революции — 9 декабря ночью, едва переехали Тверскую под выстрелами, потом были в засаде больше недели. Я не знала, что вы уехали 21 декабря, а то я все-таки дала бы вам знать.

Двадцать пятого сего месяца уезжаю в Берлин с Ольгой Леонардовной, позднее приедет вся труппа. Было бы весьма недурно, если бы вы приехали в Берлин, и оттуда мы поехали бы ненадолго в Италию, только в Италию. Правда, вы согласитесь? Я буду вас ждать. А то валяйте сейчас в Москву, сговоримся. Сколько мне вам нужно рассказать! Вы меня не узнаете теперь!..

И чего вы сидите в деревне? В Москве совершенно тихо.

Целую вас и жду ответа» [1].

В конце января 1906 года — не позднее 25-го, Бунин приехал в Москву, примерно на месяц. Был и в Петербурге. 7 апреля писал Марии Павловне — одновременно в Ялту и в Москву.

Письмо в Ялту: «Весна, вы, Париж — это все дьявольски заманчиво, но я почти до сентября буду беден — и посему с болью ставлю крест на поездке на теплые воды. Ограничусь пока Одессой, куда думаю направиться числа 20-го апреля. Если бы знал наверняка, что вы еще будете в этих числах в Ялте, — проехал бы, может быть, через Крым, — бог свидетель, с наслаждением поцеловал бы ваши ручки и наговорились бы до упаду...» [2]

Письмо в Москву: пишу, «чтобы сказать вам, что я очень вас люблю, очень был бы рад получить от вас, наконец, весточку, и очень сокрушаюсь, что, по причине бедности, не могу отправиться с вами войяжировать, а еду всего-навсего в Одессу...» [3].

С конца апреля и до 12 мая Бунин жил в Одессе, затем через Москву отправился в Глотово: уехать в Крым, как рассчитывал, невозможно было из-за забастовки. Об этом он говорит в письме к Марии Павловне от 13 мая 1906 года из Киева:

«Дорогой друг, я чуть не плачу от досады! Черт меня дернул остаться в Одессе до пятницы! Еду в пят-

ницу на пароход и узнаю, что сообщение с Крымом кончено — забастовали. А кто знает, когда кончится забастовка? Дождешься еще и железнодорожной забастовки! А старики в деревне умоляют приехать. И вот я на пути в Москву» [1].

Девятнадцатого мая он ей писал:

«Дорогой друг, так хотелось вас видеть, что чуть не уехал из Москвы в Крым. Но — время тревожное, пароходы не ходят, в Савастополе, по газетам судя, что-то затевается... И вот еду в деревню. Чудесная, чисто русская, прохладная, с соловьями, лягушками и свежестью ночь, стоим на станции Ока. Думаю побыть в деревне с месяц, а затем... вероятно, в Крым» [2].

Мария Павловна ответила 28 мая: «...Приезжайте скорее, не бойтесь революции, все равно от нее никуда не уйдешь» [3]. И действительно, отправившись в деревню, Бунин «не ушел» от революции. Он был свидетелем крестьянских волнений в Орловской и Тульской губерниях. Он сообщал М. П. Чеховой 7 июня 1906 года:

«...Был в именье сестры (Васильевском. — *А. Б.*), а потом случился у нас пожар — сожгли-таки! Пока дело ограничилось погоревшими лошадьми, свиньями, птицей, сараем, людскими избами и скотным двором, но, вероятно, запалят еще разок, ибо волнуются у нас мужики сильно и серьезно, в один голос говоря, что ни единому человеку из помещиков не дадут убрать ни клока хлеба. Приходится, значит, решать, как быть, куда удирать всей семье — с детьми и стариками... Говорят, например, что 10-го снимут от помещиков всех служащих — тогда поневоле удерешь скорым маршем...» [4]

То же было и в Огневке, у Е. А. Бунина. Ю. А. Бунин писал своей приятельнице Елизавете Евграфовне 14 июня 1906 года:

«Еще до моего приезда у брата произошел пожар. Сгорели две кухни, скотный двор, три лошади (самые лучшие и дорогие), свиньи, птица и проч. ...Крестьяне нашей деревни составили приговор и объявили его брату. В приговоре сказано, что отныне у брата никто не может жить в работниках, кроме крестьян нашей деревни, а потому все посторонние должны быть немедленно удалены, — иначе их снимут силой. Затем устанавливаются новые цены... (за работу. — *А. Б.*). Мать, Маша, да и все были крайне перепуганы, и

волей-неволей пришлось немедленно уезжать в Ефремов, чтобы снять там квартиру. Брат поехал сделать заявление исправнику и у него встретил целую массу помещиков с совершенно такими же заявлениями. Исправник сказал им, что положение создается очень затруднительное, так как войск мало... Здесь снимаем квартиру для всей семьи. Вещи, кроме самых необходимых, увезти не успели... В деревне осталась Настя (жена Е. А. Бунина. — *А. Б.)* и отец, но и их ждем сюда завтра-послезавтра; Ваня, мать, Маша и дети здесь. Евгений поехал к становому и пока еще не возвращался... Волнения, как в нашем, так и в соседних уездах, разрастаются» [1].

Об этом же И. А. Бунин 3 июля 1906 года сообщал М. П. Чеховой:

«...Было много хлопот и неприятностей: мужики еще наскандалили — и так, что пришлось перебираться в город, хлопотать о квартире, сидеть там — и все это среди неимоверной жары. Теперь я на время приехал к сестре, где пока еще тихо» [2].

В письмах к И. А. и Ю. А. Буниным (без дат) Мария Алексеевна тоже сообщает о пожаре в имении брата.

В одном из писем она говорит: «Ведь вы знаете, как мужики ненавидят Евгения». В другом письме она рассказывает: Евгений Алексеевич «должен судиться с мужиком, который перед праздником пробил ему голову камнем. Это его удружил свой работник; они поссорились с ним за полевую работу, ну тот и подкараулил Евгения». Рана, по ее словам, легкая. «Да если б не собаки, — продолжает она, — то, пожалуй, работник убил бы Евгения; они схватились в сенях (уж после того, когда работник пустил в голову камнем). Евгений схватил его и держит, а он в карман лезет за ножом, а собаки, целая стая, рвут его за ноги. Евгений говорит, кабы не они, он бы убил его» [3].

Евгений Алексеевич сдал все имение крестьянам в аренду, а потом продал его и усадьбу и переселился в Ефремов, где купил себе дом (Тургеневская ул., д. 47). Здесь прожил до конца своей жизни.

Мария Алексеевна с мужем и матерью переехала в город Грязи, Воронежской губернии. Юлий Алексеевич 16 августа вернулся в Москву. Иван Алексеевич в первых числах сентября отправился в Петербург, задержав-

шись по пути ненадолго в Москве. Ю. А. Бунин писал Елизавете Евграфовне 17 сентября 1906 года: «Ваня сейчас в Петербурге, где издается второй том его стихов» [1].

В октябре Иван Алексеевич возвратился в Москву, откуда снова уехал в Петербург; жил там, по словам В. Н. Муромцевой, «безобразно» — «проводил бессонные ночи, перекочевывал из гостей в рестораны» [2].

Приехав в Москву, остановился в номерах Гунст. Тогда он и встретился с Верой Николаевной Муромцевой, дочерью Николая Андреевича Муромцева, члена Московской городской управы, и племянницей Сергея Андреевича Муромцева, председателя Государственной Думы.

«Четвертого ноября 1906 года,— вспоминает Вера Николаевна, — я познакомилась по-настоящему с Иваном Алексеевичем Буниным в доме молодого писателя Бориса Константиновича Зайцева, с женой которого, Верой Алексеевной, я дружила уже лет одиннадцать, как и со всей ее семьей. У Зайцевых был литературный вечер с «настоящими писателями: Вересаевым и Буниным», как сказала мне Вера Алексеевна, приглашая меня» [3].

Бунину было тридцать шесть лет. Говорили, продолжает Вера Николаевна, что «до женитьбы Иван Алексеевич считался очень скромным человеком, а после разрыва с женой у него было много романов, но с кем — я не знала: имен не называли» [4].

Вера Николаевна родилась 1 октября 1881 года. Это была женщина умная, с самостоятельными взглядами на литературу, на жизнь. Она умела позаботиться о Бунине — человеке очень сложном, — создать ему условия для работы.

Вера Николаевна окончила естественный факультет Высших женских курсов в Москве, была широко образованным человеком: знала немецкий, французский, английский и итальянский языки; переводила на русский язык Флобера («Воспитание чувств», вышедшее до революции многими изданиями) и других французских писателей.

В письме к своему брату Дмитрию Николаевичу Муромцеву 22 января 1935 года Вера Николаевна говорит о Бунине (она называла его всегда Яном): «Для Яна нет

больше человека, чем я, и ни один человек меня ему никогда не заменит. Это он говорит всегда и мне, и нашим друзьям без меня. Кроме того, то нетленное в наших чувствах, что и есть самое важное, остается при нас. В моей же любви никто не сомневается... Ведь главная тяжесть у меня потому, что он приносит самому себе вред своим... характером и тем, что он не считается ни с кем. Пожалуй, больше всего он считается все-таки со мной. Умирая, его мать послала мне через Софью Николаевну (Пушешникову. — *А. Б.*) завещание и просьбу: «Никогда не покидать его». И он это знает и очень держится за это. Если бы я ушла, это, как он говорит, была бы катастрофа, тогда как разлука с другими «только неприятность»[1].

Георгий Викторович Адамович, много лет хорошо знавший Буниных во Франции, писал, что Иван Алексеевич нашел в Вере Николаевне «друга не только любящего, но и всем существом своим преданного, готового собой пожертвовать, во всем уступить, оставшись при этом живым человеком, не превратившись в безгласную тень. Теперь еще не время вспоминать в печати то, что Бунин о своей жене говорил. Могу все же засвидетельствовать, что за ее бесконечную верность он был ей бесконечно благодарен и ценил ее свыше всякой меры. Покойный Иван Алексеевич в повседневном общении не был человеком легким и сам это, конечно, сознавал. Но тем глубже он чувствовал все, чем жене своей обязан. Думаю, что, если бы в его присутствии кто-нибудь Веру Николаевну задел или обидел, он, при великой своей страстности, этого человека убил бы — не только как своего врага, но и как клеветника, как нравственного урода, неспособного отличить добро от зла, свет от тьмы... То, о чем я сейчас говорю, должно бы войти во все рассказы о жизни Бунина»[2].

Уже после смерти Бунина, в своих, оставшихся неоконченными, воспоминаниях «Беседы с памятью» Вера Николаевна подробно рассказала об их знакомстве и их любви. В ноябре, вспоминает она, «мы уж начали с Иваном Алексеевичем видаться ежедневно: то вместе завтракали, то ходили по выставкам, где удивляло меня, что он издали называл художника, бывали и на концертах, иногда я забегала к нему днем прямо из лаборатории, оставив реторту на несколько часов под вытяжным

шкафом. Ему нравилось, что мои пальцы обожжены кислотами»[1].

В декабре умер отец Бунина, и он очень тяжело переживал его смерть.

Через некоторое время Бунин уехал в Васильевское. С пути, из Ельца, он прислал Вере Николаевне письмо — «...Это был целый рассказ о купцах, пивших чай и закусывавших его навагой, которую они держали за хвост. Из Васильевского он писал часто, присылал только что написанные стихи: «Дядька», «Геймдаль», «Змея», «Тезей», «С обезьянкой», «Пугало», «Слепой», «Наследство»; прислал раз одну строку нот романса...

Из деревни Иван Алексеевич ездил на одни сутки в Воронеж. Его пригласили участвовать на вечере в пользу воронежского землячества. У него была близкая знакомая, дочь тамошнего городского головы Клочкова, и, вероятно, она и устроила, что Бунин согласился приехать в город, где он родился, и участвовать в вечере...

Этот вечер, вернее, вся его обстановка, дана в его рассказе «Натали».

В конце января, как это было условлено, он приехал в Москву...

В феврале Иван Алексеевич опять поехал в Петербург...

Я решила его называть Яном: во-первых, потому что ни одна женщина его так не называла, а во-вторых, он очень гордился, что его род происходит от литовца, приехавшего в Россию, ему это наименование нравилось.

Вернувшись из Петербурга, он рассказал, что при нем, когда он сидел в гостях у Куприна, который угощал его вином, Марья Карловна вернулась с Батюшковым с пьесы Андреева «Жизнь человека». Она похвалила пьесу, Александр Иванович схватил спичечную коробку и поджег ее платье из легкой материи. Слава богу, удалось затушить»[2].

Бунин сказал Вере Николаевне: «...Нужно заняться переводами, тогда будет приятно вместе жить и путешествовать,— у каждого свое дело, и нам не будет скучно, не будем мешать друг другу...»[3]

С конца 1906 года Бунин и Вера Николаевна встречались почти ежедневно. Так как брак с первой женой не был расторгнут, повенчаться они не могли (венчались они в 1922 году в Париже[4]).

Десятого апреля 1907 года [1] Бунин и Вера Николаевна выехали из Москвы — отправились за границу. Деньги на эту поездку — «семь тысяч золотых рублей», по свидетельству Л. Ф. Зурова — дал Бунину Н. Д. Телешов [2]. С этой поездки началась их совместная жизнь, скитальческая, с бесконечными переездами с места на место. Они прожили вместе сорок шесть с половиной лет. Скончалась Вера Николаевна 3 апреля 1961 года, на семь с половиной лет пережив Бунина.

В 1907 году вместе с Верой Николаевной Бунин совершил свое четвертое заграничное путешествие — во «святую» землю. Древние страны Востока — Египет, Сирию, Палестину, а не Италию или Испанию, как советовали Бунину одесские друзья,— выбрала для поездки и настояла на своем предложении Вера Николаевна.

Галина Николаевна Кузнецова пишет о своей беседе с Буниным в ноябре 1932 года: «Как странно, что, путешествуя, вы выбирали все места дикие, окраины мира, — сказала я.

— Да, вот дикие! Заметь, что меня влекли все Некрополи, кладбища мира! Это надо заметить и распутать!» [3]

Это путешествие дало материал для целого цикла рассказов и очерков о Востоке, позже объединенных в сборник «Тень птицы» (Париж, 1931).

Путь из Москвы лежал через Киев, — где осматривали древний Софийский собор, — и, конечно, через Одессу, откуда начинались и где заканчивались все их путешествия.

Двенадцатого апреля [4] приехали в Одессу, на вокзале их встретил Нилус. Виделись с Куровским, с друзьями на «четвергах», ездили к Федорову на дачу «Отрада». Глядя на море, Бунин говорил: «Боже, как хорошо! И никогда-то, никогда, даже в самые счастливые минуты, не можем мы, несчастные писаки, бескорыстно наслаждаться! Вечно нужно запоминать то или другое, чувствовать что надо извлечь из него какую-то пользу» [5].

На пароходе «Ян вынимает несколько книг, между ними Саади. Он рассказывает мне об этом «усладительнейшем из писателей и лучшем из последующих, шейхе Саади Ширазском». Жизнь его восхищает Яна» [6]. Готовясь к поездке, Бунин изучал Библию и Коран, читал

книги о «святой земле» проф. А. Олесницкого и Тышендорфа,— книгу Тышендорфа для него переводила Вера Николаевна, читал он также какую-то книгу о Востоке французского ученого Масперо.

Пятнадцатого апреля прибыли в Константинополь. Вера Николаевна вспоминает:

«Пошли турецкие сады с темными кипарисами, белые минареты, облезлые черепицы крыш... Ян называет мне дворцы, мимо которых мы проходим, сады, кладбища... Он знает Константинополь не хуже Москвы» [1].

Остановились на Афонском подворье.

«Мы долго бродим вокруг мечетей по темным уличкам, мимо деревянных домов с выступами и решетчатыми окнами... Потом попадаем на ухабистую площадь с тремя памятниками: это знаменитый Византийский ипподром. Белеет сквозь сумрак султанская мечеть Ахмедиэ со своими минаретами. Вокруг ветхость и запустение, что необыкновенно идет к Стамбулу» [2]. В Константинополе пробыли два дня.

Затем отправились Мраморным морем к берегам Греции. 17 апреля 1907 года Вера Николаевна писала Д. Н. Муромцеву в Москву:

«Дорогой Митя, через полчаса снимаемся. Идем в Афины. Ты не можешь себе представить, как хорош Константинополь» [3].

Бунин сообщал своему племяннику Д. А. Пушешникову: «17 апреля, 9 часов вечера. Сейчас прошли Дарданеллы. Уже темно, видели только разноцветные огни на берегах. Весь день прохладно, приятно и штиль. Пока путешествие дивное» [4].

Бунин, вспоминает Вера Николаевна, «говорил об «алтарях» солнца, то, что он потом развил в своей книге «Храм Солнца», высказывал пожелание уехать на несколько лет из России, совершить кругосветное путешествие, побывать в Африке, южной Америке, на островах Таити...

— Я на все махнул бы рукой и уехал, если бы не мать. Ведь у нее — одна радость — мы, дети. Она всю жизнь отдавала нам, я такой самоотверженной женщины никогда не встречал. И вечно всех она жалеет, всех оплакивает» [5].

Восемнадцатого апреля Бунин и Вера Николаевна были в Афинах. Пароход остановился в Пирее, а оттуда

поехали в Афины поездом. Осмотрели Акрополь, развалины Парфенона, и тем же пароходом отправились дальше, к берегам Африки.

Двадцатого апреля 1907 года остановились в Александрии. В этот день Бунин писал из Александрии М. П. Чеховой: «Кланяюсь вам, дорогой друг, из Африки!» [1]

На третий день после того, как высадились в Александрии, они снова были в пути, направлялись через Порт-Саид в Яффу — в Иудею.

Двадцать второго апреля они сошли с парохода в Яффе.

Из Яффы поездом прибыли в Иерусалим, откуда наведались в Хеврон и небольшой городишко Вифлеем.

Вера Николаевна пишет: Бунин «вынул записную книжечку и что-то записал в ней.

— Ты много записываешь? — спросила я.

— Нет, очень мало. В ранней молодости пробовал, старался, по совету Гоголя, все запомнить, записать, но ничего не выходило. У меня аппарат быстрый, что запомню, то крепко, а если сразу не войдет в меня, то, значит, душа моя этого не принимает и не примет, что бы я ни делал» [2].

Из Иерусалима через Яффу, морем, отправились на север: в Ливан и Сирию, в города Бейрут, Баальбек, Дамаск.

Четвертого мая Бунин сообщал Телешову:

«Дорогой друг, совершаем отличное путешествие. Были в Царьграде, в Афинах, Александрии, Яффе, Иерусалиме, Иерихоне, Хевроне, у Мертвого моря! Теперь пишу тебе из Сирии,— из Бейрута. Завтра — в Дамаск, потом в Назарет, Тивериаду, Порт-Саид, Каир и, посмотревши пирамиды,— домой, снова через Афины» [3].

5/18 мая он писал М. П. Чеховой из Баальбека: «Поклон из Сирии, с пути в Дамаск, из Баальбека, от руин Храма Солнца!» [4]

Бунин писал (по-видимому, Н. А. Пушешникову) 6/19 мая:

«Мы в Сирии, в Баальбеке, где находятся «циклопически грандиозные руины Храма Солнца» — древнеримского. Были, как ты уже знаешь, в Иерусалиме, Хевроне, Иерихоне, у Мертвого моря, в Бейруте, и из Бейру-

та едем по железной дороге в Дамаск. По пути свернули в Баальбек. Впечатления от дороги среди гор Ливана и Анти-Ливана, а также в Баальбеке не поддаются, как говорится, никакому описанию. Из Дамаска поедем в Тивериаду «на места юности Христа», откуда — в Кайфу возле Яффы, а из Кайфы в Египет, к пирамидам. От пирамид через Афины — домой» [1].

Бунин прочел Вере Николаевне стихи, «которые он написал по дороге из Дамаска о Баальбеке, и сонет «Гермон», написанный уже здесь (в Табхе.— *А. Б.*). Я,— пишет она,— выразила радость, что он пишет, что он так хорошо передает эту страну, но он торопливо перебил меня:

— Это написано случайно, а вообще еще неизвестно, буду ли я писать...

И перевел разговор на другое. Я тогда не обратила на это его замечание никакого внимания, но оно оказалось очень характерным для него» [2].

Двое суток Бунин и Вера Николаевна провели на Тивериадском озере и через порт Кайфа пустились в обратный путь — в Египет, чтобы посмотреть Каир. Нил, пирамиды.

В Каире, в зоопарке, «довольно долго стоим,— пишет Вера Николаевна,— около террариума с маленькими очень ядовитыми африканскими змейками. Лицо Яна искажается, — у него мистический ужас перед змеями, но его всегда к ним тянет, и он долго не может оторваться от них, следя с какой-то мукой в глазах за их извилистыми движениями».

На обратном пути, в море, Бунин говорил: «...Всякое путешествие очень меняет человека».

О паломниках, плывших тем же пароходом: «А как они равнодушны к морю... Я многих расспрашивал, говорят все одно и то же: когда плыли туда, дюже качало, намучились, а теперь хорошо, как на реке».

Потом говорил:

«Как нужно все видеть самому, чтобы правильно все представить себе, а уж если читать, то никак не поэтов, которые все искажают. Редко кто умеет передать душу страны, дать правильное представление о ней. Вот за что я люблю и ценю, например, Лоти. Он это умеет и всегда все делает по-своему. Я удивлен, как он верно передал, например, пустыню, Иерусалим» [3].

Бунин в пути «то читал Саади и все восхищался им, то спускался к паломникам, с некоторыми он подружился. И я иногда слышала, — пишет Вера Николаевна, — какой взрыв смеха вызывали его шутки...»

«Когда мы опять были в Галате, Ян неожиданно сказал:

— А мое дело пропало, — писать я больше, верно, не буду...

Я посмотрела на него с удивлением.

— Ну да, — продолжал он, — поэт не должен быть счастливым, должен жить один, и чем лучше ему, тем хуже для писания. Чем лучше ты будешь, тем хуже...

— Я, в таком случае, постараюсь быть как можно хуже, — сказала я, смеясь, а у самой сердце сжалось от боли».

Двадцатого мая 1907 года Бунин и Вера Николаевна сошли в Одессе с парохода, закончилось, как она сама сказала, их «сказочное путешествие». В те «благословенные дни,— писал много лет спустя Бунин,— когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому бог сулил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю...» [1].

Среди одесских друзей два дня прошли незаметно. Взаимные расспросы, обильные обеды из любимых Буниным восточных блюд, «оживление, веселость, дружеские споры, подшучивание друг над другом» — все это сразу перенесло в иной мир и сделало конец путешествия особенно приятным и радостным.

Бунин и Вера Николаевна возвратились через Киев — где осматривали Владимирский собор [2] — 26 мая в Москву. В этот же день Бунин уехал в Грязи, чтобы повидаться с больной матерью, жившей у Ласкаржевских.

Проведав мать, он отправился в Васильевское, где они с Верой Николаевной собирались провести лето, ведь после смерти отца Огневка была продана.

Тридцать первого мая Вера Николаевна сообщила Бунину, что в Васильевском будет 6 июня. 6-го Бунин извещал Телешова: «Я уже давно в деревне — выехал сюда тотчас же по приезде в Москву, а Вера Николаевна приезжает ко мне только сегодня» [3].

Это было первое ее знакомство с Васильевским и с родными Бунина. Встречать жену на станцию Измалково Бунин приехал на тройке вместе со своим племянником Н. А. Пушешниковым.

В своих воспоминаниях «Первые впечатления от Васильевского», «Будни в Васильевском» и «Глотово» [1] Вера Николаевна Муромцева-Бунина рассказывает о Глотове и о жизни Бунина у Пушешниковых.

«Глотово, — пишет Вера Николаевна, — деревня довольно зажиточная, с кирпичными избами под железными крышами» [2]. В селе были три помещичьи усадьбы, «две лавки, церковь, школа, винокуренный завод» [3]. Ежегодно происходили ярмарки.

«...Дом Глотовых, потонувший в густом старом саду за каменной оградой. Спускаемся к узкой речонке, Семеньку; налево за мостом богатая усадьба Бахтеяровых с безвкусным домом в саду, спускающимся по горе, и с безобразным зданием винокуренного завода у реки, а направо, на пригорке, за темными елями, серый одноэтажный дом, смотрящий восьмью окнами» [4],— Пушешниковых.

«...Фруктовый сад, находившийся в двух шагах от дома, прорезывался липовой аллеей, которая вела в поле, к заброшенному погосту с каменными плитами, на которых уже почти все буквы стерлись. Кроме того, были в саду запущенные дорожки с прогнившими скамейками, окруженные кустами акации и шиповника, была заброшенная аллея, ведущая к клену, видневшемуся из комнаты Яна» [5].

Комната Бунина — «угловая, с огромными старинными темными образами в серебряных ризах, очень светлая и от белых обоев, и от того, что третье окно выходит на юг, на фруктовый сад, над которым вдали возвышается раскидистый клен. Мебель простая, но удобная: очень широкая деревянная кровать, большой письменный стол, покрытый толстыми белыми листами промокательной бумаги, на котором, кроме пузатой лампы с белым колпаком, большого пузыря с чернилами, нескольких ручек с перьями и карандашей разной толщины, ничего не было; над столом полка с книгами, в простенке между окнами шифоньерка красного дерева, набитая книгами, у южного окна удобный диван, обитый репсом, цвета бордо.

Другая одностворчатая дверь вела в полутемную комнату, в которой стоял кованый сундук Яна, тоже с книгами, и умывальник» [1].

«Одной из наших частых прогулок, — вспоминает Вера Николаевна, — была прогулка к так называемым Крестам, то есть к перекрестку дорог по направлению к синеющему вдали лесу, мимо ветряной мельницы, где жил очень странный лохматый мельник со своей любовницей, некогда богатый, а теперь все садневший и беднèвший, все ниже и ниже падавший человек, отчасти послуживший прототипом к Шаше («Я все молчу»). Но, пожалуй, самой любимой прогулкой была прогулка в Колонтаевку, в очень запущенное имение Бахтеяровых, некогда принадлежавшее Буниным, с чудесными березовыми и еловыми аллеями, с заросшими дорожками, с усеянными желтыми иголочками скатами («Желтыми иголками устлан косогор...» — есть стихи Ивана Алексеевича, так начинающиеся...)» [2].

Церковь «стояла в двух шагах от нашего дома, рядом с нашим фруктовым садом. Перед ней был большой выгон, а вокруг нее шла каменная ограда. В ограде находились могилы помещиков, сзади церкви — часовня, где образа писались с покойных Глотовых» [3].

«В церковной ограде стояли два ряда нищих, кончалась обедня, и они все приняли надлежащие позы в ожидании подаяний. Такого количества уродов, калек мы не видели и на Востоке! Описывать их я не стану. Они даны в рассказе у Ивана Алексеевича «Я все молчу»... Ян, пока слепые пели, внимательно всматривался в каждого...». Одного из калек Бунин заставил «рассказывать свою биографию, иногда шутил с бабами, девками, давал пятаки мальчишкам, чтобы они погарцевали на деревянных конях» [4].

На ярмарке «уже много пьяных, мне показывают высокого солдата в щегольских блестящих сапогах, ежегодно в этот день бьющего смертным боем лохматого мельника, который отбил у него жену. Солдат уже выпивши, хорохорится, готовясь к драке» [5].

Вера Николаевна познакомилась в этот свой приезд в Васильевское с семьей Буниных, бывшей, по случаю праздника, в сборе. «Ян не бросал писать, несмотря ни на что»,— писала она [6]. Ездили они и в Ефремово — к матери Ивана Алексеевича. «Семья Буниных, — пишет

она, — очень ярка, самодовлеюща, с резко выраженными чертами характеров, страстей и дарований»; хотя они иногда и ссорились, но «были сильно привязаны друг к другу, легко прощая недостатки каждого» [1].

В Глотове Бунин упорно работал. В это время он писал рассказ «Белая лошадь» (первоначально озаглавленный «Астма») и стихи. Он сообщал Телешову 18 июня 1907 года:

«Что до меня, то я провожу дни с утра до ночи за письменным столом, несмотря на гнетущую тоску и тревогу за мать, которая все слаба. Вера тоже все время за работой: готовится к государственному экзамену в сентябре.

Погода ужасная, — залили дожди, — газеты еще хуже дождей» [2].

В июне в журнале «Золотое руно» появилась рецензия А. А. Блока на недавно вышедший том «Стихотворений 1903—1906 годов» И. А. Бунина. Блок писал:

«...Поэзия Бунина возмужала и окрепла... Цельность и простота стихов и мировоззрения Бунина настолько ценны и единственны в своем роде, что мы должны с его первой книги и первого стихотворения «Листопад» признать его право на одно из главных мест среди современной русской поэзии» [3].

В июле и в августе он так же много работал. В письме Белоусову от 25 июля 1907 года Бунин говорит: «Вера готовится к выпускным экзаменам, я строчу стихи и прозу. Да погода мешает — ужасное лето, холод собачий, дожди чуть не каждый день.— Когда ты в Москву? Я буду в конце августа, в начале сентября» [4].

Вера Николаевна пишет, что Иван Алексеевич после ее прибытия «все только читал (он всегда перед писанием много читал). Я внутренно очень волновалась: будет ли он писать? Особенно стихи? Его сомнения и опасения не на шутку тревожили меня» [5].

Он написал — и читал Вере Николаевне — стихотворение «Роза», переименованное позднее в «Воскресение». «После этого, — пишет она, — он довольно долго писал стихи. А затем на прогулках читал их, иногда вызывая длинные разговоры, иногда споры» [6]. По ее словам, «Ян был весел, много и споро работал» [7].

Часто говорили о Толстом и Флобере, «Ян указывал на уменье Льва Николаевича даже о переписи писать

интересно и самую мелкую черту превращать в незабываемый образ»[1].

Вера Николаевна 24 августа уехала на экзамены, Бунин пока оставался и рассчитывал проездом в Петербург быть в Москве между первым и десятым сентября.

В начале сентября 1907 года Бунин приехал в Москву»[2]. Затем он ездил в Петербург — хлопотать об издании четвертого тома своих сочинений (стихи и перевод «Каина» Байрона).

«Недели три, — пишет Вера Николаевна, — мы тихо прожили... В середине сентября он отправился в Петербург[3], надо было распродать написанное летом. Нужно было повидаться с Пятницким в «Знании». Вернувшись, с огорчением рассказал, что Пятницкий все еще за границей, ждут его к 30 сентября. Чаще всего Ян проводил вечера у Марьи Карловны Куприной, с которой с давних пор дружил и чье общество ценил, восхищаясь ее умом и остроумием.

Побывал он в издательстве «Шиповник», издателями которого были Копельман и Гржебин. Они решили выпускать альманахи под редакцией Б. К. Зайцева. Для первого альманаха «Шиповник» приобрел у Бунина «Астму»...

В Москве появился некий Блюменберг, основавший издательство «Земля» и пожелавший выпускать сборники под тем же названием. Он предложил Ивану Алексеевичу стать редактором этих сборников. Шли переговоры за долгими завтраками. Ян был оживлен, но не сразу дал согласие. Сошлись на том, что редактор будет получать 3000 рублей в год, условия хорошие. Ян принялся за дело с большим рвением.

Тридцатого сентября Ян снова поехал в Петербург, но Пятницкий еще не вернулся — застрял на Капри...

Ян то и дело отлучался в Петербург, ему необходимо было повидаться с Пятницким, узнать, как идут дела «Знания». «Шиповник» переманивал его к себе, как переманил Андреева и некоторых других писателей. Но Ян уклонялся от окончательного ответа, хотя условия «Шиповник» предлагал заманчивые»[4].

Сборники «Земля» являлись изданием литературного кружка «Среда», редактировать их Бунин был приглашен по предложению Л. Н. Андреева. 21-го октября 1907 года Бунин согласился, как он сообщал Н. А. Пу-

шешникову[1], взять на себя редакторские обязанности. К участию в сборниках «Земля» Бунин хотел привлечь и Куприна.

Он писал Федорову 29 ноября 1907 года:

«Я сбился с ног — не рад, что впутался. Один Куприн чего стоит! Отбил я у «Шиповника» его «Суламифь», но конца все еще нет, а «Шиповник» вот уже полмесяца каждый день вытягивает из него душу — выкинут нам аванс и возвратят ему рукопись»[2].

«Суламифь» была напечатана в 1-м сборнике «Земля», который вышел в «Московском книгоиздательстве» в 1908 году.

«В Москве, — пишет Вера Николаевна, — шли разговоры о предстоящей премьере «Жизни человека» Андреева. Ян стал поговаривать, что следует хоть на месяц поехать в деревню. Материал для сборника «Земля» он уже передал Блюменбергу, сам дал «Тень птицы» и теперь свободен на некоторое время, а писать ему хочется. Я ничего не имела против того, чтобы пожить зимой в Васильевском, такой глубокой зимы я еще в деревне не переживала. И мы решили после первого представления «Жизни человека» уехать из Москвы.

Тут обнаружилась черта Яна — всегда откладывать свой отъезд.

Вскоре мы услышали, что Андреев в Москве. В Москву приехала и М. К. Куприна, которая нас как-то вечером по телефону пригласила в «Лоскутную».

У нее в номере мы встретили Леткову-Султанову в черном шелковом платье и Андреева...»[3].

Леткова-Султанова восхищалась последней вещью Андреева в «Шиповнике» — рассказом «Тьма».

«Я недоволен ею. Не вышло, что задумал, — отвечал Андреев. — Твоя, Ванюша, «Астма» гораздо удачнее, это лучшая вещь в альманахе, и знаешь, у меня ведь тоже астма, как прочел, так и почувствовал, что задыхаюсь.

— Бог с тобой, какой ты астматик! — смеялся Ян.

— А мне между тем все кажется, что я задыхаюсь,— настаивал Андреев.

Он был в дурном настроении»[4].

Андреев говорил: «Я честолюбив, Ванюша, а ты самолюбив...

— Пожалуй, ты прав, — ответил с улыбкой Ян, — я действительно очень самолюбив.

— А я нет. А честолюбие у меня большое...

На первом представлении «Жизни человека» мы не были. Нас пригласили, к моему удовольствию, на генеральную репетицию...

Наконец после долгих откладываний мы накануне Рождества уехали в деревню...» [1]

Пробыв в Москве вторую половину октября и ноябрь, Бунины 20 декабря уехали в Глотово. «Ехали сюда с приключениями, — говорит Бунин в письме Федорову 21 декабря 1907 года.— Выехали вчера со станции (Измалково.— *А. Б.*) ночью, в метель — заблудились, свалились в овраг, тройка изорвала сбрую, изломала все... Ужасная была ночь! Спаслись прямо чудом — звезды проглянули, и, справившись, стали держать на Большую Медведицу. Едва не замерзли» [2].

Вера Николаевна вспоминает:

«Ян в деревне опять стал иным, чем в городе. Все было иное, начиная с костюма и кончая распорядком дня. Точно это был другой человек. В деревне он вел строгий образ жизни: рано вставал, не поздно ложился, ел вовремя, не пил вина, даже в праздники, много читал сначала, а потом стал писать. Был в ровном настроении.

К праздникам относился равнодушно. Не выходил к гостям Пушешниковых. Сделал исключение для моих родственников, которые у нас обедали. За весь месяц Ян только раз нарушил расписание своего дня.

Мы иногда катались. Как-то поехали вдвоем на бегунках в Колонтаевку. День был солнечный, с синим небом, и все было покрыто инеем. Мы пришли в такое восхищение, что Ян подарил мне в память этого дня свою книгу, надписав одно слово: «Иней».

По вечерам Ян не писал. После ужина мы выходили на вечернюю прогулку, если бывало тихо, то шли по липовой аллее в поле. Любовались звездами. Коля (Н. А. Пушешников. — *А. Б.*) знал превосходно все созвездия. Когда, по болезни, он зимы проводил с бабушкой в Каменке, то с увлечением читал астрономические книги, изучая небо. Они с Яном отличались острым зрением и видели все, что можно видеть невооруженным глазом, не то что я со своей близорукостью и редким астигматизмом, на который никто, да и я, не обращали внимания. В лунные вечера мы любовались искристым снегом и иногда одиноким Юпитером. Вернувшись домой, сидели

в кабинете Яна, он чаще всего читал вслух новый рассказ или критику из полученной новой книги журнала, а иногда что-нибудь из любимых авторов. Он писал «Иудею», просматривал «Море богов», «Зодиакальный свет». Писал стихи. Начал переводить «Землю и небо» Байрона, а под самый конец написал «Старую песнь». Обсуждались и новые произведения, только что прослушанные. Коля заводил свое любимое: «Кто выше, Флобер или Толстой?» Ян неожиданно брал книгу одного из этих авторов и читал нам смерть мадам Бовари, «Юлиана Милостивого», «Поликушку» или то место из «Анны Карениной», где у Анны в темноте светились глаза, и она это видит» [1].

Около 20-го января 1908 года [2] Бунин с женой уехали в Москву. Пробыл он здесь до весны, отлучаясь дважды (в конце февраля и в марте) в Петербург.

Он участвовал в торжествах по случаю двадцатипятилетия «службы» в Малом театре артиста и драматурга А. И. Южина (Сумбатова), 25 января присутствовал на банкете в Художественном кружке.

В феврале Художественный театр вел переговоры с Буниным о постановке «Каина» Байрона в его переводе. Но возникли цензурные затруднения, и пьеса была поставлена (в бунинском переводе) только в 1920 году. В. А. Нелидов сообщал Бунину 12 февраля: «...В вопросе о «Каине» я говорил с В. И. Немировичем-Данченко, и он рекомендовал мне воздержаться от поездки в цензуру, считая, что это может скорее принести вред» [3].

Все это время тяжело болела сестра Бунина Мария Алексеевна, ее положение казалось безнадежным, что совершенно выбило Бунина из колеи, и он не мог спокойно работать. В письме к П. А. Нилусу от 20 февраля 1908 года Бунин рассказывает об этих днях:

«Недели две назад я писал тебе, что привезли в Москву мою больную сестру и что у нас началась невыносимая жизнь — страхи, беготня по докторам, бешеные расходы и т. д. Позапрошлое воскресенье знаменитый хирург, предполагавший у сестры гнойник в кишках, сделал ей операцию, во время которой она едва не умерла от хлороформа,— и не нашел никакого гнойника, но сказал нам еще более убийственное слово: саркома, то есть долгая и мучительная смерть. А у нас, кроме

того, есть старуха-мать, которая умрет с горя, если умрет сестра, а у сестры двое маленьких детей, и т. д. и т. д.

После операции мы созвали консилиум, который утешил нас: сказал, что есть слабая надежда, что не саркома, что надо сестру перевезти в терапевтическую лечебницу и начать лечить рентгеновскими лучами, мышьяком и т. п. И мы немного отдохнули. Но что будет дальше? И как жить, не имея возможности работать — до стихов ли мне теперь! — и тратя пятьсот целковых в месяц?

А тут еще полиция: в ночь после консультации, ни с того, ни с сего обыск. Я чуть не задохнулся от злобы.

...Мучительно хочется на юг, на солнце, отдохнуть хоть немного. Одна надежда на ошибку хирурга: теперь сестре лучше» [1].

Вера Николаевна пишет:

«Да, это были тяжелые дни. Братья были в панике. Слово операция их донельзя пугало. Марья Алексеевна тоже к этому известию отнеслась, как к казни. Кто только ее не уговаривал согласиться. Мой брат Павлик, студент-медик второго курса, часами просиживал у ее постели и даже проводил ее в операционный зал.

Когда Марья Алексеевна оправилась, ее перевезли в Остроумовскую клинику...

Привожу выдержку из письма Яна к Нилусу от 9 марта:

«Дорогой милый Петр, вчера была у меня большая радость — появилась надежда, что положение сестры не так уже опасно: Голубинский, который осматривал сестру почти месяц тому назад, заявил, что у нее не саркома... а что именно, покажет будущее».

Когда Ян навещал сестру, то он всегда смешил ее, представляя или пьяного, или какие-нибудь сценки из их жизни, старался никогда не говорить о ее состоянии. Он очень томился и решил хоть на короткое время уехать в деревню и там что-нибудь написать, так как болезнь стоила очень дорого. Они с Юлием Алексеевичем видели, что на заграничную поездку нужно махнуть рукой.

Немного успокоившись, Ян уехал в Васильевское, а я осталась в Москве...» [2]

Пятнадцатого марта Бунин писал П. А. Нилусу:

«...Я уже с неделю в деревне. Немного пишу. Встречаю весну средней России, от которой я уже много лет уезжал на юг. Грязно, мокро, ветер... Потягивает на юг» [1].

Из деревни он ездил в Киев для участия в литературном вечере и в Одессу, чтобы немного отдохнуть у художников, — и снова в Москву.

Марии Алексеевне стало хуже. Она «принадлежала к трудным больным, и от своего недоверчивого, вспыльчивого характера, и от мнительности, и отсутствия терпения.

Братья опять пали духом. Решили, что после Пасхи нужно ее перевезти в Ефремов. За ней должна приехать Настасья Карловна, энергичная, бодрая, сильная женщина. Мы решили, пожив недолго в Ефремове для матери, ехать в Васильевское. С нами на праздники отправился туда и Юлий Алексеевич» [2].

Десятого апреля Бунин сообщал Н. А. Пушешникову:

«Завтра выезжаем в Ефремов. Пробыть там намереваемся дня три-четыре, то есть выехать в Глотово четырнадцатого или пятнадцатого» [3].

Шестнадцатого мая 1908 года он писал И. А. Белоусову:

«...Сестра тает не по дням, а по часам, и каждое письмо вышибает из колеи на несколько дней. Кроме того, спешу писать — сижу иногда с утра до ночи... На сестру идет — без всякого преувеличения! — рублей по 500 в месяц. А тут ее дети, перевозка ее из Москвы и т. д.» [4].

Вера Николаевна вспоминает:

«Когда мы приехали в Васильевское, нас встретила изумительная весна, — все было в цвету... Сад... буйно цвел. И мы наслаждались, по вечерам слушая соловьев, особенно в лунные ночи; по утрам и днем работали под кленом, тоже под трели соловьев. Ян писал стихи. Написал «Бог полдня» и прочел их нам, сидя под белоснежной яблоней в солнечный день. Редактировал переводы Азбелева, рассказы Киплинга для издательства «Земля». Писал «Иудею».

Я начала по его совету переводить с английского «Энох Арден».

Машу перевезли в Ефремов. Мы навестили ее. Она

была до жути худа... Решили пригласить к ней земского врача Виганда, который лечил ее и Людмилу Александровну... который сделал то, чего не могли сделать столичные знаменитости, — Маша стала поправляться...

За лето мы подружились с караульщиками; записывали сказки, поговорки, особенно отличался один, Яков Ефимович, его Иван Алексеевич взял в герои «Божьего древа», удивительный был склад его речи, почти вся она была рифмована» [1].

Бунин жаловался (в письме к А. М. Федорову от 6 августа 1908 г.), что «ослабел... очень устал от всяких передряг. Отдохнуть же нельзя. 1-го сентября надо быть уже в Москве» [2].

Уехал в Москву в конце августа.

В восьмидесятилетний юбилей Толстого, 28 августа 1908 года, Бунин послал ему приветственную телеграмму: «Бесконечно любимый Лев Николаевич, приветствую вас всей душой моей. Иван Бунин» [3].

В сентябре и в октябре Бунин жил в Москве, откуда ездил в Петербург. Он гостил у Телешова в Малаховке, присутствовал на «Среде». В конце сентября простудился и заболел.

Предстояло много работы: по «Московскому книгоиздательству», для сборников которого — «Земля» — необходимо было собирать материалы. «Знание» выпускало его книги новым изданием. Выходили второй, третий и четвертый томы. В октябре Бунин заключил соглашение с К. П. Пятницким на издание пятого тома. Составлявшие том рассказы следовало представить к 1-му ноября, с тем, чтобы книга вышла в январе 1909 года.

В издательстве И. А. Белоусова «Утро» в ноябре печаталась книга «Избранных стихотворений» Бунина.

В Петербурге «были на обеде у Котляревских вместе с Ростовцевыми и еще с кем-то. Нестор Александрович Котляревский, спокойный и очень располагающий к себе человек, слушая, как Иван Алексеевич изображает кого-нибудь из деревенских обитателей или общих знакомых, все повторял:

— У вас необыкновенный юмористический талант. Вам необходимо написать комедию вроде «Сна в летнюю ночь», почему вы не попробуете?..

Вернувшись в Москву, Ян стал говорить, что надо уехать в деревню» [4].

Петр Александрович Нилус восхищался стихами Бунина («Последние слезы» и др.): «...Общее впечатление стихов — золото в слитках, не везде оконченное чеканкой»;[1] «очень понравилась «Рахиль», очень! И ловко воспользовался библейской фразой, и есть какое-то настоящее благоговение перед святыней»[2].

С ноября Бунин жил в Глотове. Он, по словам Веры Николаевны, «перед писанием читал стихи Случевского. Пересматривал еще не напечатанное. Сказал, что хочет составить книгу нашего первого странствия. 6 декабря Софья Николаевна (Пушешникова. — *А. Б.*) дала нам бегунки, и мы поехали в Колонтаевку. День был прелестный, все в инее, и мы опять наслаждались, катаясь по этой заброшенной усадьбе»[3].

В декабре ненадолго Бунин уезжал в Москву. «10-го *утром* или вечером... надеюсь быть в Москве я, — писал Бунин Н. Д. Телешову.— Хорошо бы 10-го собраться в Кружок на «Среду»!

Я еле жив от усталости. Спешу кончать рассказ» («Старая песня», названная позднее «Маленький роман».— *А. Б.*)[4].

С конца 1908 года Бунин, как писал Юлий Алексеевич Телешову 17 декабря, «взялся быть редактором беллетристического отдела»[5] журнала «Северное сияние», принадлежавшего издательнице В. Н. Бобринской. 22 декабря 1908 года секретарь Бобринской Н. А. Скворцов просил Бунина известить ее о своем согласии принять участие в журнале.

Бунин в письме к Д. Я. Айзману (без даты) говорит, что этот журнал «совершенно меняет физиономию модерн на реалистическую, будет направляться нашим кружком московским «Среда»... и по беллетристике будет редактироваться мною»[6].

Журнал выходил с ноября 1908 года, — в этом номере напечатан рассказ Бунина «Море богов», — и прекратился на восьмом номере в 1909 году из-за денежных затруднений.

Современники отмечали возросший интерес публики к стихам Бунина. «...В последнее время чувствуется, — писал один из журналов, — какой-то поворот общественного вкуса к поэзии Бунина». «Поистине обаятельно богатство образов при экономии слов»[7].

В это время Бунин задумал крупнейшее свое произведение — повесть «Деревня». В. Н. Муромцева-Бунина писала автору настоящей работы 9 июля 1959 года: Иван Алексеевич «задумал писать «Деревню», по-новому изобразил мужиков, а задумал он еще в 1908 году».

В Васильевском Бунин встречал и Новый год. 2 января 1909 года он писал Марии Карловне Куприной: «Сидим в деревне, учимся, пишем, переписываем — и хвораем. Кажется, всюду и все больны, — встал с постели, на коей провел дня три, и я. Это меня весьма выбило из седла, а мне нужно много писать — для вас в первую голову» [1].

Прожил он здесь весь январь. «Поправившись, — пишет Вера Николаевна, — Ян принялся за писание и до нашего отъезда кончил «Беден бес», «Иудею» и отрывки перевода из «Золотой легенды» [2], переводил «Небо и землю» Байрона.

Мистерия Байрона была напечатана во 2-м сборнике «Земля», который вышел в 1909 году. С третьего сборника Бунин не редактировал их больше и ничего в них не печатал, так как издатели Г. Г. Блюменберг и Д. М. Ребрик, на деньги которых эти сборники издавались, превратили их в коммерческое мероприятие, не заботясь о литературной ценности издания.

15 января Бунин писал Куприну, сообщая, что в начале февраля он собирается быть в Москве [3].

Вера Николаевна пишет:

«В Москве то и дело Ян простуживался, хотя и легко. Он стремился скорее уехать за границу, в Италию. Я тогда не знала, что ему в молодости грозил туберкулез.

Перед самым нашим отъездом Андреев привез в Москву новую пьесу «Анатема». У Телешовых в то время не было большого помещения, и «Среда» была устроена у Зайцевых. Они жили на Сивцевом Вражке...

Как всегда, на чтении Андреева было много людей, не причастных к литературе...

Мы были на отлете. Уже взяли билеты в Одессу; а потому мы раньше других уехали домой.

На извозчике Ян сказал: «Как жаль, что Леонид пишет такие пьесы, — все это от лукавого, а талант у него настоящий, но ему хочется «ученость свою показать», и как он не понимает при своем уме, что этого делать

нельзя? Я думаю, это от того, что в нем нет настоящей культуры» [1].

Из Москвы Бунин с женой отправился через Киев в Одессу. «Остановились в Петербургской гостинице,— вспоминает Вера Николаевна.— Ян известил Нилуса, и через полчаса он с Федоровым и Куровским, который уже оправился от припадка, явились к нам... В Одессе мы должны были пробыть с неделю...

Некоторые друзья Яна приглашали нас к себе. Были мы запросто у Федоровых... Пригласили нас чуть ли не на следующий день Куровские. Вера Павловна приготовила любимые блюда Яна...

На обеде у Куровских были Федоровы, Нилус, Заузе и Дворников. После обеда все развеселились: Заузе сел за пианино, началось пение. Нилус с Куровским исполнили дуэт «Не искушай меня без нужды», все трое были на редкость музыкальны; Лидия Карловна Федорова пустилась в пляс вместе с Яном...

Была я и на «четверге» в ресторане Доди. Художники делали исключение для приезжих дам. Я была почти счастлива, что попаду на этот «мальчишник», где Ян будет проявлять свои таланты, а в то время мне хотелось понять его до конца, видеть его в той обстановке, где он особенно легко и свободно чувствовал себя...

Во втором этаже стоял во всю длину отдельного кабинета стол, на нем лежали альбомы, карандаши, уголь. Художники, которых было много, стали рисовать друг друга. Кто-то сделал рисунок и с меня. Все были оживлены, веселы, шутили друг над другом. Из писателей был, конечно, сильно опоздавший Федоров и Ян, из журналистов Дерибас, потомок создателя Одессы, и Филиппов... Был еще небольшого роста, с поднятым плечом художник Скроцкий, едкий человек, которого я отметила.

Когда кабинет был почти полон, стали заказывать ужин, каждый для себя, платили тоже каждый за себя. Некоторые требовали водки, но большинство пило вино, белое или красное, удельное, бессарабское, немногие ограничивались пивом. После того, как утолили голод и хорошо выпили, Заузе сел за пианино, стоявшее у двери, и опять, как у Куровских, началось пение: дуэты Нилуса с Павлычем (Куровским.— *А. Б.*), который почти ничего не пил и перестал курить. Заузе сказал, что написал

романс на стихи Бунина: «Отошли закаты на далекий север», и исполнил его. Ян подбежал к нему, поцеловал в лоб и еще больше оживился. Заузе заиграл плясовую, и я в первый раз увидела, как Ян пляшет один, легко, что-то импровизируя, помогая себе щедрой мимикой.

Дня через два Ян неожиданно сказал, что мы должны уехать 28 февраля...

— ...Достаточно всяких праздников, я устал, не могу больше, надо ехать...

В день нашего отъезда мы были у Куровских. Ян подарил Оле (Куровской, в день рождения. — *А. Б.*) коробку конфет с шутливой надписью. Вся семья была огорчена нашим отъездом. Мы оставили у них все теплое, вообразив, что за границей, особенно в Италии, весна чуть ли не жаркая. Кроме того, Ян боялся лишнего чемодана. Он никогда не хотел сдавать ничего в багаж, не хотел и отправлять вещей вперед, может быть, и потому, что, несмотря на долгие разговоры, куда мы едем, точного плана у него не было. И я не знала, какие города и даже страны мы посетим. Намечалась Италия, но в общих чертах.

Поезд уходил, кажется, часов в семь. Нас провожали художники и Федоров, на этот раз не опоздавший.

Ян был доволен, спокоен, он действительно устал и от Москвы, и от Одессы. Нам обоим хотелось чего-то нового. Я ехала на запад в первый раз и была полна интереса к тому, о чем давно мечтала» [1].

«Через Волочиск,— говорит Вера Николаевна,— мы приехали в Вену, где шел дождь, и было холодно в наших легких одеждах, и мы пробыли там всего дня два. Заглянули в собор Святого Стефана... Послушали мы в нем и великолепный орган. Впечатление незабываемое.

Побегали по городу, были в Пратере... Из Вены мы направились в Инсбрук, где уже было совсем холодно... Но живительный воздух совершенно опьянял нас, и холод был приятен. Мы часто вспоминали этот уютный тирольский городок, залитый солнцем, окруженный горами, где так весело раздавались звонкие шаги.

В Италию мы спустились по Бренен-Пассу, в солнечно ослепительный день. Ян мечтал пожить в какой-нибудь тирольской деревушке с каменными хижинами,

куда по вечерам возвращаются овечьи стада с подвешенными колокольцами. И воскликнул: «Как было бы это хорошо!..» Начал говорить, что ему так надоели любители Италии, которые стали бредить треченто, кватроченто, что «я вот-вот возненавижу Фра-Анжелико, Джотто и даже самое Беатриче вместе с Данте...»[1].

5/18 марта 1909 года Бунин сообщал А. Е. Грузинскому: «Были мы в Вене — слякоть, были в Инсбруке — очаровательно: солнце, чисто, свежо, горы как серебро, но можно ходить в летнем пальто. Теперь пишу вам из Боцена, со знаменитого Brennen-Pass. День сегодня был редкостный. Вечером надеемся быть в Вероне»[2].

Из Вероны Бунин и Вера Николаевна поехали в Венецию. Бегло осмотрев город, уехали в Рим, затем — в Неаполь. «Остановились мы,— пишет Вера Николаевна,— на набережной, в гостинице «Виктория». И пробыли в ней трое суток... Наутро мы поднялись на Вомеру, откуда открывается один из широчайших видов мира (Ян всегда в новом городе прежде всего искал самое высокое место). А на второе утро мы отправились в сторону Позилиппо, шли долго апельсиновыми и лимонными садами...

О Капри ничего не было говорено, мы только смотрели на него с нашего балкона, и я, восхищаясь его тонкими очертаниями, спросила: поедем ли мы туда? Ян ответил неопределенно. О Горьком мы тоже не говорили, слишком в те дни было много нового, необычайного... На третий день нашего пребывания в этом городе песен и мандолин... утром мы съездили в Сорренто и чуть не сняли комнаты. Вернувшись, пошли завтракать в «Шато д'Ово» (Яичный замок), ели фрути ди маре, лангусту, запивая все холодным белым вином.

За завтраком я спросила о Горьком, увидимся ли мы с ним, Ян опять ответил неопределенно...

После обильного итальянского завтрака мы вернулись в отель, легли отдохнуть и проспали почти до обеда.

Войдя в столовую, мы увидели, что за столиком, где мы эти дни обедали, сидели англичане. Ян рассердился и заявил, что обедать не будет и завтра же покидает отель. Метрдотель очень извинялся, предлагал другой стол, начал называть его «принчипэ», но Ян остался неумолим.

Мы отправились к Воронцам, друзьям Буниных по харьковской жизни, которые поселились на Вомеро. И мы опять полюбовались широким видом, но уже при вечернем освещении.

Воронцы были эмигранты после 1905 года, осели в Неаполе из-за климата, вели тихую, скромную жизнь. Они обрадовались Яну, ласково приняли и меня. Весь вечер прошел в оживленных воспоминаниях о прошлой, почти нищенской жизни, когда приходилось, по словам хозяйки, делить «каждую фасоль пополам», но все же тогда было необыкновенно весело, безмятежно. С Горьким они не были знакомы, но говорили, что его дом поставлен на широкую ногу.

На следующее утро, в 9 часов мы отправились на Капри. Пароходик был крохотный. Погода тихая, и мы шли, как по озеру, наслаждаясь всем, что дает Неаполитанский залив людям, попавшим туда в первый раз. И действительно, не знали, куда глядеть: на Везувий ли, грозно царивший над беззаботными неаполитанцами, на поднимающийся ли амфитеатром город с его апельсиновыми и лимонными садами на окраине, на высокие манящие аббруцкие горы, или на выступающий из воды остров Иския, с его очаровательными очертаниями, где некогда жил, страдал от любви, опростившийся Ламартин; но вот и Капри, где живет изгнанник, наш русский писатель, который с гимназических лет занимал мое воображение своими романтическими босяками...

Пароходик остановился, и нам пришлось до берега плыть в лодке. Увидев неприступность острова, мы поняли, почему Тиверий избрал его для своих уединенных дней» [1].

На Капри прибыли 12 марта 1909 года. В этот день Вера Николаевна писала Н. А. Муромцеву: «Дорогой папа, сегодня приехали на Капри... Устроились, кажется, в хорошем отеле по совету Горьких» [2].

О пребывании на Капри Вера Николаевна рассказывает:

«Очутились мы на нем в одну из самых счастливых весен, во всяком случае, моих. Ян, как я уже писала, не любил предварительных планов; он намечал страну, останавливался там, где его что-либо привлекало, пропуская иной раз то, что все осматривают, и обращая внимание на то, что большинство не видит...

Отправились пешком в город. Дороги вились среди апельсиновых садов, открывая при каждом повороте все более и более широкий вид.

— Знаешь, зайдем к Горьким,— неожиданно предложил Ян,— они посоветуют, где нам устроиться, и мы можем некоторое время отдохнуть, мне здесь нравится.

Я с радостью согласилась» [1].

Их встретила дочь Марии Федоровны Андреевой — пятнадцатилетняя Катя Желябужская со своей компаньонкой. «От них мы узнали,— продолжает Вера Николаевна,— что Горькие через полчаса отправляются в Неаполь...

Ян позвонил... Вдруг я услышала грудной знакомый голос:

— Иван Алексеевич, какими судьбами?

На стеклянной веранде, выходившей в римский сад, в сером костюме и маленькой синей шляпке стояла мало изменившаяся Марья Федоровна, как всегда элегантная. Мы с ней познакомились. В этот момент из боковой двери вышел в черной широкополой шляпе Горький. Он радостно поздоровался с Яном и приветливо познакомился со мной.

Нас сразу они забросали вопросами, на которые мы не успевали отвечать... Марья Федоровна посоветовала отель «Пагано». Затем нас стали уговаривать пожить на Капри подольше.

— Катя все устроит. Хозяева «Пагано» — наши друзья. Мы всего на три дня в Неаполь. Вернемся и тогда уговорим вас остаться здесь...

— А какие тут звездные ночи, черт возьми! Право, хорошо, что вы приехали, поедем рыбу ловить! — говорил Алексей Максимович, тряся руку Яна, а потом мою около финикюлера...

Вернулись Горькие, но не одни, с ними прибыли Луначарские. Кроме того, у них гостила дочь проф. Боткина, которую они звали «Малей»...

Как раз подошли домашние праздники: 14 марта старого стиля день рождения Алексея Максимовича, а 17 марта его именины. И мы попраздновали. Впрочем, все наше пребывание, особенно первые недели, было сплошным праздником. Хотя мы платили в «Пагано» за полный пансион, но редко там питались. Почти каждое утро получали записочку, что нас просят к завтраку, а

затем придумывалась все новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпускали, так как нужно было закончить спор, дослушать рассказ или обсудить «животрепещущий вопрос».

Много говорили мы и о Мессинском землетрясении (1908 года.— *А. Б.*). Мария Сергеевна Боткина, сестра милосердия, побывала на месте бедствия. Восхищались самоотверженностью русских моряков.

На вилле Спинолла в ту весну царила на редкость приятная атмосфера бодрости и легкости, какой потом не было...

Больше времени мы проводили в салоне с гербами под самым потолком или в огромной столовой, где асти в те дни лилось рекой — то под пение с аккомпанементом мандолин и гитары местных любителей, то под изумительную тарантеллу знаменитой на весь мир красавицы Кармеллы, которая особенно талантливо танцевала для Массимо Горки со своим партнером, местным учителем в очках... то под бесконечные беседы, споры...

Алексей Максимович просил Яна почитать стихи. Ян долго отказывался, он не любил читать среди малознакомых людей, но Алексей Максимович настаивал:

— Прочтите «Ту звезду, что качалася в темной воде...», я так люблю эти стихи.

Ян обычно переставал читать то, что вошло в книгу, он даже мне не позволял перечитывать в его присутствии своих произведений. Но Горький так просил, что Ян прочел это восьмистишие, написанное в 1891 году.

Ту звезду, что качалася в темной воде
Под кривою ракитой в заглохшем саду,—
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде,
Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слагал,
Где я счастье и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.

Алексей Максимович плакал, а за ним и другие утирали глаза.

Но больше, как ни просили, Ян не стал читать» [1].

Прожив восемь дней на Капри, «почти не разлучаясь с милым домом Горького» (письмо Бунина А. Е. Гру-

зинскому 21 марта (3 апреля) 1909 г.[1]), Бунин с женой уехали в Сицилию, где находились с 20 по 28 марта. В указанном выше письме Грузинскому Бунин говорит о своем пребывании в Палермо: «...Городом я все-таки доволен вполне. Весь он крыт старой черепицей, капелла Палатина выше похвал, а про горы и море и говорить нечего. Знаменательно, наконец, и то, что прибыл я сюда в тот же день, что и Гете в позапрошлом столетии». 6 апреля нов. ст. Бунин послал М. П. Чеховой открытку: «Кланяюсь из Сиракуз, где жил Архимед и где растут папирусы!»[2]

Побывав в Мессине, осмотрев развалины, Бунин 15 апреля 1909 года написал стихотворение: «После Мессинского землетрясения».

Двадцать восьмого марта вернулись на Капри. 29 марта (9 апреля) Бунин писал Телешову, что прибыли сюда «вчера вечером» и надеются здесь «пробыть до конца апреля (думаю,— говорит он,— выехать отсюда *26 апреля или 3-го мая, по новому стилю)*»[3].

С Капри Бунины ездили в различные города Италии. В начале апреля поехали в Рим. 5/18 апреля он писал Н. А. Пушешникову: «Мы в Риме третий день. Послезавтра поедем в Помпею и опять на Капри. Через неделю выедем на пароходе в Одессу... Рим мне *очень* нравится. Жара. Весело. Нынче слушали в соборе Петра грандиозное служение. Я был поражен. Сейчас сидим в кафе Греко, где бывал Байрон и Гете»[4].

В Помпее «поразили нас,— пишет В. Н. Муромцева-Бунина,— очень глубокие колеи при входе в этот мертвый город. В 1916 году 28 августа Бунин написал сонет «Помпея»:

. . . .
Я помню только древние следы,
Потертые колесами в воротах.
Туман долин. Везувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

После беглого осмотра Помпеи, мы завтракали в ближайшем ресторане, и Ян стал говорить, что он хотел бы написать рассказ об актере, очень знаменитом, всем пресыщенном, съевшем за жизнь большое количество

майонеза и под конец своих дней попавшем в Помпею, и как ему уже все безразлично, надоело. Рассказа он этого не написал, но в тот полдень он передал его мне живо, с тонкими подробностями»[1].

Девятого апреля по новому стилю Бунины вернулись на Капри, а 10 апреля уехали из Италии. В этот день Бунин сообщал Грузинскому: «Через час выходим из Неаполя на Итальянском пароходе в Одессу (с заходом в Крит и Грецию). В Одессе будем 25-го (плыть целых полмесяца...)»[2].

На пароходе спутником Бунина оказался какой-то лицеист правых взглядов. Завязался спор о социальной несправедливости. Иван Алексеевич говорил:

«Если разрезать пароход вертикально, то увидим: мы сидим, пьем вино, беседуем на разные темы, а машинисты в пекле, черные от угля, работают и т. д. Справедливо ли это? А главное, сидящие наверху и за людей не считают тех, кто на них работает. Как вы себе в этом не отдаете отчета?

Подружившись с моряками, мы везде побывали, куда обычно пассажиров не пускают.

Я считаю,— пишет Вера Николаевна,— что здесь зародился «Господин из Сан-Франциско»...»

«На стоянках, после обеда, моряки приносили свои мандолины, гитару и вполголоса пели неаполитанские песни, а Ян имитировал тарантеллу и так удачно, что приводил всех в восторг»[3].

Второго мая (19 апреля) «добрались до Салоник»[4],— писала В. Н. Муромцева-Бунина А. Е. Грузинскому в этот день. Одновременно Вера Николаевна сообщила брату Всеволоду Николаевичу в Москву: «Мы благополучно стоим в Салониках, где мало-помалу все приходит в норму... В Константинополе будем через два дня. В Одессе надеемся 25 апреля»[5].

С отъездом из Одессы Бунин медлил. «То ему хотелось побывать у Буковецкого, то на «четверге», то нужно было повидаться с редактором газеты, которого в данный момент не было в Одессе. Но, конечно, он отлынивал. Я потом поняла,— пишет В. Н. Муромцева-Бунина,— ему не хотелось быть в эти торжественные дни в Москве (в 100-летний юбилей Н. В. Гоголя.— *А. Б.)*

Могли его попросить выступить где-нибудь, а он терпеть не мог всяких публичных выступлений» [1].

По дороге из Одессы в Москву они остановились в Киеве, где были 4 мая. Бунин извещал Горького в этот день: «...Только сегодня добрались мы до Киева, в Москве надеемся быть завтра» [2].

Из Москвы Бунин должен был вскоре отправиться в деревню, чтобы прожить там лето, но задержался. «...В Москве задержались потому,— писал он Куприну 22 мая 1909 года,— что шли у меня переговоры с одним богатейшим человеком, который втравливает меня в огромнейшее книгоиздание. Возьмусь ли,— еще не знаю: боюсь завязнуть в хлопотах, боюсь, что не сумею сочетать забот с поэзией. Подумаю. И, если не надумаю, основательно засяду за работу» [3].

Однако Бунин не решился принять предложение Сытина «редактировать те новые издания, которыми он жаждал «освежить» свою фирму» [4].

Пятнадцатого или шестнадцатого мая Бунин с Юлием Алексеевичем уехали в Ефремов — повидаться с матерью, которая была очень слаба: болела астмой. Вера Николаевна пока осталась в Москве.

Двадцать первого мая Бунин приехал в Глотово, в июне к нему присоединилась и Вера Николаевна. «Только вчера возвратился в деревню» [5],—писал И. А. Бунин Куприну в цитированном выше письме.

В Глотове он собирал материал для начатой ранее повести «Деревня», которую закончил только в следующем году. Некоторые его записи приводит В. Н. Муромцева-Бунина в «Беседах с памятью»:

«26 мая 1909.

Перед вечером пошли гулять. Евгений, Петя и дьяконов сын пошли через Казаковку ловить перепелов, мы с Колей в Колонтаевку. Лежали в сухом ельнике, где сильно пахло жасмином, потом прошли луг и речку, лежали на Казаковском бугре. Теплая, слегка душная заря, бледно-аспидная тучка на западе, в Колонтаевке цоканье соловьев. Говорили о том, как бедно было наше детство — ни музыки, ни знакомых, ни путешествий...

Соединились с ловцами. Петя и дьяконов сын ушли дальше, Евгений остался с нами и чудесно рассказывал о Доньке Симановой и о ее муже. Худой, сильный, как обезьяна жестокий, спокойный. «Вы что говóрите?» И кнутом так перевьет, что она вся винтом изовьется. Спит на спине, лицо важное и мрачное» [1].

В этих лицах нетрудно узнать персонажей повести «Деревня» — Молодую и ее мужа Родьку.

«Много было разговоров у Яна с родными,— пишет Вера Николаевна,— что ему хочется написать длинную вещь, все этому очень сочувствовали, и они с Евгением и братьями Пушешниковыми вспоминали мужиков, разные случаи из деревенской жизни. Особенно хорошо знал жизнь деревни Евгений Алексеевич, много рассказывал жутких историй. Он делился с Яном своими впечатлениями о жизни в Огневке, вспоминал мужиков, их жестокое обращение с женщинами. У Евгения Алексеевича был огромный запас всяких наблюдений. Рассказывал он образно, порой с юмором» [2].

Николай Алексеевич Пушешников отметил в дневнике имена крестьян, которых Бунин, по его выражению, «изучал»: «Яков Никитич предмет изучения. В «Деревне». Лысый, необычайно жадный, кривоносый, богатый мужик. Никогда не отвечал на вопросы прямо, все шутил. Любимая его фраза: «Как сказать?» Он не мог ни о чем говорить и ни о чем не думал, кроме хозяйственных расчетов. Одет всегда был: в армяк-поддевку и белую, длинную, из мужицкого холста рубаху. На бледном лице кривой розовый нос. Николай Мурогий. Тоже в «Деревне». Высокий, нескладный. Что-то забавно-детское поблескивало в лице. Сашка Копченка. Нежный овал лица, сероглазая» [3].

Яков Никитич — прототип Якова Микитича, богатого и жадного мужика из Дурновки. Двое других, наряду с упомянутыми выше Донькой Симановой и ее мужем,— дали Бунину некоторые характерные черты для Родьки и Молодой.

Прототипом Кузьмы Красова послужил поэт-самоучка Е. И. Назаров. «Озерский кабатчик как-то сказал мне,— пишет Бунин в письме к С. А. Венгерову [4],— что в Ельце появился «автор». И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из

мещан (с которого списан отчасти Кузьма в моей «Деревне»)».

Бунин о себе говорил: «Волка... ноги кормят, а меня лето»[1]. Деревенское уединение, хорошее лето — вот чего всегда хотелось Бунину для плодотворной работы. В унылые, непогодливые дни, при его обостренной впечатлительности и недомоганиях, он с трудом мог удержать себя за письменным столом. Весь июнь шли дожди. Продолжались они и в июле. И писал Бунин, по его признанию, «весьма мало. Пропадаем,— говорит он в письме Федорову 30 июня 1909 года,— буквально пропадаем от беспрерывных дождей, грязи и холода. Иногда проснешься ночью — и слышишь шум такого ливня, что вскочишь: шабаш, потоп!»[2]

Только в августе он, по собственному выражению, «кинулся» писать стихи и прозу,— когда наступили хорошие, солнечные дни, и он «хоть немного чувствовал себя сильнее»[3].

В августе Бунин написал «много стихов, проводя все время в маленькой белой комнате рядом с его кабинетом...— пишет Вера Николаевна в «Беседах с памятью».— У меня записано в моем конспекте этого лета:

...4-го августа написаны стихи «Собака» — эти стихи навеяны собакой Горького, сибирской породы...

8-го — «Морской ветер».

13-го — «До солнца» (позднейшее заглавие «Рассвет».— *А. Б.)*.

14-го — «Вечер» и «Полдень», который его очень веселил.

16-го — ...«Сторож», «Берег», который мне больше всего нравился.

17-го — «Спор».

Все это время Ян был в хорошем настроении. По вечерам в поле он читал нам с Колей стихи...»[4]

Не желая отрываться от захватившей его работы над повестью о деревне, Бунин отложил поездку на юг, в Крым, куда собирался 1 сентября.

В сентябре Бунины вернулись в Москву. В. Н. Муромцева-Бунина вспоминает:

«В Москву мы приехали в начале сентября, остановились у моих родителей. В три дня Ян написал начерно первую часть «Деревни». Иногда прибегал к маме,

говорил: «жуть, жуть»,— и опять возвращался к себе и писал» [1].

Написанные главы повести Бунин читал осенью 1909 года в кругу друзей. Вера Николаевна говорит в «Беседах с памятью»: «Ян позвонил к нам по телефону и сказал, чтобы я приезжала с Колей в Большой Московский и захватила рукопись, он там будет читать «Деревню».

Когда мы вошли в отдельный кабинет, то увидали Карзинкина (брата жены Телешова, тонкий художественный вкус которого Бунин высоко ценил.— *А. Б.*), Телешова, Белоусова и еще кого-то...

На столе стояли бутылки, вина, закуска.

Ян приступил к чтению и прочел всю первую часть. Читал он хорошо, изображая людей в лицах. Впечатление было большое, сильное. Даже мало говорили» [2].

В Москве Бунин пробыл недолго. В конце сентября он отправился в Одессу. 25 сентября он сообщал Горькому: «Уезжаю в Одессу. Собрался было дня три тому назад, да напугала Вера: закружилась голова, потемнело в глазах и т. д. Доктора говорят — острое малокровие, переутомилась летом — много училась» [3]. 29 сентября 1909 года Вера Николаевна писала мужу: «Сейчас получили твое третье письмо с дороги...» [4] Почти весь октябрь Бунин провел в Одессе.

Нравилось ему, что здесь по-южному тепло — «совсем лето» [5], как говорит он в письме к Телешову от 4 октября,— что он снова с друзьями, наслаждается их радушием и гостеприимством.

В Одессе был и Куприн. Бунин уговорил Куприна дать рассказ в сборник «Друкарь».

Двенадцатого октября Бунин сообщал Телешову, что «останется здесь, верно, еще с неделю» [6]. Вероятно, в 20-х числах октября он уехал в Москву, откуда в середине ноября отлучался в Петербург и, по-видимому, 19-го возвратился в Москву. Жил он у Муромцевых, в Столовом пер., д. 11, недалеко от Поварской (ныне ул. Воровского).

Академия наук присудила Бунину еще одну Пушкинскую премию. Об этом было объявлено на заседании Академии 19 октября 1909 года. Академик А. А. Шахматов послал уведомление Бунину 20 октября:

«Имею честь уведомить вас, что представленные вами на 18-е соискание премии имени А. С. Пушкина «Стихотворения 1903—1906 гг.», том третий (СПб. 1906) — том четвертый. «Стихотворения 1907 г.», «Годива», поэма Теннисона. Из «Золотой легенды» Лонгфелло, «Каин», мистерия Байрона 1908 г. ...удостоены императорской Академиею наук неполной премии имени поэта в пятьсот рублей» [1].

Премия была присуждена и Куприну за три тома его сочинений. Он писал Бунину (письмо без даты):

«Судьбе угодно было, чтобы я оттягал от тебя половину Пушкинской премии. Сегодня мне об этом писал Ф. Д. Батюшков...

Я на тебя не сержусь за то, что ты свистнул у меня полтысячи, которую я так же, как и другие, считал у себя в кармане, не зная, что ты вторично представляешь стихи на конкурс. А ты на меня?..

Да, я ужасно рад, *что именно мы с тобой разделили* премию Пушкина» [2].

В другом письме он уверял Бунина: «Не будем говорить о размерах наших талантов — это нескромно и преждевременно — но только мы с тобою двое и остались верны дороге наших великих предшественников, хотя и поем на другой голос, чем они. Уверяю тебя, если бы Академия соединила меня с кем бы то ни было другим, я бы торжественно, mit grosse Scandal отказался от премии и обругал бы всех академиков. А теперь мне приятно и целую тебя» [3].

Двадцать седьмого октября 1909 года отмечалось двадцатипятилетие литературной деятельности Н. Д. Телешова. Бунин выступил с приветственным словом и преподнес Телешову альбом с фотографиями членов «Среды» [4]. На квартире Телешова собрались «представители литературы и искусства, периодической печати, книгоиздательств и некоторых благотворительных и общественных учреждений» [5]. Речи говорили: В. Брюсов, П. Боборыкин, И. Сытин, А. Грузинский, Ю. Бунин, И. Попов; В. Короленко прислал приветственную телеграмму.

В 1909 году Бунин был избран почетным академиком.

Узнал он об этом из полученной 1 ноября телеграммы. Он рассказывал в письме Федорову 3 ноября 1909 года:

«Вечером 1-го сидели у меня гости, и вдруг вбежал Сева (Всеволод Николаевич Муромцев.— *А. Б.*) с криком: «Телеграмма академику Бунину!» И действительно, было адресовано: «академику». Я опешил. Разорвал: «Сердечный привет от товарища по разряду. Котляревский». Но, повторяю, опешил я и на другой день, когда стали являться ко мне из газет, чувствовал себя странно и неловко. Нынче есть в «Русском слове»... В питерских газетах еще ничего нет, но получил поздравительную телеграмму — от Сологуба!» [1]

Академик А. А. Шахматов официально извещал Бунина об избрании его академиком 4 ноября 1909 года [2].

Петр Александрович Нилус писал Бунину 3 ноября:

«Радуюсь от души твоим успехам, радуюсь и тому, что Академия признала, что истинное художество не всегда там, где идет игра под большую публику» [3].

Через несколько дней Бунин и Вера Николаевна уехали в Петербург.

Числа 20 ноября Бунин вернулся в Москву, Вера Николаевна осталась в Сосновке, под Петербургом, где она часто гостила у профессора А. Г. Гусакова. «После, — как она писала, — слишком утомительной жизни в Петербурге, в связи с избранием Бунина в Академию» [4], им обоим надо было отдохнуть. 24 ноября Бунин писал Нилусу: «Дорогой друг, беспутный образ жизни вел я последнее время — извини, замотался, на этот раз оно довольно простительно. Был, как ты знаешь, в Питере, трепетал холеры, но — пил, гулял, чествовали меня и пр. Визиты делал товарищам по Академии... Приехал сюда дня четыре тому назад — опять немного загулял, тем более, что Вера осталась гостить под Петербургом... Устал я порядочно, да и смертельно надоело бездельничать, да и чувствую себя нездоровым. Посему очень об отлете в теплые края думаю, но куда, еще не придумал... По-моему, необходимо мне в самом начале декабря исчезнуть из Москвы — через неделю вытребую сюда Веру и — за сборы. Но куда? Куда? Сухое, сухое место надобно...

О Куприне читал вчера в газетах: он уже в Птб... Ни на какую охоту я с ним не поеду — он, конечно, зол на меня ужасно, хотя отлично знает, что не виноват ни сном, ни духом, что не он оказался академиком» [5].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина писала:

«В Академии шел вопрос о Куприне. Его не выбрали только потому, что боялись его эксцессов. И Александр Иванович затаил злобу на Ивана Алексеевича, хотя тот не знал даже, что первого ноября выборы, для нас его избрание было совершенной неожиданностью»[1]. «А на место Куприна,— говорит Вера Николаевна,— избрали тогда Златовратского... что очень огорчило Ивана Алексеевича. Ведь по таланту Златовратского нельзя было сравнивать с Куприным, хотя в какие-то годы он имел большой успех»[2].

Нилус спрашивал Бунина:

«Правда ли, что Куприн и Андреев не поздравили тебя?»[3]

Размолвки не мешали Куприну по-настоящему ценить редкий художественный дар Бунина. Он постоянно восхищался его стихами и прозой, видел в Бунине одного из лучших писателей своего времени. В письме (без даты) к Бунину, относящемся к 1908—1909 годам, он говорит:

«Милый мой, дорогой и прелестный Гаврюшка! Если я тебя чем обидел — прости великодушно. Ты знаешь: одного тебя из писателей люблю я крепко и нелицемерно, чту твой тонкий артистический талант, как никто, и горжусь твоей дружбой до того, что ревную тебя»[4].

Отмечая общественное значение творчества Бунина, Куприн говорил, что он принадлежит к художникам, «приобщенным к идеалу всей русской литературы». По словам автора «Поединка», «Бунин тонкий стилист, у него громадный багаж хороших, здоровых, метких, настояще-русских слов: он владеет тайной изображать, как никто, малейшие настроения и оттенки природы, звуки, запахи, цвета, лица; архитектура его фраз необычайно разнообразна и оригинальна; богатство определений, уподоблений и эпитетов умеряется у него строгим выбором, подчиненным вкусу и логической необходимости; рассказ его строен, жив и *насыщен;* художественные трудности кажутся доступными непостижимо легко... И многое, многое другое»[5].

Бунин, в свою очередь, считал Куприна писателем «большой талантливости»[6]. Лучшими его произведениями Бунин считал «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», «чудесные рассказы о

Балаклавских рыбаках и даже «Поединок» или начало «Ямы» [1]. Он вспоминал о Куприне:

«Я поставил на него ставку тотчас после его первого появления в «Русском богатстве»...

Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом ездишь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Про хмельного я уж и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений...

Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов...

Потом в жизни его вдруг выступил резкий перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином «Мира божьего»... жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же стал много писать и каждой своей новой вещью завоевывал себе все больший успех» [2].

Нравилось Бунину то безразличие к своей славе, с каким Куприн относился к ней даже в ту пору, когда мало уступал в ней Горькому, Андрееву, Шаляпину. «Казалось,— пишет Бунин,— что он не придает ей ни малейшего значения» [3].

Дружески встречались они и в эмиграции.

Александр Иванович подарил Бунину свою фотографию с надписью: «И. А. Бунину — А. Куприн с любовью» [4].

В 1933 году Куприн поздравил Бунина с присуждением Нобелевской премии телеграммой:

«Tu as merité félicitations. Kouprine»[1] (Ты достоин поздравления. Куприн).

После получения Нобелевской премии Бунин дал сильно нуждавшемуся Куприну пять тысяч франков. Куприн писал ему в 1934 году:

«Милый Иван Алексеевич, дорогой и старинный друг.

Не знаю, как и выразить мою признательность за твой истинно царский дар. Обнимаю тебя крепко, целую сердечно, благодарю тысячу раз. Ты представить себе не можешь, во дни какого свирепого, мрачного безденежья пришли эти чудесные пять тысяч и как на редкость была кстати твоя братская помощь!

Христос с тобою, будь здоров, счастлив, спокоен духом.

Твой *А. Куприн*»[2].

К 1908—1909 годам — ко времени сотрудничества Бунина в «Северном сиянии» — относится, по его свидетельству, знакомство с А. Н. Толстым. «Я редактировал тогда,— писал он,— беллетристику в журнале «Северное сияние»... И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием «Сорочьи сказки», ряд коротеньких и очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писания Толстого). Я с тех пор заинтересовался им...»[3]

«Сказки» в «Северном сиянии» напечатаны не были,— возможно, потому, что на восьмом номере издание журнала прекратилось.

«После нашего знакомства в «Северном сиянии»,— пишет Бунин,— я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались («Лоскутной».— *А. Б.*), вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли ее все...»[4]

С этих пор между ними установились дружеские отношения, омрачавшиеся иногда ссорами, они встречались в России и во Франции, длительное время — хотя и с перерывом — переписывались.

Бунин следил за тем, что из произведений Толстого выходило из печати, в разговорах с друзьями, в письмах и воспоминаниях отзывался о нем как о талантливом писателе.

О романе А. Н. Толстого «Петр Первый» Бунин говорил Г. Н. Кузнецовой, что книга нравится ему, хотя «Петра видит мало, зато прекрасен Меньшиков и тонка и нежна прелестная Анна Монс. «Все-таки это остатки какой-то богатырской Руси,— говорил он о А. Н. Толстом.— Он ведь сам глубоко русский человек, в нем все это сидит. И, кроме того, большая способность ассимиляции с той средой, в которой он в данное время находится» [1].

Бунин прожил в Москве конец 1909 года, январь и большую часть февраля 1910-го, отлучаясь в феврале в Ефремов к больной матери.

Двадцать четвертого декабря 1909 года, по приглашению Общества деятелей периодической печати он участвовал в открытии комнаты Чехова в санатории Н. А. Вырубова и А. Г. Хрущева, близ станции Крюково, Николаевской железной дороги. Здесь были Иван Павлович и Мария Павловна Чеховы, писатели и театральные деятели: С. С. Голоушев, Б. К. Зайцев, Н. Е. Эфрос, А. И. Сумбатов, С. С. Мамонтов, Вл. И. Немирович-Данченко, П. А. Сергеенко, О. Л. Книппер и др.

Семнадцатого января 1910 года Художественный театр отмечал пятидесятилетие со дня рождения Чехова. В. И. Немирович-Данченко обратился к Бунину с просьбой прочесть его воспоминания о Чехове. «Художественный театр,— писал ему Немирович-Данченко 11 января 1910 года,— к вам с низкой просьбой: прочесть 17-го утром о Чехове. Немного. Минут 15—20» [2].

На чеховском празднике присутствовал цвет московского общества. В. И. Немирович-Данченко, открывавший торжества, произнес речь о роли Чехова в Художественном театре. Затем О. Л. Книппер, В. И. Качалов, К. С. Станиславский, И. М. Москвин и Л. М. Леонидов прочли первый акт пьесы Чехова «Иванов».

Во втором отделении выступил Бунин. Он вспоминал впоследствии:

«Художественный театр отметил пятидесятилетие со дня рождения Антона Павловича литературным утренником, на котором выступал я со своими воспоминаниями. Это было 17 января 1910 года.

Театр был переполнен. В литерной ложе с правой стороны сидели родные Чехова: мать, сестра, Иван Павлович с семьей, вероятно, и другие братья,— не помню.

Мое выступление вызвало настоящий восторг, потому что я, читая наши разговоры с Антон Павловичем, его слова передавал его голосом, его интонациями, что произвело потрясающее впечатление на семью: мать и сестра плакали.

Через несколько дней ко мне приезжали Станиславский с Немировичем и предлагали поступить в их труппу» [1]. (Станиславский предлагал Бунину роль Гамлета в новой постановке трагедии Шекспира [2].)

Через день, 19 января, состоялось «чеховское утро» в университете; было много профессоров и представителей литературного мира; среди присутствующих находились И. П. Чехов и Н. Н. Златовратский. С чтением чеховских произведений выступали И. М. Москвин и В. И. Качалов. Бунин читал свои воспоминания, а также рассказ Чехова «В усадьбе» [3].

Чуть ли не на другой день после чеховского праздника в Художественном театре «мы,— пишет В. Н. Муромцева-Бунина,— обедали у Ольги Леонардовны Книппер... Там я познакомилась и с Марьей Павловной Чеховой, она пригласила нас в следующее воскресенье к себе на обед.

У нее собрались все родственники, жившие в Москве. Среди молодого поколения был сын Александра Павловича, Миша, ученик Художественного театра, поразивший нас талантливостью жестов. Они с сыном Ивана Павловича, студентом Володей, прощаясь в передней, что-то изображали шляпами и так забавно, что мы, глядя на них издали из столовой, не могли удержаться от смеха...

Через несколько лет мы видели Мишу в «Первой студии Художественного театра», в пьесе, переделанной из рассказа Диккенса «Сверчок на печи». Игра его взволновала нас до слез. Иван Алексеевич пришел в полный

восторг. А в 1915 году, 14 декабря, он смотрел его в «Потопе» и с восхищением передавал его игру, предсказывая, что «из него выйдет большой артист».

Мать Марьи Павловны, Евгения Яковлевна, по словам Яна, очень состарилась за эти годы. Они обрадовались друг другу, как родные. Она всегда любила его» [1].

В эти же дни Бунин присутствовал при чтении Л. Н. Андреевым пьесы «Дни нашей жизни». Читал Андреев на одной из «Сред» у Телешова. Пьеса всем понравилась. «Ян тоже,— пишет В. Н. Муромцева-Бунина,— хвалил пьесу, за что Андреев его не раз упрекал, говоря, что он хвалил ее потому, чтобы унизить его символические драмы... Но Ян был искренен, он находил в пьесе художественные достоинства».

Двадцать седьмого января Бунин вместе с братом присутствовал на «Среде» при чтении Андреевым пьесы — «Gaudeamus». Бунин довольно холодно относился к Андрееву как писателю. В 1910 году он говорил корреспонденту газеты «Одесский листок»: «Как знают читатели, я никогда не был в восторге от нынешних модных писателей, а в том числе и от г. Л. Андреева. Когда я писал о произведениях г. Л. Андреева, что они туманны и хаотичны, не художественны и бессодержательны, некоторые из господ читателей осыпали меня строгими нотациями... Заблуждение публики не может быть бесконечным. Публика скоро отрезвилась...» [2]

В этот период Бунин — противник всевозможных модернистских течений в искусстве, не раз отмечал, что публика постепенно перестает интересоваться так называемыми «новыми» течениями в литературе — акмеистами, модернистами, символистами, и предпочитает им писателей реалистического направления.

И действительно, спрос на книги писателей новейших течений в начале 1910-х годов был невелик. Как свидетельствовали «Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии», «сборники стихотворений новейших поэтов не находят совершенно покупателей. В библиотеках их не спрашивают, в то время как старые поэты не только в спросе, но этот спрос на «старых» увеличивается из года в год» [3].

О понизившемся интересе публики к писателям-модернистам свидетельствовала и анкета «Вестника ли-

тературы» и «Известий книжных магазинов...». Объясняя это, журнал «Известия...» писал о читателях, отнесшихся отрицательно к «новейшей русской поэзии»:

«Мотив их один и тот же — оторванность поэзии от реальной жизни, декадентщина, испорченный русский язык, напыщенность содержания и уродливость, за редкими исключениями, формы» [1].

Седьмого февраля 1910 года праздновался тридцатилетний юбилей «Русской мысли», чествовали основателя и издателя журнала В. М. Лаврова. «В Литературном кружке,— пишет Вера Николаевна,— был банкет, на котором мы присутствовали,— Бунин много лет был сотрудником «Русской мысли». На банкете в большом зале собрались видные литераторы и деятели театра, речи говорили А. Е. Грузинский, В. И. Немирович-Данченко, артист Н. В. Давыдов и другие.

В начале 1910 года Бунин много и напряженно работал над корректурами шестого тома своих сочинений, выпускавшихся на этот раз не «Знанием», а издательским товариществом «Общественная польза», в Петербурге.

Много сил Бунин отдавал повести «Деревня», которую считал одним из значительнейших своих произведений.

Мария Карловна Куприна, желая получить «Деревню» для «Современного мира», послала Бунину в начале 1910 года телеграмму:

«Не отдавайте повести никому до переговоров с нами» [2].

Первую часть Бунин отослал в «Современный мир» 10 февраля. Вскоре он уехал в Одессу. 20 февраля 1910 года он писал М. К. Куприной:

«Дорогой друг, вчера послал вам корректуру «Деревни»... Простите, что немного запоздал,— я был в Ефремове, в Тульской губ.— очень больна моя мать. Разбит я вдребезги и посему оставаться в Москве, во тьме и холоде, не могу — завтра выезжаем в Одессу, где я и засяду писать. (Взяли заграничные паспорта, но хочу предварительно посидеть в Одессе, с месяц,— боюсь, что за границей уж очень трудно будет за письменным столом.)» [3].

В Одессе остановились у Нилуса (Княжеская, 27), а затем переехали в «Бристоль».

Нилус, прочитав «Деревню» по корректуре, поместил о ней заметку в газете «Одесские новости» (1910, № 8064, 13/26 марта) «Новая повесть И. А. Бунина». Он писал, что «на днях в «Современном мире» появится начало повести Ив. Бунина «Деревня», и кратко характеризовал это произведение.

Первая часть повести была напечатана в мартовской книге «Современного мира», следующие Бунин рассчитывал дать на апрель и май. Но продолжение повести в этих номерах журнала не появилось. Бунин просил Н. И. Иорданского, издававшего вместе с М. К. Куприной «Современный мир», отложить печатание «Деревни» до сентября. В четвертом номере редакция журнала сообщала читателям: «По желанию автора печатание повести И. А. Бунина «Деревня» переносится на осень».

Вера Николаевна Муромцева-Бунина вспоминала об этом пребывании в Одессе: «Ранняя одесская весна. Мы, по пути в Алжир, гостим в этом чудесном городе, где ежегодно проводим несколько недель. В Одессе у Ивана Алексеевича много приятелей, среди них Юшкевич. Юшкевич в радостном настроении. Художественный театр принял к постановке его пьесу «Miserére» — и ему очень захотелось познакомить близких ему людей со своей новинкой. «В награду за слушание» он обещал угостить «настоящим еврейским обедом»... Пьеса всем понравилась» [1].

Без конца спорили об Игоре Северянине, которым некоторые тогда увлекались, он незадолго перед этим был в Одессе.

В 20-х числах марта 1910 года Бунин и Вера Николаевна отправились за границу, 21-го прибыли в Вену — письмо Н. А. Пушешникову помечено 3 апреля (21 марта 1910 года) [2], оттуда — через Милан в Геную.

Двадцать девятого они были на юге Франции — в Ницце. Вера Николаевна вспоминает:

«На следующий день мы отправились на могилу Герцена. Она находится как раз над нашим отелем, который и до сих пор, кажется, существует. Дорога к могиле приятная, идет не то парком, не то лесом. Я очень увлекалась в те годы Герценом, как и всеми его современниками. Ян тоже ценил его, а потому это походило на паломничество, и мы долго молча стояли над могилой...

Прожив в Ницце десять дней, мы уехали в Марсель, чтобы оттуда пойти в Оран.

Марсель поразил криком, сутолокой, движением. Пробыли мы там сутки, узнали, что на другой день уходит в Оран пароход, успели подняться на фуникулёре к Санта Мадонне...»

В Алжире, в городе Оране, Бунин и Вера Николаевна находились 6/19 апреля (открытка Бунина Н. И. Иорданскому датирована: «Оран, 19 avr., 1910 г.»[1]). Алжир поразил их красотой: «Мы,— пишет Вера Николаевна,— знали его по Лоти, которого очень ценили и любили. Ян всегда повторял: «Как он умеет передать душу страны! Редкий писатель!»

В Сахаре они остановились в оазисе Бискра, где пробыли семь дней. Отсюда 13/26 апреля Вера Николаевна писала брату Д. Н. Муромцеву: «Мы — в пустыне, дорогой Митя. Сегодня ездили к песчаным дюнам»[2]. То, что они были в Бискре, видно из письма Бунина, который в тот же день писал неизвестному лицу: «Поклон из Сахары! 26/13 апреля 1910 г. Бискра»[3].

В глубь пустыни Бунин и Вера Николаевна ездили на лошадях, верст за десять — пятнадцать.

Оставаться в Бискре было невозможно из-за жары и знойного ветра «сирокко», боялись также заразиться местной болезнью, при которой тело покрывается нарывами.

Из Бискры они поехали в Константину. Бунина восхитил живописный вид этого арабского города, расположенного в горах.

В дальнейшем Бунины отправились на небольшом итальянском пароходе из Туниса в Сицилию, в город Маццаро. По дороге они попали в жестокий шторм и были вынуждены отстаиваться на якоре у дикого берега в какой-то бухте. Вместо двенадцати часов находились в плавании двое суток и, наконец, прибыли в Сицилию,— в Порто-Эмпедокло. Здесь внимание Бунина привлекли руины древнегреческого храма.

Из Сицилии они вскоре отбыли в Неаполь, а оттуда — на Капри, к Горькому, у которого «гостили две недели», начиная с 22 апреля (5 мая).

Распрощались с Горьким и с Капри 8/21 мая. 15/28 мая 1910 года Горький писал Е. П. Пешковой: «Бунин уехал 21-го»[4].

На обратном пути, от острова до Неаполя, их сопровождали Горький и М. Ф. Андреева, пробывшие в Неаполе вместе с ними два дня. В конце путешествия побывали в Афинах, Смирне (Измире) и Константинополе. 10/23 мая Бунин сообщал Н. И. Иорданскому с парохода «Sénégal», находившегося в Ионическом море: «Возвращаемся в Россию, напишите, пожалуйста, в Москву (Столовый, дом Муромцева), что говорят о «Деревне»[1]. В Одессу они прибыли, по-видимому, 15 мая.

Здесь задержались один день, два — в Москве и уехали в деревню, чтобы провести там все лето. По дороге заехали в Ефремов, к матери.

«После Москвы,— писал Бунин Горькому 15 июня 1910 года из Глотова,— жил на торчке в Ефремове, при матери,— ей все хуже,— потом искал дачу под Ефремовым, ездил под Елец, в Липецк, ибо сестра (С. Н. Пушешникова, двоюродная сестра.— *А. Б.*), у которой обычно провожу лето, тоже больна,— страхом смерти,— хотел снова ехать на юг, так как Вере прописано морское купание... Кончилось все это прежней обителью, но надолго ли? По всей России — холера, льют ледяные дожди»[2].

Бунин надеялся, что в Глотове он сумеет закончить «Деревню», продолжения которой ждал «Современный мир».

В указанном выше письме Горькому он говорит, что работать «еще не начал, дни провожу пока за чтением».

Долго в деревне пробыть не удалось: появилась холера, «было несколько смертей и заболеваний,— писал Ю. А. Бунин своей знакомой Елизавете Евграфовне 7 июля 1910 года... — Прибыл санитарный отряд. Оставаться оказалось, конечно, невозможным. Поэтому я, Ваня, Вера Николаевна и один из моих племянников уехали оттуда, и сейчас мы в Ефремове... Здесь в Ефремове положение крайне тяжелое: мать в совершенно безнадежном состоянии, она вся опухла, пульс то сорок, а через минуту более ста, она почти не может двигаться»[3].

К умирающей матери был вызван в начале июля Евгений Алексеевич из Петербурга, где он совершенствовался в живописи. Мария Алексеевна и жена Евгения Алексеевича Настасья Карловна ни днем, ни ночью не отходили от больной.

В середине июля Людмила Александровна скончалась. Юлий Алексеевич писал Елизавете Евграфовне 19 июля 1910 года: «Дорогая моя, вчера похоронили нашу мать. Она скончалась в ночь с 15-го на 16-е июля. Последние дни она почти все время была в бессознательном состоянии. На похоронах было много народа; сегодня поразъехались,— между прочим, уехала в Орел Маша с мужем и детьми... Я через несколько дней уеду в Москву» [1].

В день смерти матери И. А. Бунин в Ефремове не был. «Из всех нас,— писал Юлий Алексеевич Елизавете Евграфовне 1 августа 1910 года,— отсутствовал при кончине матери Ваня, уехавший в Москву, так как говорит, что совершенно не выносит таких событий. К тому же ему совершенно необходимо окончить повесть в августе, и он работает не вставая» [2].

Шестнадцатого июля Бунин писал Е. И. Буковецкому:

«В Москве изнурили дожди и тревога за мать, и усилия — работать: ведь до зарезу нужно! Нынче рано утром получил от братьев телеграмму, что мать скончалась» [3].

Смерть матери, по словам Бунина, «весьма пристукнула» [4] его (письмо М. В. Аверьянову 28 июля 1910 г.). Чувствовал он себя очень скверно, но продолжал работать.

Месяц, прожитый в Москве, Бунин работал с исключительным напряжением, «писал часов по пятнадцати в сутки, боясь оторваться даже на минуту, боясь, что вдруг потухнет во мне,— говорит он в письме к Горькому,— электрическая лампочка и сразу возьмет надо мной полную силу тоска, которой я не давал ходу только работой. А потом это напряжение привело меня к смертельной усталости и сердечным припадкам до ледяного пота, почти до потери сознания.

...Повесть я кончил (считаю, что погубил, ибо сначала взял слишком тесные рамки, а последнее время было чересчур тяжко работать)...» [5].

Много значило для Бунина в это тяжелое время то, что рядом была Вера Николаевна. Вспоминая этот трудный для них год, Вера Николаевна писала Бунину 9 сентября 1912 года: «...Никто, кроме меня, не умеет тебя успокоить. Ведь ты помнишь в годы, когда ты писал вторую часть «Деревни», и холера в Москве бы-

ла, и горе большое у тебя было, я сумела так тебя лелеять, что ты чувствовал себя, насколько при данных условиях было можно, хорошо...»[1]

Об этом периоде их жизни В. Н. Муромцева-Бунина говорит в письме к автору настоящей работы от 23 июля 1957 года. Из Ефремова «мы с Иваном Алексеевичем уехали в Москву: мать настаивала, чтобы он не присутствовал во время ее кончины, так как всякая смерть на него действовала ужасно, и она это знала, знала, что он с детства боялся потерять ее.

Вскоре после нашего приезда в Москву пришла роковая телеграмма. Мы жили вдвоем в нашем особнячке в Столовом переулке. Иван Алексеевич по 12 часов в день писал «Деревню», вторую часть, никого не видел, только по вечерам мы ходили гулять по переулкам».

Мария Карловна Куприна и Н. И. Иорданский, боясь задержать ближайшие номера журнала, торопили Бунина. Возвратившись в августе из-за границы, Иорданский просил рукопись «Деревни» и писал: «Присылайте поскорее, и тогда мы сделаем усилие, чтобы вместить окончание в октябре. Видели мы Горького; он очень тепло говорил о вас и Вере Николаевне и очень хвалил «Деревню»[2].

В конце августа Бунин уехал в Глотово.

Двадцать третьего августа он писал Е. И. Буковецкому:

«Измучился я в Москве. Приехав сюда (в Глотово.— *А. Б.*), надеялся немного отдохнуть, перечитать со свежей головой вторую часть своей злосчастной повести и отослать ее, а вместо того захворал гриппом. Теперь поправляюсь»[3]. В тот же день он писал Иорданскому, что «думал отдохнуть от работы, тоски, Москвы, дождя, колокольного звона, а вместо того захворал гриппом. Это задерживает высылку «Деревни»: надо ее перечитать в бодром, ясном настроении, а у меня шум и звон в голове»[4].

Второго сентября 1910 года рукопись была отправлена в «Современный мир». Потом, от усталости, Бунин «дня два был в полном изнеможении»[5].

Числа 10 сентября Бунин уехал из деревни в Петербург — «за получкой с «Современного мира» и за продажей книги»[6]. По пути он остановился в Москве. На собрании «Среды» читал «Деревню».

«Наш журнал» сообщал 19 сентября (1910, № 3): «На днях Иван Алексеевич в кругу своих близких друзей прочел вторую часть «Деревни». Повесть произвела на слушателей сильное впечатление. Несомненно, это новый богатый вклад в сокровищницу русской литературы».

По приезде Бунина в Петербург издательство «Просвещение» вступило с ним в переговоры об издании его собрания сочинений. Издатель Лев Цетлин предлагал сорок тысяч и по пятьсот рублей за лист будущих произведений, с тем чтобы все они печатались в этом издательстве,— условия, подобные кабальному договору Чехова с А. Ф. Марксом. Бунин, слишком много испытавший тягостных забот о завтрашнем дне, готов был согласиться. Но все же из этих переговоров ничего не вышло: измученный «изнурительным негодяем Цетлиным», который, выторговывая выгодные для себя условия, по словам Бунина, тысячу раз «соглашался на то или другое — и на другой день отказывался от своего согласия» [1], Бунин отказался от этого предложения.

В последних числах октября Бунин с женой переехали в Сосновку — под Петербургом, гостили там у А. Г. Гусакова. Жили там и в ноябре.

Здесь Бунин услышал о смерти Л. Н. Толстого. 13 ноября 1910 года он писал Горькому: «...Утром профессор Гусаков, у которого мы с Верой гостим, вошел и сказал (о Толстом): «Конец». И несколько дней прошло для меня в болезненном сне. Беря в руки газету, ничего не видел от слез. Не могу и теперь думать обо всем этом спокойно...

Смерть Толстого как будто взволновала публику, молодежь, но не кажется мне это волнение живым. Равнодушие у всех ко всему — небывалое. А уж про литературу и говорить нечего. До толков о ней даже не унижаются» [2].

Через много лет после этого, будучи в эмиграции, Бунин вспоминал: «До сих пор помню тот день, тот час, когда ударил мне в глаза крупный шрифт газетной телеграммы:

— Астапово, 7 ноября. В 6 часов 5 минут утра Лев Николаевич Толстой тихо скончался.

Газетный лист был в траурной раме. Посредине его чернел всему миру известный портрет старого мужика

в мешковатой блузе, с горестно-сумрачными глазами и большой косой бородой. Был одиннадцатый час мокрого и темного петербургского дня. Я смотрел на портрет, а видел светлый, жаркий кавказский день, лес над Тереком и шагающего в этом лесу худого загорелого юнкера» [1] — Дмитрия Оленина.

В октябре Нилус писал Бунину о его «Деревне» как о большой творческой удаче: «Прочел с удовольствием, хотя продолжение чуть жиже начала, но это не важно, главное — дух земли, крепкий, настоящий. Только этим и живо художественное произведение. Только *количеством* наблюденного и оценивается работа художника. Я прочел залпом, не отрываясь, второй кусок повести; пока трудно судить в общем, в связи с началом, но отдельные места из странствий Кузьмы превосходны, особенно меня поразили соловьиная ночь в слякоть, тасканье по постоялым дворам, трактирам, грязь, мерзость, ночевки не раздеваясь, старчество Кузьмы, все эти чудесные штрихи. Когда будешь выпускать отдельным изданием, ты *обязан* все пересмотреть, вновь покрепче связать каркас, может быть, местами перестроить. Очень нужна черта, объясняющая взгляд Кузьмы на мерзость запустения русской жизни. Пусть он разок побывает за границей, где-нибудь в Кенигсберге с зерном, лошадьми, или Черновице, хотя возможно недовольство и живя в России, но и прочее... Ведь мы с тобой поняли нашу грязь только после резкой заграничной оплеухи» [2].

Седьмого ноября 1910 года Нилус снова писал Бунину: «Прочитал последний кусок «Деревни». Опять много золота. Хорошо болеет Кузьма, хорошо умирает старик, празднуется свадьба» [3].

Высоко оценил повесть Горький.

«Это — произведение,— писал он М. К. Иорданской в 1910 году,— исторического характера, так о деревне у нас еще не писали» [4].

Самому Бунину Горький писал в декабре 1910 года: «...Так глубоко, так *исторически* деревню никто не брал... Я не вижу, с чем можно сравнить вашу вещь, тронут ею — очень сильно. Дорог мне этот скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее — и

все это — ново. *Так* еще не писали. Превосходна смерть нищего, у нас бледнеют и ревут, читая ее. Дивная черта — «тень язычника»! Вы, может быть, и сами не знаете, как это глубоко и верно сказано» [1].

В конце 1910 года Бунин с женой отправились в дальнее плавание: в Египет, на Цейлон, в Сингапур, надеялись побывать в Японии.

Комитет «Добровольного Флота» выдал Бунину 8 декабря 1910 года в Москве рекомендательные письма, адресованные его представителям в Гонконг, Сингапур, Шанхай и Нагасаки: «Позволяем себе рекомендовать вашему вниманию предъявителя сего письма, господина почетного академика Ивана Алексеевича Бунина, отправляющегося с научной целью на одном из пароходов Добровольного Флота, на Дальний Восток.

Покорнейше просим оказать ему всякое с вашей стороны содействие и предоставить на пароходе возможное удобство в отношении помещения» [2].

Недолго задержались в Одессе. Корреспондент газеты «Одесские новости» спрашивал Бунина о Толстом, о «последних новостях и течениях в области литературы», и о предстоящей поездке. Бунин сказал:

«Настоящая зима в области литературы оказалась на редкость бесцветной. В прошлом году говорили, по крайней мере, много о порнографии, теперь же даже и о порнографии перестали говорить. Одно лишь с несомненной и чрезвычайной ясностью вырисовывается,— это резкий поворот симпатий как литературных, так и читательских кругов в сторону реализма. Вот вам маленький, но характерный фактец. Незлобин потребовал от Сологуба, чтобы тот вытравил из своего «Мелкого беса» все места, отдающие мистицизмом... Вообще, публике надоела вся эта чертовщина, укрепившаяся было в нашей литературе. Лично я, конечно, приветствую этот поворот, как симптом оздоровления читательского настроения.

Что касается меня, то ныне я работаю над романом, размером «Деревни», посвященным жизни интеллигентных кругов обеих столиц. Когда я закончу это произведение и где его напечатаю, еще сам не знаю...

Маршрут мой приблизительно таков: отсюда еду в Порт-Саид, оттуда в Египет, где пробуду больше

месяца. К тому времени прибудет следующий пароход Добровольного Флота, на котором поеду в Луксор, Ассуан. Быть может, заеду также в Нубию. Оттуда вернусь в Порт-Саид и направлюсь на остров Цейлон, где пробуду месяц. Затем в маршрут входят Индия, Сингапур и, как конечный пункт, Нагасаки. Из Японии вернусь обратно в Россию. В пути я буду делать заметки, и путевые впечатления, вероятно, послужат материалом для особого труда»[1].

Пятнадцатого декабря 1910 года Бунин получил билеты на пароход «Владимир» и вместе с Верой Николаевной в этот день отплыл из Одессы на Константинополь[2], куда они прибыли 17 декабря и оставались до следующего дня.

Семнадцатого декабря Бунин писал Горькому: «...По просьбе Академии, дал мне Комитет добровольного флота проезд до Владивостока и обратно с платой только за пропитание — и вот не устоял я, не смог устоять. Я прямо-таки мучился, истинно разорваться хотелось — и на Капри попасть, и заветнейшую свою мечту осуществить; решался даже отложить это плавание до осени, но, увы, и Индийский океан, и Китайские моря выносимы только зимою, да и слишком уж упорно уговаривал меня доктор побыть в жарких странах в рассуждении моих недугов. Все же только в Одессе, только 14-го, накануне отплытия, твердо сказал я себе, что отлагаю Капри до весны...

Плывем мы теперь на Бейрут, из Бейрута — в Порт-Саид. В Порт-Саиде простимся с «Владимиром» и поедем в Каир, Луксор, Ассуан-аж до Хартума в Нубии. В Порт-Саид надеемся вернуться к самому концу января, к пароходу Добровольного Флота, выходящему из Одессы 25 января, и двинемся на Цейлон, Японию»[3].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина сообщала неизвестному лицу (письмо начато 17-го, окончено 22 декабря 1910 года):

«Идем по Босфору... Народ все простой. Все перезнакомились. Черное море, которого я боялась, мы прошли вполне благополучно... В Константинополе пробудем до завтрашнего дня. Отход назначен в 5 ч. вечера. Может, сойдем на берег и еще что-нибудь посмотрим, чего не видали... Совершенно для нас неожиданно мы заходим в Бейрут, там мы были в первое

наше путешествие... Пишите в Каир — на имя Яна: J. de Bounine, poste-restante. Мы думаем в Египте провести месяц с лишком, но где обоснуемся, еще не решили, может, Гелуане, может, Луксоре, может, в Ассуане. Это будет зависеть, во-первых, от погоды, а во-вторых, от отелей. Сейчас сезон в самом разгаре в Египте, а потому, может, трудно будет подыскать по вкусу комнату, если не хочешь платить бешеных сумм. Возвратились из Константинополя на пароходе. День был редко прелестный. На солнце было даже жарко. Странно лишь, что солнце так рано садится! — сегодня пришли в Бейрут. Погода чудесная»[1].

О пребывании в Сирии писал также Бунин Юлию Алексеевичу 23 декабря из Бейрута, где, по его словам, «ни один самый лучший день нашего лета не сравнится с этими двумя днями, что мы в Бейруте... Нынче едем в Порт-Саид»[2].

В Порт-Саиде Бунин заболел; пришлось высадиться и отправиться в Гелуан. Из Гелуана он писал брату 30 декабря 1909 года (12 января 1910 года):

«Милый Юлий, в Черном море прошли очень спокойно, от Константинополя до Бейрута качало, но плавно, широко — и волна была хорошая, да и пароход огромный, сильно нагруженный. Из Бейрута я писал тебе — открытку. Чувствовал я себя недурно, но побаливала порою какая-то <точ>ка в животе... В Сочельник мы подходили к Порт-Саиду, я глядел на приближающиеся огни его и вдруг почувствовал в вышеуказанном месте боль нестерпимую. Ел я все предыдущие дни много, аппетит в море увеличился, еда была очень вкусная и тяжелая, и я подумал, что это от засорения желудка... Боль схватила такая (и в вышеуказанном месте и напротив — в почке), что я чуть не потерял сознания. Добрался до каюты и, обливаясь ледяным потом, стал орать... Был фельдшер пароходный, доктор из Порт-Саида (санитарный, ибо мы стали в карантин), был доктор-турок, плывший с нами (с солдатами из Сирии, которых мы везли в Джедду) — никто ни кляпа не понял, а боль была такая, что *прерывался пульс*. Стали делать припарки, делали почти всю ночь — и боль стихла. На другой день был слаб страшно. Вечером 25-го вышли в Суэц, пришли туда 26-го утром. 26-го вечером мы прибыли

в Каир, на другой день переехали в Гелуан. 26-го вечером снова была боль, но уже далеко не такая, поставил грелку, полежал в вагоне — прошло. Потом не болело дня два, нынче снова побаливает — почти весь день... Был здесь у доктора Рабиновича — говорит: сдвинута почка, предлагает ехать в Каир, в рентгеновский кабинет. Подумаю...

Живем на окраине этого маленького, чистенького плоскокрышего городка, на вилле, снимаемой одесской еврейкой под маленький санаториум. Больных тут всего трое, но они внизу, а мы наверху, совсем одни. Вид у нас на юг, запад и север, на всю долину Нила и на все пирамиды. Хлопочет угодить нам еврейка страшно — благодаря моей знаменитости. Платим ей очень дешево — шесть рублей в сутки за двоих. Дорого здесь везде ужасно. Два хороших отеля есть — там за двух надо платить двадцать рублей в сутки. Погода была сперва как у нас в июле, нынче серо, но можно ходить в летнем пальто»[1].

Бунин и Вера Николаевна пробыли в Египте «больше шести недель, побывав в Каире, хорошо с ним ознакомились, потом отправились по железной дороге в Луксор, после — в Фивы; жили некоторое время на Суэцком канале в ожидании парохода Добровольного Флота, но не дождались (произошла какая-то авария) и отправились в Коломбо на «Французе» — плавание на нем описано в его дневнике под названием «Воды многие»[2].

На книге Бунина «Петлистые уши и другие рассказы» (Нью-Йорк, 1954), присланной мне из Парижа в 1958 году Вера Николаевна написала:

«Стр. 332—361 — наше плавание по Индийскому океану 13. II—I. III. 1911 года». Отмеченные ею страницы — это «Воды многие» Бунина. В письме ко мне от 23 мая 1958 года Вера Николаевна говорит, что «Воды многие» — «это его дневник, когда мы шли на Цейлон в 1911 году. Я считаю, что это одно из самых значительных его произведений, ибо он там приоткрывается. Эта книга («Петлистые уши».— *А. Б.)* была его последней, которую он проредактировал,— она вышла уже после его кончины. В ней собраны произведения двух родов: самые жестокие и самые благостные».

О Египте и о «скитаниях» в ожидании парохода Добровольного Флота Бунин писал Юлию Алексеевичу 10/23 января:

«Вчера приехали в Луксор, завтра уезжаем в Ассуан. Погода — как наш июньский, прохладный и серовато-нежный день. Развалины храмов громадны, но производят впечатление глиняных. Много пальмовых рощ, среди них деревушки из ила. Африка форменная» [1]. 16/29 января он пишет: «Едем из Ассуана в Луксор. В Луксоре уже были — теперь опять остановился на день,— поедем в Фивы (на противоположном берегу). В Ассуане пробыли пять суток, два раза ездили в Шелаль — на остров Филлэ. Были дни столь жаркие, что страшно было получить солнечный удар, но было и прохладно — бушевал ураган с севера. Ездил несколько раз в пустыню на осле. Довольны Ассуаном очень. Здоровье так себе. Жить везде очень дорого. Из Луксора едем в Каир» [2]. 24 января (6 февраля): «...Ездили в Фивы и все осматривали — главное, колоссов Мемнона!» [3] «Мы недавно вернулись из-под самого тропика, из Ассуана,— пишет Бунин Белоусову из Гелуана 31 января (13 февраля) 1911 года.— Теперь, сбив все сапоги по пескам, могилам, пирамидам и развалинам храмов, ждем парохода на Коломбо, Сингапур, Японию» [4]. 13/26 февраля отправились из Порт-Саида по Суэцкому каналу в долгий путь — до Цейлона надо было плыть две недели. «Теперь плывем на французском пароходе на Цейлон...» [5] — писал Бунин Е. А. и Н. Д. Телешовым 13/26 февраля 1911 года. Попали они на пароход, о каком мечтали,— устаревший пассажирский, превращенный в грузовой: шел он не спеша, подолгу стоял на стоянках.

Бунин и Вера Николаевна заняли две каюты, остальные пустовали. «У меня,— пишет Бунин в своем путевом дневнике,— просторно и все прочно, на старинный лад. Есть даже настоящий письменный стол, тяжелый, прикрепленный к стене, и на нем электрическая лампа под зеленым колпаком. Как хорош этот мирный свет, как свеж и чист ночной воздух, проникающий в открытое окно сквозь решетчатую ставню, и как я счастлив этим чистым, скромным счастьем!» [6]

Когда снялись и пошли, день был облачный, мутный. «К полудню мы были уже далеко от Порт-

Саида, в совершенно мертвом, от века необитаемом царстве. И долго провожала нас слева, маячила в мути пустыни и неба чуть видная, далекая вершина Синая...»

Четырнадцатого февраля были в Красном море. «Все море ходило долинами, холмами, верхушки этих холмов ярились пеной... «Юнан» медленно кланялся солнечному морю, шедшему на него ухабистой и сияющей равниной».

К вечеру ветер утих, все пришло в совершенный покой и «радостное и сияющее однообразие»,— 15 февраля пароход вступил в тропики.

Шестнадцатого прошли остров Джебель-Таир. Все было ново для глаз — остров, непривычно выделявшийся в море резкими очертаниями, новые, не виданные прежде южные звезды, придававшие ночному небу особенную торжественность и «серебристая россыпь Ориона» на совсем еще светлом небе. «Орион днем! Как благодарить бога за все, что дает он мне, за всю эту радость, новизну! И неужели в некий день все это, мне уже столь близкое, привычное, дорогое, будет сразу у меня отнято,— сразу и уже навсегда, навеки, сколько бы тысячелетий ни было еще на земле?»

Утром 17 февраля прошли Перим, направляясь вдоль африканского берега к Джибути во французское Сомали, к выходу в Индийский океан. 19 февраля (4 марта) 1911 года Бунин писал редактору газеты «Русское слово» Ф. И. Благову, что сейчас «гостит» у сомалиев и недели через две надеется быть на Цейлоне[1]. В Джибути он был и следующий день — 20 февраля (5 марта) сообщал об этом М. П. Чеховой[2].

Осматривали этот город, показавшийся маленьким, захолустным, с жалкими лачугами. На его окраине — «пески, полная пустыня, табор сомалиев, живущих уже совсем по-своему, с первобытной дикостью. Шатры, козы, голые черные дети...». Тяжелое чувство вызывало нищенское существование этого народа. «В этом грязном человеческом гнезде, среди этой первозданной пустыни, тысячелетиями длятся рождения и смерти, страсти, радости, страдания... Зачем? Без некоего смысла быть и длиться это не может.

Все же какая-то великая тоска, великая безнадежность царит над этим глухим и скудным человеческим жильем».

Вышли в океан, на его просторах «совсем особое чувство — безграничной свободы». 23 февраля прошли мимо мыса Гвардафуй — последний раз видели берег Африки, впереди за бесконечной равниной океана — Индия, Цейлон. 2 марта прибыли в Коломбо.

«На Цейлоне мы пробыли с полмесяца,— пишет Вера Николаевна Муромцева-Бунина в цитированном выше письме от 15 мая 1957 года,— он там почти заболел. Не мог видеть рикш с окровавленными губами от бетеля. То, что чувствовал его англичанин в «Братьях», автобиографично. Идти в Японию нам было уже нельзя из-за отсутствия средств,— много стоил Египет, кроме того, он уже не мог лишнего дня оставаться, а парохода в Японию нужно было ждать».

11/24 марта 1911 года Бунин писал Юлию Алексеевичу: «Были на севере острова — в Анарадхапуре, видели поистине чудеса, о которых — при свидании. Теперь сидим в Коломбо. Ждем парохода — он придет из Сингапура 31 марта (нового стиля) и, надеемся, доставит нас в Одессу не позднее 10—15 апреля (старого стиля). *Очень* изнурила жара» [1].

Анарадхапура — остатки древнего города на севере острова — произвела на Бунина очень сильное впечатление.

В Анарадхапуре провели сутки. Приехали туда с ближайшей станции на небольшой телеге, которую везли «волы с закрученными рогами, дорога шла лесом, было темно, но бесконечные светляки озаряли путь», было «поэтично и немного жутко» [2].

Об Анарадхапуре Бунин пишет в рассказе «Город Царя Царей» (1924): Анарадхапура — «величайшая святость буддийского мира, древнейшая столица Цейлона, Анарадхапура, ныне заросшая джунглями, превратившаяся в одно из самых глухих цейлонских селений и поражающая пилигрима только чудовищными останками былой славы, насчитывает более двух с половиной тысяч лет своего существования, из которых целых две тысячи она процветала на диво всему древнему Востоку, по размерам почти равняясь

современному нам Парижу, золотом и мрамором зданий не уступая Риму, а своими дагобами, воздвигнутыми для хранения священных буддийских реликвий, превосходя пирамиды Египта».

Путешествие на Цейлон длилось с середины декабря 1910 года до середины апреля 1911 года. 14 апреля Бунин писал Горькому, что только что вернулся в Москву [1].

В беседе с корреспондентом газеты «Голос Москвы» Бунин говорил, что относительно странствий у него «сложилась... даже некоторая философия», что он «не знает ничего лучшего, чем путешествия» [2]. Свои путешествия он описывает, по словам Нилуса, «с невероятной роскошью живописных подробностей. Его Палестинские картины разворачиваются как чудесные восточные ковры» [3].

Бунин писал: подобно тому, как старым морякам снится по ночам море,

> ...и мне в предсмертных снах моих
> Все будет сниться сеть канатов смоляных
> Над бездной голубой, над зыбью океана.
>
> *«Зов».*

«Путешествия играли в моей жизни огромную роль» [4],— говорил он.

Четырехмесячное путешествие измотало силы Бунина. Лето он решил провести в деревне, а не под Одессой или в Крыму, как предполагал раньше: на юге он боялся холеры, да и не было бы там того спокойствия и уединения, какие всегда влекли его в Глотово, к родным.

Двадцатого апреля 1911 года он писал Горькому:

«Прочитали кое-что из того, что писалось о «Деревне»... И хвалы и хулы показались так бездарны и плоски, что хоть плачь. А то, что некоторые критики зачем-то о моих ботинках (будто бы «лакированных») говорят, о моих поместьях, мигренях и страхах мужицких бунтов, показалось даже и обидно. Мигрени-то у меня, может быть, и будут, но поместья, земли, кучера — навряд. До сих пор, по крайней мере, ничего этого не было — за всю мою жизнь не владел я буквально ничем, кроме чемодана» [5].

По возвращении Бунина с Цейлона Мария Павловна Чехова просила его написать предисловие к письмам А. П. Чехова, которые она собиралась издать. Переговоры о предисловии закончились письмом Бунина от 25 сентября 1911 года из Москвы к Марии Павловне: «Письма Антона Павловича брал у Сытина и, мгновенно перечитав, снова возвратил ему для набора. Письма восхитительны и могли бы дать материала на целую огромную статью. Но тем более берет меня сомнение: нужно ли мне писать вступление к ним? Крепко подумавши, прихожу к заключению, что не нужно. Ибо что я могу сказать во вступлении? Похвалить их? Но они не нуждаются в этом. Они — драгоценный материал для биографии, для характеристики Антона Павловича, для создания портрета его. Но уж если создавать портрет, так надо использовать не один том их, а все, да многое почерпнуть и из других источников. А какой смысл во вступительной заметке?» [1]

Еще раньше Мария Павловна просила Бунина написать также биографию Чехова для его собрания сочинений, выходившего приложением к журналу «Нива». 27 апреля 1911 года она писала Бунину: «Зимою ездила по делам в Петербург, там П. В. Быков (из «Нивы») просил меня указать, кто бы мог написать для издания Маркса биографию Чехова. Я указала на вас и отвергла предложенного им Айхенвальда. Если бы вы согласились и позволили написать Быкову?!» Бунин ответил 3 мая, что «сообщением о Быкове очень заинтересован, — напишите ему, пожалуйста!». 3 августа Мария Павловна переслала Бунину письмо Быкова и спрашивала: «В чем должно заключаться мое посредничество между вами и Быковым?» Однако биография Чехова Буниным не была написана. «Жаль, — писала Мария Павловна 1 октября 1911 года, — что вы не сошлись с m-me Маркс, конечно, насчет биографии. Очень жаль, я так мечтала, что вы напишете».

В начале мая Бунин с женой уехали в деревню [2], они прожили там три месяца. Иван Алексеевич жаловался на нездоровье. 4 июля он писал Е. И. Буковецкому: «...Работать часто мешает мне сердце: что-то такое делается иногда ночью — и выбивает на сутки из

седла»[1]. Юлий Алексеевич, побывавший у Пушешниковых после заграничных странствий, писал Елизавете Евграфовне 27 июля 1911 года, что Иван Алексеевич и Вера Николаевна, будучи в Глотове, «по целым дням занимались и теперь еще остались там»[2].

Погода не способствовала ни отдыху, ни работе.

«Нас дожди залили, грозы одолели. Хоть караул кричи! А поработать много надо, а в дождь мука для меня работа... Иногда в сад нельзя выйти»[3], — писал Бунин Белоусову 20 июня 1911 года.

Бунин работал в это, по его словам, люто-холодное лето, все же много.

Двадцать шестого — двадцать восьмого июня он написал рассказ «Крик», 3—8 июля — «Древний человек» (первоначально озаглавленный «Сто восемь»). В начале июля была написана им часть повести «Веселый двор». В июле он работал над «Суходолом», который был закончен в декабре (эти даты Бунин указал в заметках для автобиографии[4]). В этот период он написал также рассказ «Снежный бык» (в черновой рукописи датированный 29 июня — 2 июля 1911 г., озаглавлен «Бессонница»). В июле появился в «Русском слове» рассказ «Мертвое море» (позднее озаглавленный «Страна содомская»). Писал Бунин в эти дни и стихи.

Он говорил корреспонденту газеты «Московская весть»[5], что «прекрасная старинная усадьба» как нельзя лучше располагает к «творческой работе. И действительно, все время я посвятил непрерывной и напряженной работе. Буквально за три месяца не вставал из-за письменного стола.

Я привез с собой шесть небольших рассказов и повесть, — произведения, вполне законченные, посвященные описанию жизни современной деревни.

Кроме того, мною написана первая часть большой повести-романа под заглавием «Суходол».

— В чем заключается содержание этого романа?

— Это произведение находится в прямой связи с моею предыдущей повестью «Деревня».

Там в мои задачи входило изображение жизни мужиков и мещан, а здесь...

Я должен заметить, что меня интересуют не мужики сами по себе, а душа русских людей вообще.

Некоторые критики упрекали меня, будто я не знаю деревни, что я не касаюсь взаимоотношений мужика и барина и т. д.

В деревне прошла моя жизнь, следовательно, я имел возможность видеть ее своими глазами на месте, а не из окна экспресса...

Дело в том, что я не стремлюсь описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности.

Меня занимает, главным образом, душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина.

В моем новом произведении «Суходол» рисуется картина жизни следующего (после мужиков и мещан «Деревни») представителя русского народа — дворянства.

Книга о русском дворянстве, как это ни странно, далеко не дописана, работа исследования этой среды не вполне закончена.

Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры.

Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще, и душа их была более типична для русского, чем ее описывают Толстой и Тургенев.

После произведений Толстого и Тургенева существует пробел в художественной литературе о дворянах; нельзя же считаться с книгою Атавы, — которая рассматривает дворянство со стороны его экономического «оскудения», как с художественным произведением.

— Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обусловливается лишь материальным превосходством дворянского сословия.

Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, близко не связана, как у нас.

Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская.

Выявить вот эти черты деревенской мужицкой жизни, как доминирующие в картине русского поместного сословия, я и ставлю своей задачей в своих произведениях.

На фоне романа я стремлюсь дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике.

Эта работа, я предполагаю, составит содержание трех больших частей».

По мнению Горького, дворяне изображены в «Суходоле» с горечью, даже с «гневом» и «презрением». По его словам, «это одна из самых жутких русских книг» [1].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина писала автору настоящей работы 3 апреля 1958 года:

«Совершенно верно, что Суходол взят с Каменки, родового имения Буниных. От Глотова верст двенадцать, но от Озерок версты две, если я не ошибаюсь, их разделяет большая дорога, идущая в Елец. Думаю, что и брак Алексея Николаевича Бунина с Людмилой Александровной Чубаровой, которая жила в Озерках, имении своей матери, произошел потому, что они были соседями, очень близкими. Я была в Каменке, когда дом Пушешниковых был продан. И от имения ничего не осталось. Оно перешло к семье старшего брата Алексея Николаевича, Николая Николаевича, к Петру Николаевичу Бунину и Софье Николаевне Пушешниковой. Вы правы, что и «Суходол» и «Жизнь Арсеньева» не хроника, не автобиография и не биографии, а художественные произведения, основанные на биографическом материале».

В Глотове внимание Бунина привлек стовосьмилетний крестьянин Таганок, которого он изобразил под этим же именем в рассказе «Древний человек». Когда Бунин в начале августа уехал в Одессу, а в деревне случился пожар, Вера Николаевна отправилась вместе с Н. А. Пушешниковым проведать Таганка. Об этом она писала Бунину. В избе Таганка не оказалось. «Подошел сын и, узнав, в чем дело, повел нас,— говорит Вера Николаевна,— на свое гумно, где был Таганок. Мельком я видела его «дом». Не знаю, был ли ты на их гумне? Оно у них очень уютное. За скирдом на соломе сидел Таганок весь в белом и обувал ногу. Рубашка на нем очень грязная, штаны на левом колене продрались... Мы заговорили. Он довольно много говорил, но опять о старом, а о пожаре сказал лишь, что гораздо лучше, если сгорит дом, чем солома и хоботье, ибо бедной скотине нечего больше есть. В этом поддержал его и сын. Затем он все говорил о прежних господах. Сравнивал прежнее житье с настоящим». По его словам, «прежнее

лучше было». Таганок поражал своим «сходством с Толстым»[1].

Вера Николаевна Муромцева-Бунина писала мне в цитированном письме: «Таганок» действительно глотовский крестьянин, и я несколько раз бывала у него и с Иваном Алексеевичем, и одна. Заказала ему рубашку и портки, и он в них был похоронен, а так не надевал,— жалел. Очень был милый человек, кроткий, худой и смиренный. Ему было 108 лет».

Из Глотова Бунин уехал, по-видимому, 6 августа. 5 августа 1911 года он сообщал Юлию, что на следующий день собирается выехать в Одессу через Москву, из Москвы отправится 8-го вечером. А в письме к Белоусову от 31 августа 1911 года Бунин говорит: «Уже три недели я под Одессой. Вера в деревне»[2]. Вера Николаевна осталась заканчивать свой перевод Флобера.

Четырнадцатого и пятнадцатого августа 1911 года В. Н. Муромцева-Бунина писала И. А. Бунину, что вместе с Н. А. Пушешниковым они «были в Каменке (деревне, изображенной в повести под названием «Суходол». — *А. Б.*). Обошли все кругом, где текла мирная, а потом беспокойная жизнь Суходола. На том месте, где был знаменитый сад, теперь коричнево-фиолетовое просо да две-три яблони... Все постарели, многие уже умерли... Да, исчезла Каменка с лица земли, осталась только по ней память в «Суходоле»!»[3].

В Одессе Бунин остановился на Большом Фонтане, на даче у Нилуса и Буковецкого, «по соседству жил С. Юшкевич, наезжал иногда художник Пастернак»[4].

Здесь Бунин писал рассказ из крестьянской жизни «Сила» (датирован 16 августа).

Мария Павловна Чехова звала в Крым, но по нездоровью от поездки пришлось отказаться. 11 сентября он вернулся в Москву.

Бунину надо было по совету врачей «жить зимой в теплых странах», — как писал он Н. С. Клестову 6/19 декабря 1911 года, это давало ему «возможность работать и кое-как быть здоровым»[5]. Зиму 1911/12 года он предполагал провести в Италии, на Капри, куда Бунин отправился вместе с Верой Николаевной и Н. А. Пушешниковым.

Выехали из Москвы вечером 19 октября 1911 года. Иван Алексеевич говорил Пушешникову, что «он никогда не чувствует себя так хорошо, как в те минуты, когда ему предстоит большая дорога» [1].

На следующий день прибыли в Петербург, остановились в Северной гостинице. Бунин звонил по телефону в разные редакции и издательства, побывал в издательствах «Шиповник» и «Жизнь и знание», в редакции «Русского богатства».

Он говорил, что «ни в одном журнале нет такой серой и скучной беллетристики, как в «Русском богатстве» [2]. И этот серый тон — результат того, что журналу придана «слишком определенная политическая народническая физиономия» [3].

Двадцать первого октября уехали из Петербурга в Берлин. Здесь задержались только до следующего дня и отправились дальше, проезжали Виттенберг, Галле, Тюрингию. Осматривали Нюрнберг, где остановились тоже на один день. Бунина восхитила старинная архитектура этого города, особенно знаменитая Lorenzokirche, обошли ее кругом, разглядывали «портал ее, со слоистой аркой двери... с узорно кружевным фронтоном» [4], башню.

Подобно Т. Готье, Бунин страдал «готической» болезнью. Он говорил, сидя в трактире XV века, где подавалось пиво в кружках и кубках, из которых когда-то пили знаменитые уроженцы Нюрнберга — Дюрер, Г. Сакс, В. Фогельвейде, — что ему хотелось бы провести здесь зиму, он мог бы хорошо писать. «Я так люблю эти готические соборы, с их порталами, цветными стеклами и органом! Мы бы ходили слушать мессы в Себальдускирхе, Баха, Палестрину... Какое это было бы наслаждение! Я потому и хотел перевести «Золотую легенду» Лонгфелло, что там действие происходит в средние века. Когда я слышу только «Stabat Mater Dolorosa», «Dies irae» * или арию Страделлы, то прихожу в содрогание. Я становлюсь фанатиком, изувером. Мне

---

* «Стоит Матерь Скорбящая», «День гнева» *(лат.)* — начало католических песнопений. Музыку на «Stabat Mater» написали многие видные композиторы: упоминаемый Буниным итальянский композитор XVI века Джованни Палестрина, затем — А. Скарлатти, Перголези, Гайдн, Россини, Дворжак.

кажется, что я своими собственными руками мог бы жечь еретиков. Эх, пропала жизнь! А каких можно было бы корней наворочать!.. И сколько в мире чудесных вещей, о которых мы не имеем ни малейшего понятия, сколько изумительных созданий литературы и музыки, о которых мы никогда не слыхали и не услышим и не узнаем, будучи заняты чтением пошлейших рассказов и стишков! Мне хочется волосы рвать от отчаяния!»[1]

Им овладевал ужас: «Ничего не охватишь, ничего не узнаешь, а хочется жить бесконечно — так много интересного, поэтического!»[2]

Двадцать пятого октября 1911 года Бунин и Вера Николаевна прибыли в Швейцарию, в Люцерн, остановились в отеле дю Ляк. Осмотрели большой белый дом — отель, описанный Толстым в рассказе «Люцерн».

Бунин сообщал Юлию Алексеевичу из Люцерна 26 октября 1911 года: «...В Берлине пробыли день, в Нюрнберге вечер и ночь — очарованы! Сюда придрали вчера!»[3]

На следующий день ночью приехали в Гешенен; оттуда — в Италию. В Генуе ездили осматривать пароходы в порту, что очень любил Бунин.

Тридцатого октября (12 ноября) 1911 года Бунин писал Юлию Алексеевичу:

«В Люцерне пробыли сутки. Затем ночевали в Гешенене, затем — прямо до Генуи: на озерах туман, ливень. В Генуе ночевали и во Флоренцию. Здесь почти двое суток. Сейчас едем на Капри»[4].

Первого ноября 1911 года прибыли на Капри. Об этом Бунин писал Юлию Алексеевичу 2 ноября:

«Вчера приехали на Капри. Нынче дивная погода. Устроились в отеле»[5].

В отеле «Квисисана» — лучшем на Капри — заняли три комнаты, на третьем этаже, «выходящие окнами в сад и на море, с пестрыми, песочного цвета, коврами на каменных кафельных полах, хорошей мебелью и висячим маленьким балконом»[6]. Направо от отеля «Квисисана» шла дорога Via Tragara — к морю, к «трем скалам, возвышающимся в некотором отдалении от берега, в море»[7].

Шестого ноября 1911 года Бунин писал брату с Капри: «Милый Юлий... На Капри мы уже шестой день, устроились сравнительно дешево и очень, очень уютно,

приятно... С «Шиповника», отсрочившего мне присылку «Суходола» до 15 января, нечего и требовать до этого дня... А что до Краснoперого (прозвище А. М. Горького. — *А. Б.*), то необходимость ходить к нему выбивает из интимной тихой жизни, при которой я только и могу работать, мучиться тем, что совершенно не о чем говорить, а говорить надо, имитировать дружбу, которой нету, — все это так тревожит меня, как я и не ожидал. Да и скверно мы встретились: чувствовало мое сердце, что энтузиазму этой «дружбы» приходит конец, — так оно и оказалось, никогда еще не встречались мы с ним на Капри так сухо и фальшиво, как теперь»[1].

Девятнадцатого ноября (2 декабря) 1911 года Бунин писал Е. И. Буковецкому:

«Живем мы отлично, отель в очень уютном теплом месте, комфорт хоть бы и не Италии впору. У нас подряд три комнаты, все сообщаются — целая квартира, и все окна на юг, и чуть не весь день двери на балконы открыты, слепит солнце, пахнет из сада цветами, гигантским треугольником синеет море... Изредка бываем у Горького — он все за работой, да и мы очень много сидим: Вера и племянник переводят, я правил прежние рассказы — то есть сокращал, выкидывал молодые пошлости и глупости — для нового, дополненного издания первого тома»[2].

На Капри Бунин много писал, по его выражению, жил в «адской работе»[3], «строчил все время, как черт — правил я свои рассказы для издания, Хлюп (прозвище Н. А. Пушешникова. — *А. Б.*) переводит, Вера тоже. Бываем изредка у Горького. Стало, — не сглазить, — легче»[4].

Горький писал Е. П. Пешковой 14/27 декабря:

«Живет здесь Бунин и превосходно пишет прозу»[5].

Вера Николаевна сообщала Ю. А. Бунину 12/25 декабря 1911 года: «Работаем насколько хватает времени. — Стали брать у учителя уроки итальянского языка. Я делаю успехи...

Теперь Ян усиленно редактирует Диккенса»[6].

В заметках для автобиографии Бунин указал даты написанных на Капри рассказов: 28—30 ноября — «Сверчок», в конце ноября — «Хорошая жизнь», в середине декабря — «Смерть», в конце декабря закончил «Веселый двор», начатый в Глотове. Все это он читал

у Горького. «Хорошая жизнь», по словам Веры Николаевны, у «Горького имела большой успех»[1].

Двадцать шестого декабря (8 января) 1911 года в гостях у Горького Бунин познакомился с поэтом А. С. Черемновым, печатавшимся в «Знании». Черемнову было «лет тридцать, — пишет Пушешников, — он болен чахоткой и приехал сюда лечиться, кажется, по приглашению Горького. Это высокий сероглазый, несколько тошно-язвительный человек в пиджаке-блузе с широким поясом. Он помешан на В. Соловьеве, на его стихах, и читал их потом за ужином. Мы сидели рядом с ним, держался он свободнее и непринужденнее, чем все другие русские. У Ивана Алексеевича скоро завязался с ним спор, Иван Алексеевич отрицал значение стихотворного искусства В. Соловьева». Ужин прошел оживленно, произносились тосты. Бунину «Горький пожелал написать две тысячи повестей, вроде «Деревни» и тысячу рассказов вроде «Хорошей жизни»[2].

С Капри Бунин вел переписку с Н. С. Клестовым об организации «Книгоиздательства писателей в Москве» (формально собрание учредителей по организации издательства состоялось 22 марта 1912 года). Он писал Н. С. Клестову 6/19 декабря 1911 года: «Вы затеваете хорошее дело, ибо издатели, и правда, развратились до последнего, развращая и писателей,— меньших, слабейших, конечно,— да, и вообще, столь плохи стали дела в литературном мире, что давно, давно пора писателям подумать хотя бы о некоторой объединенности, подтянутости и осмысленности своего существования, своей работы, своего быта. Не буду говорить о том, что толковали у вас на первом собрании писатели, о том, прошло ли время идеологии,— в одном мы сходимся — «на гвоздях» нельзя идти, ради скандальезных успехов нельзя писать, выдумывание всяческих проблем и половых, и иных — надоело до чертиков, пора писателям о душе подумать — и говорить только то, что она велит вкупе со здравым смыслом и велениями порядочности, благородства, совести и т. д. — да пора и экономически объединяться. Но как это сделать? — вопрос чрезвычайной трудности. Мне из такой дали, будучи занятым по горло и не весьма здоровым, — об этом тоже не толковать. Одно могу сказать — желаю всяческих успехов, обещаю тесно примкнуть к делу, буде оно

разовьется и разовьется в формах для меня приемлемых»[1].

Впоследствии он писал Юлию Алексеевичу, что издательству он «положил основание, всадив в него на первом же шагу его все свое имя и пять томов»[2].

Бунин торопился кончить задуманные произведения: он и Вера Николаевна собирались, пожив на Капри, отправиться в дальнее плавание — обогнуть Азию, добраться до Японии и, пожив там, через Сибирь возвратиться поездом в Москву, с тем чтобы лето прожить под Одессой или в Крыму.

В письме к Юлию Алексеевичу 4 января 1912 года Бунин говорит, что они «отлучались на двое суток с Капри — нужно было купить кое-что да и проветриться немного: ведь два месяца не вставали из-за письменных столов. Были в Неаполе, ездили в Поццуоли,— очень понравилось, вернулись через Помпею и Сорренто... Погода становится прохладнее, бродят мысли: не уехать ли куда потеплее? Да еще есть работа — надо за «Суходол» садиться»[3]. «Суходол» был закончен в декабре 1911 года; по-видимому, в январе Бунин готовил его для отдельного издания.

Вера Николаевна писала Ю. А. Бунину в январе 1912 года: «Мы живем в работе, но как-то так время расположено, что делать успеваешь мало. Были раз в Неаполе двое суток... Один раз были в Сан-Карло, слушали два действия «Дон Паскаля», голоса очень у всех хорошие. Были и в Поццуоли, но ни рыб, ни Воронца (Воронцы — давнишние друзья Бунина. — *А. Б.*) не видали, особенно мне жаль последнее, но Ян был очень уставшим и чувствовал себя плохо, а потому ему трудно было бы вести «дружескую беседу». Для Коли ездили в Помпею, я очень рада, что увидала еще раз, кое-что уяснила, почувствовала прежнюю древнюю жизнь! Всех нас эта поездка очень утомила. — На днях был Александр Александрович Стахович... (член дирекции Художественного театра.— *А. Б.*). Он приезжал якобы просить у Алексея Максимовича пьесу для Художественного театра, был у нас с визитом, пригласил нас с Яном на обед. Говорлив, как все генералы. Много рассказывал о Толстом, Чайковском, Апухтине... У Горьких бываем, да не часто. Зато сошлись с Черемновыми, очень симпатичные люди — мать и сын. При более близ-

ком знакомстве видишь, что он не без таланта, только есть в нем налет Влад. Соловьева, Ян, кажется, начинает к нему относиться хорошо,— а это что-нибудь да значит. — Новый журнал затевается, Ян послал туда свою повесть «Веселый двор» (про Егорку и Анисью, начало он читал нам летом), но кто хозяева и как будет журнал называться, пока не знает. О нем хлопотал Миролюбов и Чернов. Миролюбов прислал три телеграммы и письмо за последние дни, чтобы Ян не медлил» [1].

В феврале 1912 года Бунин закончил рассказ «Игнат». Продолжая письмо Бунина брату от 1/14 февраля, Вера Николаевна писала: «Это правда, что Ян занят по горло. Он увлечен своим рассказом и пишет его в запале. Рассказ — «с щекоткой!»... Мы все много работаем и живем скромно-интеллигентной жизнью. Друг с другом видимся лишь за едой и прогулками. С Горьким у нас отношения холодно-любезные и тяжко-дружеские... Вчера мы были на пиршестве у каприйских крестьян, по случаю свадьбы. Женился садовник Горького» [2].

8/21 февраля 1912 года Бунин прочитал у Горького «Суходол», по свидетельству Пушешникова, повесть очень понравилась и Горькому, и присутствовавшему при чтении М. М. Коцюбинскому [3].

Писатель А. А. Золотарев в воспоминаниях о своем пребывании на Капри в 1911 году передает слова Горького:

«Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, лишится живого радужного блеска и звездного сияния его одинокой страннической души» [4].

Об отношении Горького к Бунину этого периода свидетельствует его письмо И. А. Белоусову, посланное в конце декабря 1911 года: «А лучший современный писатель — Иван Бунин, скоро это станет ясно для всех, кто искренно любит литературу и русский язык!» [5]

В дневнике Пушешникова приводятся записи, свидетельствующие о том, как требователен был Бунин к себе, как часто бывал он недоволен написанным.

«Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем, — приводит Пушешников слова Бунина, — Тургенев тоже был стихотворец прежде всего, и он погубил себя беллетристикой. Для него главное в рассказе был звук, а все остальное — это так. Для меня главное — это найти

звук. Как только я его нашел — все остальное дается само собой. Я уже знаю, что дело кончено. Но я никогда не пишу того, что мне хочется, и так, как мне хочется. Не смею. Мне хочется писать без всякой формы, не согласуясь ни с какими литературными приемами. Но какая мука, какое невероятное страдание литературное искусство! Я начинаю писать, говорю самую простую фразу, но вдруг вспоминаю, что подобную этой фразе сказал не то Лермонтов, не то Тургенев. Перевертываю фразу на другой лад, получается пошлость, изменяю по-другому — чувствую, что опять не то, что так пишет Амфитеатров или Брешко-Брешковский. Многие слова — а их невероятно много — я никогда не употребляю, слова самые обыденные... Не могу. Иногда за все утро я в силах, и то с адскими муками, написать всего несколько строк. Я не знаю, как должен оплачиваться такой анафемский труд. А между тем я получаю по тысяче рублей за лист. И говорят, что это много. Я ехал на пароходе как-то с В. И. Немировичем-Данченко. Он сказал: «Ну что, разве вы, новые, литераторы?! Я пока доеду, здесь на пароходе напишу целый роман». В сущности говоря, все литературные приемы надо послать к черту! Пусть критики едят за это сколько угодно. Иначе никогда ничего путного не напишешь. Может быть, к старости я что-нибудь путное напишу. В сущности говоря, со времени Пушкина и Лермонтова литературное мастерство не пошло вперед. Были внесены новые темы, новые чувства и проч., но самое литературное искусство не двинулось». Чехов в своих лучших вещах стал менять форму, «он страшно рос. Он был очень большой поэт. А разве кто-нибудь из критиков сказал хоть слово о форме его последних рассказов? Никто» [1].

И дальше:

«Я всю жизнь испытываю муки Тантала. Всю жизнь я страдаю от того, что не могу выразить того, что хочется. В сущности говоря, я занимаюсь невозможным занятием. Я изнемогаю от того, что на мир я смотрю только своими глазами и никак не могу взглянуть на него как-нибудь иначе» [2]. Вспоминал Пушешников слова, сказанные ему Буниным, когда они гуляли по лесной просеке вблизи Глотова: «Вот, например, как сейчас, — как сказать обо всей этой красоте, как передать эти краски, за этим желтым лесом дубы, их цвет, от которого изме-

няется окраска неба. Это истинное мучение! Я прихожу в отчаяние, что не могу этого запомнить. Я испытываю мутность мысли, тяжесть и слабость в теле. Пишу, а от усталости текут слезы. Какая мука наше писательское ремесло... В нашем ремесле ужасно то, что ум возвращается на старые дороги... А какая мука найти звук, мелодию рассказа, — звук, который определяет все последующее! Пока я не найду этот звук, я не могу писать. А среди каких впечатлений мы живем! Среди какой мерзости и гнусности!» [1]

Такой же обостренный слух в отношении языка и стиля он находил у Флобера, у которого «не только каждое отдельное слово, но и каждый звук, каждая буква, — по словам Бунина, — имеют значение. Флобер был человек с болезненно обостренным слухом в отношении языка и стиля» [2].

В феврале на Капри к Горькому приезжал Шаляпин, и вечер 1/14 февраля Бунины провели у Горького, слушая его пение и рассказы [3].

Семнадцатого февраля (первого марта) Бунины уехали с Капри. Трое суток пробыли в Неаполе, потом отправились в Бриндизи и далее — к острову Корфу, потом в Патрас, оттуда по железной дороге — в Афины. 23 февраля (7 марта) Бунин сообщал Юлию: «Мы в Афинах. Куда дальше — еще не решили» [4].

Бунин писал Телешову 25 февраля (9 марта) 1912 года: «Мы в Афинах. На пути из Италии я захворал. Теперь ничего. Но очень сбило это мои планы. Да и пропустил я хороший пароход Добровольного Флота, ушедший в Японию. Ждать нового? Не знаю еще, стоит ли» [5].

В Афинах ездили к Акрополю и к могиле Сократа. Долго смотрели на колонны Акрополя, на его фронтоны. Затем отправились в Константинополь.

В Японию не поехали: боялись, что возвратятся в Россию поздно, когда трудно будет снять под Одессой дачу на лето.

В письме к Юлию Алексеевичу В. Н. Муромцева говорит: «...Вы не можете себе представить, какая досада у нас на Миролюбова: из-за него мы пропустили «Ярославль», на котором хотели плыть в Японию»; отправившись позднее, пишет она, «мы вернемся в Москву лишь или в конце апреля, или начале мая. А мы хотим

лето провести под Одессой, снять дачу, а как это сделать за глаза. В мае же дач может и не оказаться»[1].

Двадцать девятого февраля Бунин с женой прибыли в Одессу, остановились в Лондонской гостинице[2].

На «четверге» Бунин читал рассказ «Захар Воробьев» и имел, как писали газеты, шумный успех. О том, что тогда «Иван Алексеевич читал с большим успехом «Захара Воробьева»,— писала мне и Вера Николаевна[3].

Бунин сообщал Юлию из Одессы 4 марта 1912 года:

«Ночной разговор» здесь имеет большой успех. Как в Москве? Ищем дачу... Я бы мог поехать с тобой весной в Палестину.

Страшно жалею, что не поехал в Японию. Не поехать ли? Пароход отходит 15 марта. Будем в Японии в начале мая. А ты сел бы на поезд и приехал во Владивосток, потом в Японию. Пожили бы в ней и вернулись вместе в Россию опять-таки поездом... Здоровье мое так себе. Почка побаливает»[4].

Бунин строил планы поездки в Испанию с Нилусом и Юлием Алексеевичем. Но от этого путешествия пришлось отказаться из-за войны[5].

Бунин был занят подготовкой к изданию своих книг. Вера Николаевна и Пушешников совместно переводили «Грациэлу» Ламартина. В. Н. Муромцева-Бунина сообщала Юлию Алексеевичу из Одессы 24 марта 1912 года: «По целым дням мы работаем с ним (Пушешниковым. — *А. Б.*) над «Грациэлой» — коллективное творчество...»[6] 1 апреля Вера Николаевна и Пушешников выехали из Одессы в Москву, Бунин остался в Одессе еще на месяц.

Одиннадцатого апреля В. Н. Муромцева-Бунина писала Ивану Алексеевичу: «Сейчас я получила вырезки из газет. Очень ругает тебя «Новое время». Кончается так: «От писаний наших венчанных лаврами изящных словесников становится не по себе». Это по поводу «Захара Воробьева»[7]. Реакционная газета в этом рассказе Бунина увидела пасквиль на Россию.

Май и июнь Бунины провели в Глотове, вместе с Юлием Алексеевичем.

Тридцатого мая 1912 года в письме М. П. и А. С. Черемновым, посланном из Глотова, Бунин пишет: «Мы...

работаем не важно... Еще ни единого гроша не заработал я, сидя здесь! Да, есть, впрочем, некоторое оправдание сему: перечитывал, правил книгу своих новых рассказов («Суходол».— *А. Б.*), которую в конце августа выпускает в свет «Книгоиздательство писателей в Москве»...

Посылаю вам еще том моих словосочинений. С трепетом жду отзыва в «Заветах». Поддержите хоть вы — запуган я критиками. Есть милостивые, но есть и свирепые: начинают за здравие: «дивно, красочно, сильно»... и т. д. и т. д. А в конце: «а все-таки барин, погромами запуган»... Больше всех, кажется, Амфитеатров старается: на днях написал в «Одесских новостях», что я «головой выше и Горького, и Андреева, и Куприна», но... но совсем не имею *любви*. Вот и угоди тут! Буду развивать в себе помаленьку и любовь. Да боюсь, что поздно, — ведь слышали? — юбилей мой осенью 25-летний» [1].

В интервью с корреспондентом «Московской газеты» Бунин говорил:

«Критики обвиняют меня в сгущении красок в моих изображениях деревни. По их мнению, пессимистический характер моих произведений о мужике вытекает из того, что я сам барин.

Я хотел бы раз навсегда рассеять подозрение, что никогда в жизни не владел землей и не занимался хозяйством. Равным образом, никогда не стремился к собственности.

Я люблю народ и с не меньшим сочувствием отношусь к борьбе за народные права, чем те, которые бросают мне в лицо «барина».

А что касается моего отношения к дворянству, это можно увидеть хотя бы из моей повести «Суходол», где помещичья среда изображается далеко не в розовых оптимистических красках.

Я протестую, — говорит автор «Деревни», — против искажения критиками моего мировоззрения, моих подлинных взглядов, тем более, что подобные наветы совершенно не соответствуют действительности» [2].

Об этом же он говорил и корреспонденту одной из одесских газет:

«По поводу моей последней повести «Деревня» было очень много толков и кривотолков. Большинство крити-

ков совершенно не поняли моей точки зрения. Меня обвиняли в том, что я будто озлоблен на русский народ, упрекали меня за мое дворянское отношение к народу и т. д. И все это за то, что я смотрю на положение русского народа довольно безрадостно. Но что же делать, если современная русская деревня не дает повода к оптимизму, а, наоборот, ввергает в безнадежный пессимизм...» [1]

Вера Николаевна Муромцева-Бунина писала мне 23 мая 1958 года: «Конечно, «Деревня» и другие рассказы не бытовые, быт там только фон, а главное душа человека, взятая в трагическом разрезе. Как и «Темные аллеи», почти все, что в этой книге,— трагизм любви. Но трудно требовать от людей, которые никогда не бывали в деревне, чтобы они почувствовали то, что чувствовал автор, и то, что для него было самым важным. Боже, какую ерунду приходилось иногда выслушивать... всякий берет от произведения писателя только то, что он сам может воспринять».

Пробыв в конце июня — начале июля несколько дней в Москве, Бунин вместе с женой и племянником 3 июля приехал к Черемнову, жившему с приемной матерью Марией Павловной — в имении Клеевка, Себежского уезда, Витебской губернии.

Вера Николаевна Муромцева писала Юлию Алексеевичу 9 июля 1912 года:

«Скоро неделя, как мы в Клеевке... Удивительно легкие и внимательные люди. Марья Павловна только и думает, как бы всякому сделать приятное. Про себя могу сказать, что я чувствую себя как дома, — нет, даже лучше, ибо здесь нет домашних неприятностей. Мы все занимаемся и довольно много. Местность здесь тем хороша, что после какого угодно дождя можно гулять без страха увязнуть. Местность холмисто-лесистая, есть и озера. Имение очень благоустроенное, чувствуется, что хозяева культурные люди. Да и сами мужики чище, лица определеннее наших. Есть и особая поэзия этого края: в саду живет семейство аиста, коров сзывают рожком, чувствуется Германия даже в самых строениях, крышах, которые с первого взгляда похожи на

черепичные, только из более мелких деревянных кусочков. Коля собирается покупать здесь пять десятин и строиться...

В Москве мы пробыли дня четыре... Ян успел повенчать Олю Шарвину-Муромцеву с Родионовым, они с Митюшкой (Дмитрием Пушешниковым.— *А. Б.)* были шаферами»[1]. Ольга Сергеевна Шарвина-Муромцева — двоюродная сестра Веры Николаевны; Николай Сергеевич Родионов—впоследствии известный исследователь творчества Толстого. О Родионове В. Н. Муромцева-Бунина писала 17 октября 1960 года, получив от меня известие о его смерти:

«До сих пор я не примирилась с уходом от нас Николая Сергеевича... Я очень ценила переписку с ним, всегда рада была получить от него весточку, — ведь с 11 года мы были в дружески родственных отношениях и после такого срока разлуки оказались по-прежнему близки. Я особенно ценю это и до конца дней своих сохраню это в своем сердце».

В Клеевке Бунин работал над корректурой сборника «Суходол» для «Книгоиздательства писателей в Москве». Позднее, будучи в Москве, читала корректуру и Вера Николаевна. Книга вышла в сентябре. За лето Бунин не написал ни одного рассказа, зато написал много стихотворений, почти все те, что вошли в книгу «Иоанн Рыдалец».

Клеевка очень понравилась Бунину — и ее типично белорусский пейзаж, и население. «Население,— писал А. С. Черемнов И. С. Шмелеву 1 июля 1914 года,— типично русское, и И. А. Бунин нашел в нем даже древнекиевские черты (веселие пити, умыкание девиц, порчу снох и житие звериным обычаем)»[2].

Сам Бунин писал Горькому, объясняя, почему он «засиделся» в Клеевке: «Тишина... здесь изумительная— жаль расставаться с ней. И деревни не те, что у нас, и лица лучше: недавно встретил мужика в лесу — настоящий Олег! А ведь по Питерам ходят»[3].

Вера Николаевна уехала из Клеевки в Москву в первой половине августа вместе с Юлием Алексеевичем, заезжавшим к Черемнову после заграничного путешествия. 15 августа туда же отправились и Бунин с Пушешниковым. Через несколько дней он был уже в Гурзуфе, провел там неделю или две и перекочевал в Одессу.

23 сентября 1912 года он писал из Одессы Белоусову: «Нынче еду в Москву» [1].

В Москве Бунин поселился в «Лоскутной» гостинице.

Двадцать седьмого октября торжественно отмечалось двадцатипятилетие литературной деятельности Бунина.

Чествование сперва происходило в зале университета: на заседании «Общества любителей российской словесности» с приветственной речью выступил А. Е. Грузинский; Бунин прочел «один из небольших неизданных рассказов, вызвав восторг своим мастерским чтением» [2], Грузинский огласил постановление об избрании Бунина почетным членом «Общества».

«Русское слово» писало 30 октября: «От старых членов кружка «Среды» юбиляру был поднесен в роскошной папке альбом с портретами всех членов кружка. От друзей и почитателей — красивая серебряная парусная яхта с надписью «Вера», от другого кружка почитателей — аккредитив на 20 000 франков. От Художественного театра юбиляру был передан брильянтовый жетон с изображением эмблемы театра — чайки. От А. А. Карзинкина юбиляру был передан художественно сделанный слон на цветочном плато с изображением экзотического уголка из пальм, мимоз и орхидей. От г-жи Карзинкиной было прислано очень ценное старинное итальянское издание «Божественной Комедии» Данте. От старой «Среды» юбиляру был поднесен портрет Пушкина, от молодой «Среды» — картина-акварель В. В. Переплетчикова».

В литературно-художественном кружке на парадном банкете председательствовал А. И. Южин.

В дни юбилея Бунин получил много приветственных телеграмм и писем. Была получена телеграмма от больного в то время Мамина-Сибиряка и письмо от Горького с Капри.

«И проза ваша и стихи,— писал Горький,— с одинаковою красотой и силой раздвигали пред русским человеком границы однообразного бытия, щедро одаряя его сокровищами мировой литературы, прекрасными картинами иных стран, связывая воедино русскую литературу с общечеловеческим на земле» [3].

Леонид Андреев писал Бунину: «Люблю и высоко ценю твой талант и с радостью присоединяюсь к при-

ветствиям, в которых все русское общество и литература знаменует сегодняшний твой день. Работай на славу. Как твой земляк, орловец, радуюсь за нашу Орловскую губернию и от лица ее лесов и полей, тобою любимых, крепко целую тебя» [1].

От Куприна была получена телеграмма из Гельсингфорса: «Обнимаю дорогого друга, кланяюсь чудесному художнику» [2].

Пришли телеграммы и письма от Короленко и многих других писателей.

Дружески приветствовал Бунина Ф. И. Шаляпин: «Дорогой друг Иван Алексеевич, прими мое сердечное поздравление с торжественным праздником твоей славной деятельности, шлю тебе пожелания здоровья и счастья на многие годы и крепко тебя люблю».

Иван Михайлович Москвин, искусство которого высоко ценил Чехов, писал: «Того, кто правдив, глубок, и прост, нельзя не любить, и я вас очень люблю, дорогой Иван Алексеевич» [3].

Василий Иванович Качалов послал Бунину 28 октября 1912 года восторженное письмо, в котором он называет себя «давнишним и большим поклонником» его таланта — «такого ясного, несомненного, убедительного и привлекающего... Ваш талант,— писал он,— всегда и неизменно будит во мне одно очень важное и дорогое для меня чувство — любовь к жизни. Вы любите жизнь и умеете заразить вашей любовью меня... Какой бы грустью ни наполнились ваши глаза, они все так же пристально и любовно глядят на жизнь» [4].

Радовало Бунина приветствие его давнишнего друга С. В. Рахманинова: «Примите душевный привет от печального суходольного музыканта» [5].

О юбилее критик П. С. Коган говорил корреспонденту газеты «Одесские новости», что «подобного по грандиозности чествования мог удостоиться разве Толстой... Чествование носило бессознательно-демонстративный характер... Академия, университет, ученые и литературные общества, масса учреждений и публики чествовали в лице Бунина носителя идей, противоположных идеям модернизма, писателя, верного классическим традициям нашего реализма,— об этом красноречиво свидетельствовало отсутствие на чествовании представителей недавно господствовавшего направления. Брюсов, открыв-

ший своими стихами российское декадентство, счел даже нужным на юбилейные дни уехать из Москвы,— дабы избежать неловкости,— и ограничился холодной и краткой телеграммой. Все эти факты дают основание думать, что мы возвращаемся к общественно-реалистическому направлению в литературе, что период отчаяния и растерянности ищущих забвения в опьянении фантазии и всякого рода иррационального состояния души приходит к концу» [1].

В эти дни газеты публиковали высказывания Бунина о художественном творчестве, об искусстве, в частности об его отношении к театру.

Почему в его творчестве не отразился театр,— спросил Бунина корреспондент одной из газет.

«Проще сказать, я отвык от театра,— отвечает Иван Алексеевич.— И это правда, что в своем писательстве я прошел мимо него. Ведь я редко заезжаю в Москву, редко хожу в театр. Бывали, конечно, минуты больших сценических впечатлений. Многое волновало, многое оставляло известное впечатление. Но беда в том, что я,— как бы вам сказать? — беда в том, что я знаю «закулисы» театра. Я вижу и замечаю всякую фальшь, всякую неестественность, всю эту театральную условность, которая часто коробит меня. Вот, как в опере: хорошо слушать большого артиста... с закрытыми глазами.

— Но отчего это предубеждение?.. Вы, как чеховский Треплев, против пьес, в которых говорится, как «люди носят свои пиджаки»?..

— Нет, не потому. Я думаю, что и с «пиджаками» можно написать глубокую вещь, если, конечно, не останавливаться на мелочах и частностях, а брать лишь важное и основное в человеческой психике и жизни. И потом еще: я не люблю и не понимаю таких слов, как «новые формы», «соборное действо», «хоровод» и прочее... И эта погоня за «стилизацией» меня часто возмущает и не только в театре (я видел, например, стилизованный античный театр Рейнгардта, и это зрелище казалось мне грубым), но и вообще в искусстве. Стилизация в ее благородном смысле, конечно, законна, да и естественна во всяком подлинном произведении художества. Не стилизована ли разве «Саламбо» Флобера?.. А вся эта подделка под античность — она свидетель-

ствует лишь о дряблости чувств моих современников; она говорит о том, что мы перестали чувствовать настоящую любовь и настоящую страсть; разучились ценить радость жизни, правда, короткой, но полной впечатлениями. Но, разумеется, для этого надо не сидеть на одном месте, а путешествовать, видеть новые страны, жить на море.

— А скажите, Иван Алексеевич, вы когда-нибудь думали о пьесе для театра?

— Да... Часто мне хотелось написать что-нибудь для сцены. Влекла меня и самая форма. Ведь в драме, в ее стремительном, сильном, сжатом диалоге — так многое можно сказать в немногих словах. Тут приходится как бы концентрировать мысль, сжимать ее в точные формы. А это ведь так увлекательно. Вот и сонет поэтому излюбленная моя форма. А как хорошо было бы написать трагедию...

— Вы любите этот род?

— Очень. Тут такой простор для широчайших обобщений, тут так много влекущего. Ведь тут можно дать картину мощных страстей; люди, история, философия, религия — все может быть взято в такой яркой форме... Сколько заманчивого, например, в мысли о трагедии из жизни Будды. Только вот одно останавливает: условности сцены, с которыми надо постоянно считаться...

Наша беседа о театре обрывается. Мы говорим о литературе, о писателях. С упоением цитирует Иван Алексеевич Толстого.

— Вы вспомните, как у него все просто, сильно и глубоко. А ведь он не боялся мелочей, которые могли бы показаться оскорбительными. Наташа вбегает в избу к раненому князю Андрею... Слышен чей-то храп... И вот чудится это гениальное «пити-пити», и все разрастается в целую симфонию человеческой любви и страданья. А ведь этот «храп» за стеной нисколько не помешал... Да, надо быть широким и смелым в творчестве.

— Вы долго еще пробудете в Москве?

— Нет. Я не могу сидеть на одном месте. Жаль, что здоровье не позволяет, а то было совсем налажено кругосветное путешествие. Придется только в Испанию и в Италию поехать... А жаль. Уж очень хороший пароход выходит в ноябре...

И в этих словах чувствуется такая глубокая, страстная любовь Бунина к путешествиям, к морю. И уже кажется понятным, почему этот человек, с восторгом говорящий о 50 днях, проведенных в открытом океане,— почему он холоден и равнодушен к нашей городской суете, к нашим театрам»[1].

Спустя месяц после юбилея Бунины уехали на Капри. 28 ноября (нов. ст.) Иван Алексеевич писал брату: «Второй день в Венеции... Нынче вечером едем в Рим»[2].

На Капри прибыли 16/29 ноября 1912 года. Вера Николаевна писала Ю. А. Бунину 20 ноября (3 декабря) 1912 года: «...Мы на Капри. И очень, очень рады. Ибо устроились более чем хорошо. Нами занято... четыре комнаты... У Горьких были, встретили нас, как всегда, радушно. Много хорошего он говорил об юбилее и, кажется, искренне всем доволен.— Устали мы за дорогу. Да как было и не устать, и Ян и Николай Алексеевич (Пушешников.— *А. Б.*) в Венеции чуть было не свалились, у обоих началось повышение температуры, были приняты экстренные меры: насадились коньяком и красным вином с горячим чаем, принимали соответствующие лекарства. Я очень переволновалась...

Из-за всего этого мы только осматривали дворец Дожей да темницы, а то почти все время просидели, вернее, пролежали в комнатах... Ян каждую минуту мерил температуру... На другой день мы решили ехать на Капри. «Домой, домой, в Вязьму, в Вязьму». И приехав сюда, почувствовали великое успокоение, совсем как дома... Ян очень волнуется (из-за болезни Пушешникова.— *А. Б.*)... и тоже чувствует себя слабым, но это и понятно,— он ведь очень устал за последний месяц... Здесь много русских, начала кипеть жизнь, устраиваются рефераты о Дарвине и на литературные темы. Положено начало библиотеки, одним словом, и у нас есть Художественный кружок»[3].

На Капри первые дни, по нездоровью, Бунин и Вера Николаевна оставались дома, их навещали Горький и Е. П. Пешкова (М. Ф. Андреева уехала с Капри 29 октября /11 ноября). «Во время нашей болезни,— говорит В. Н. Муромцева-Бунина в письме к Ю. А. Бунину 29 ноября (12 декабря) 1912 года,— Горькие были очень внимательны, почти ежедневно бывали у нас, приносили цветов... Ян занимается пока все еще ответными пись-

мами. Настроение, не сглазить, у него ровное... Вчера он купил мне Taine, «Voyage en Italie. Naples et Rome». Я начала читать и восхитилась стилем. Вот простота! Я до сих пор никогда не читала этого автора» [1]. Этот отзыв о книге, видимо, является в какой-то мере выражением и мнения Бунина.

Николай Алексеевич Пушешников записал в дневнике об этих днях: как и в прошлый приезд сюда, «опять началась та же размеренная жизнь. Ежедневные свидания с Горьким, который на этот раз неизменно ласков и радушен» [2].

Бунин, как всегда на Капри, много писал,— подчиняя работе весь распорядок жизни. По его образному выражению, «исписал ведро чернил» [3]. В декабре он «написал две вещи: очерк, который появится в «Русском слове» 25 декабря, и еще рассказ про ястребов,— писала Вера Николаевна 17/30 декабря 1912 года Ю. А. Бунину.— Теперь он стал еще над чем-то работать, да над чем, не говорит. Он чувствует себя сносно, сравнительно настроение ровное...» [4].

Двадцать седьмого декабря Бунин закончил и послал в «Современник» рассказ «Преступление». В январе 1913 года им были посланы в «Вестник Европы» рассказы «Вера» (потом озаглавленный — «Последнее свидание») и «Князь во князьях». 30 января (12 февраля) 1913 года он послал в «Русское слово» рассказы «Будни» и «Личарда», 6/19 февраля газете «Речь» — рассказ «Последний день».

До марта были также отосланы: «Рана от копья» — в газету «Русская молва», «Иоанн Рыдалец» — в «Вестник Европы», «Илья Пророк» — в «Современный мир»; 1/14 марта отправил рассказ «Худая трава» в «Современник»; «Весна» была послана в «Речь».

В марте же Буниным был написан рассказ «При дороге».

Прочитав его немного позднее в сборнике «Слово», Шмелев писал Бунину 21 сентября 1913 года:

«...Прочел я рассказ ваш «При дороге», не дотерпел. Чудесно, любовно, чисто, целомудренно»... Осквернили тело девушки, но она «чиста, как чист остается бегущий ключ, в который проходом сплюнул пьяный похабный солдат. И немая безвольность, и любовный восторг оскверняемой, не сознающей себя чистоты, небо, кото-

рое не заплюешь, и стихийное чувство сопротивления и ужас полусознания... Чудесно. И мучительно, и славно. Радостно, что протест и протест бессознательный»[1].

В отзыве на рассказ «При дороге» В. Л. Львов-Рогачевский особо подчеркивал, что художник заставляет читателя любить жизнь, хотя повествуется в нем о событиях очень грустных,— «трепещущий поэзией очерк...— писал он,— написан со строгой сдержанностью, недосказанностью, его не читаешь, а жадно пьешь строка за строкой и, кончив, долго не можешь успокоиться, долго сидишь, как очарованный»[2].

16/29 января 1913 года приехал с вечерним пароходом Л. Н. Андреев из Неаполя «и прямо же с пристани проехал к Горькому»[3],— писал в дневнике Пушешников. Бунин виделся с ним в тот же вечер у Горького и на следующий день у себя дома. Впечатление осталось тягостное. «Был четыре дня Леонид,— писал Бунин брату,— два из них пил, вломился ко мне пьяный, целовал руки и, как последний хам, говорил мне дерзости. Злоба, зависть — выше меры. Я не провожал его»[4].

Тогда же приезжал на Капри Шаляпин, он пригласил Бунина к себе на обед. После обеда Шаляпин читал пушкинского «Дон-Жуана» и отрывки из «Моцарта и Сальери». В свою очередь и Бунин устроил обед в честь Шаляпина. В 1938 году он вспоминал:

«После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание»[5].

Первого марта 1913 года Бунины переехали в новый отель, на Анакапри, который находится высоко над морем, на скале. «Быт отеля,— по словам Пушешникова,— отличается от быта в Капри. Когда спускаешься в городок Капри, то всегда испытываешь приятное ощущение — здесь веселее, жарче, легче, обратно подниматься уже не хочется.

Иван Алексеевич недоволен всем и раздражен. Читал своих два новых рассказа Горькому. Один ему, видимо, не понравился, но другой... довел его до слез. Во время чтения вставного четверостишия Горький заплакал, встал и стал ходить:

«Вот черт его дери! — и как бы стыдясь: — Вот и Тургенева не могу читать — реву» [1].

Рассказ, восхитивший Горького,— «Лирник Родион», о народном певце, певшем «псальму про сироту», которого слышал Бунин в молодости, во время путешествия по Украине в 1896 году. Рассказ был написан в марте. В автографе указана дата: «28 февраля (13 марта) 1913 г. Анакапри» [2]. 11/24 марта Бунин послал его редактору газеты «Русское слово» Благову, где он был опубликован.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина писала Юлию Алексеевичу 28 февраля (13 марта) 1913 года: «В Анакапри устроились прекрасно, у нас с Яном две хорошие комнаты с прекрасными видами. Из одних окон видна гора Монте-Соляро с замком Барбаросса, из другого — вид на залив, Везувий, гору Тиберия и т. д. Отель очень старинный, комфортабельный, хозяин его — сын адъютанта Гарибальди. Кухня лучше Quisisan'ской. Комната Николая Алексеевича (Пушешникова.— *А. Б.*) этажом выше, тоже большая, смотрит на гору и замок... Ян еще рассказ посылает в «Современник», по-моему, очень хороший, о больном мужике. Как он умирает. Описана там и Анюта-дурочка («Худая трава».— *А. Б.*). Написал он рассказ про святого «Иоанна Рыдальца», Горький с Золотаревым обалдели от этого рассказа» [3].

О Бунине Горький писал, по-видимому в 1913 году, неизвестному лицу: «...Я решительно протестую против вашей оценки трудов и значения И. А. Бунина,— извините меня, но я должен сказать, что эта оценка унижает вас, а многоточие, поставленное вами перед словом «писатель», оскорбительно для меня, ибо я считаю И. А. Бунина именно писателем не менее талантливым, чем А. П. Чехов, и более культурным, чем последний.

Можете быть уверены, что в близком будущем это мнение станет общим мнением всех, кто умеет любить и ценить русскую литературу» [4].

В письме с Анакапри Ю. А. Бунину 19 марта (1 апреля), исправленном и дописанном Иваном Алексеевичем, Вера Николаевна говорит о Горьком и Е. П. Пешковой:

«Отношения с ними нежные. Предлагали поселиться у них, — вообще дружба! Мне очень нравится Екатерина Павловна. Интересный и благородный человек!..

Псальма про сироту.

~~Я эту псальму, эту~~ [redacted] ~~южно-русскій сказъ слышалъ въ херсонскихъ плавняхъ, въ~~ [redacted] ~~низовьяхъ Днѣпра, въ темной и темной весенній вечеръ давно, въ молодости.~~ [redacted]

Сказывалъ ее мнѣ лирникъ Родіонъ, молодой нищій изъ-подъ Кіевскаго города Василькова, рябой слѣпецъ, (странствовавшій безъ поводыря) куда Богъ на душу положитъ — отъ Сулы, отъ Лубенъ до Умани, отъ Хортицы до гирлъ, къ лиманамъ...

Изъ конца въ конецъ Малороссіи странствовалъ и я въ ту весну. Весна выдалась ранняя, зеленая. На сѣверѣ она была ясная, прохладная, съ звонкими „суховіями", съ изумрудомъ озимей, съ голыми метлами хуторскихъ тополей, далеко видныхъ среди степныхъ равнинъ, гдѣ, какъ въ морѣ, были малы и терялись люди, пахавшіе на волахъ подъ яровое. А на югѣ тополя уже одѣлись, зеленѣли и церковно благоухали: пробѣгали надъ ними первыя апрѣльскія грозы. Розовымъ цвѣтомъ цвѣли сады, празднично блестѣли большія старинныя села, цвѣтисто наряжались молодыя казачки: еще недавно смолкъ кіевскій пасхальный звонъ, на травѣ подъ вѣтряками еще валялась скорлупа крашеныхъ яицъ.

Въ гирлахъ (было днемъ) знойно, много стрекозъ вилось надъ очеретомъ, много „скигило" рыбалокъ, отражавшихся въ серебристыхъ разливахъ теплаго, весенняго Днѣпра. Теплы и темны были ночи.

В Испанию не едем, капитала не хватает. Ограничимся Италией, и если весна будет ранняя, то Швейцарией и Германией. Яну очень хочется возвращаться морем — манит Одесса, Греция... «Шиповники» говорят, чтобы я рукопись (перевод из Флобера, сделанный В. Н. Муромцевой-Буниной.— *А. Б.)* посылала им, а Ян только прочел 70 стр. из 520, а главное, я вижу, что он не может быть редактором, ему некогда и не любит он этого дела»... [1]

Бунины побывали в Солерно — в городе, который стоит на берегу залива того же названия. Из Солерно поехали на извозчике до Амальфи, где в капуцинском монастыре когда-то жил Лонгфелло. Во время прогулки к морю Бунин, сидя у самой воды, читал стихи Лонгфелло. Он говорил:

«Вот мы видим море, скалы, оливки, мирт и лавры. При чем тут фавны, сатиры, пан... наяды, сильваны, таящиеся якобы в гротах, как это будто бы чувствуют все поэты и чувствует будто бы Лонгфелло. Все это ложь и вздор. Никто из поэтов этого никогда не чувствовал и не чувствует. Как всегда — я это твержу постоянно — в искусстве не лгал только один Толстой» [2].

В этот приезд Бунин прожил на Капри с ноября 1912 по апрель 1913 года; 11/24 марта он писал Юлию Алексеевичу: «Отсюда, верно, уедем через неделю» [3], а 4 апреля нов. ст. (дата почтового штемпеля на письме) извещал А. Е. Грузинского: «Завтра покидаем Капри» [4]. В письме 3/16 апреля он сообщал Юлию Алексеевичу, что «вчера приехали в Вену. Завтра, послезавтра думаем выехать отсюда — может быть, через Одессу. Хочется проехать по Дунаю — иду наводить справки» [5].

В начале апреля они возвратились в Россию.

Бунин поселился на весну и лето в Одессе, остановился в «Лондонской» гостинице, жена отправилась в Москву к родителям. 14 апреля Вера Николаевна писала Бунину: «Вторая неделя пошла, что мы с тобой расстались» [6]. Для переговоров об издании своих сочинений Бунин ездил в начале мая в Петербург, а оттуда — в Москву.

С 12 мая Бунин и Вера Николаевна жили под Одессой, на Большом Фонтане (дача Ковалевского); ждали сюда Юлия Алексеевича, который хотел провести с ними месяц — полтора. 14 мая 1913 года младший брат писал ему: «Мы третий день на даче — у нас поразительно

хорошо. Наняли повара с женой — горничной. Приезжай поскорей»[1].

В тот же день он писал Горькому:

«В Москве огорчен был футуристами. Не страшно все это, но, боже, до чего плоско, вульгарно — какой гнусный показатель нравов, пошлости и пустоты новой «литературной армии»! На «Среде» я два раза сделал скандал — изругал последними словами Серафимовича, начавшего писать à la Ценский, что ли (слияние с космосом), какой-то мещанин, «торгующий козлятиной»... (часть природы) и несущий чепуху, и горы Кавказа, «стоящие непреложно», изругал поэтессу Столицу, упражняющуюся в том же роде, что и Клюев... Чествования Бальмонта, слава богу, не видал. Устроено это чествование было исключительно психопатками и пшютами-эстетами из литературно-художественного кружка, а он-то заливался:

Я пою мой стих заветный,
Я не крыса, я не мышь!»[2]

В этот период Бунин, по-видимому, начал работать над рассказом «Чаша жизни». Во всяком случае, 26 мая 1913 года в газете «Русское слово» был напечатан отрывок из этого рассказа, озаглавленный «Отец Кир». Завершил рассказ 2 сентября этого года.

О работе над «Чашей жизни» он рассказывал много лет спустя Г. Н. Кузнецовой:

«— Ведь из чего иногда создается то блестящее, что так восхищает? — говорил он.— Из какого жалкого, пустяшного оно большей частью выходит!

— А из чего создалась у вас «Чаша жизни»? — спрашиваю я, вспоминая только что прочитанные вслед за «Студентом» отрывки из нее.

— То, что у каждой девушки бывает счастливое лето — это, между прочим, вспомнилась сестра Машенька. Перед замужеством она все выходила в сад, повязывала ленточку, напевала лезгинку. И после замужества, когда на год оставила мужа, помощника машиниста, то тоже как-то повеселела, часто ездила на заводы в соседнее именье Колонтаевку, там была сосновая аллея, как-то особенно пахло жасмином в то лето... Эту аллею я взял потом в «Митину любовь», и так все это было жалко и горестно! А мордовские костюмы носили ба-

рышни Туббе, и там же был аристон, и опять эта лезгинка... Отец Кир? Отец Кир... это от Андреева. Ведь он мог быть таким, синеволосый, темнозубый... А кое-что в Селихове — от брата Евгения. И он тоже купил себе граммофон, и в гостиной у него стояла какая-то пальма. А главное, отчего написалось все это, было впечатление от улицы в Ефремове. Представь песчаную широкую улицу, на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность... От одного этого ощущения, мне кажется, и вышла «Чаша жизни». А юродивого я взял от Ивана Яковлевича Кирши.

— Кто это?

— Его вся Россия знала. Был такой в Москве. Лежал в больнице и дробил кирпичом стекло. И день и ночь, так что сторожа с ума сходили. И когда он спал, неизвестно! И вот валил туда валом народ, поклонницы заваливали его апельсинами, а он жевал их, выплевывал и прямо в поклонницу,— в какую попадет, та считает себя особенно отмеченной и счастливой. Когда он умер, везли его через весь город, он долго стоял в кладбищенской церкви. Я себе очень хорошо представляю это: осень, листья в лужах, ледяная кладбищенская церковь, и он все стоит, и его не могут похоронить, потому что церковь осаждают пришедшие поклониться... Да, да, и было это всего семьдесят лет назад. Да вообще у нас в России такие вещи бывали... И дурак я, что не написал жития этого «святого». У меня и матерьялы все были.

— Да напишите, как рассказываете!

— Нет, это не то. Там стихи его были. Да и надоело мне это. Я в этом роде уже писал.

— А как разно сложилась жизнь, ваша и Маши,— сказала я.— Вы объездили полмира, видели Египет, Италию, Палестину, Индию, стали знаменитым писателем, а она никогда никуда не выезжала из России, не была ни в одном большом городе, вышла замуж за помощника машиниста...

— Ужасно! Ужасно! И вот есть какое-то чувство виноватости перед ней. Жизнь страшна, непонятна. Вот я сажусь в кавказский экспресс, идущий на Баку, а он такой, каких, наверное, и у английского короля нет: стекла саженные, весь какой-то литой, блиндированный, в первом классе желтые кожаные сиденья... и вот станция Грязи. Я схожу, встречает меня муж сестры Маши,

рвет из рук чемодан и почтительно и родственно вместе с тем, улыбается, целуется... И вот идем мы через буфетный чертог, и все поглядывают... Все знают, что этот господин зять здешнему помощнику машиниста. И так идем через местечко, и все тоже смотрят, все знают... И так приходим в домик... А там Маша, нервная, худая, часто курящая, и двое детей, жалких, большеухих, как котята какие-то. И мамочка живет с ними... Ах, страшна жизнь!

А ночью чуть горит прикрученная лампочка, и из комнаты, где я сплю, слышно, как вдруг, сев со сна на постель, громко расплачется, зальется ребенок: «Бабушка!..» — и сейчас же сонное шлепанье ее ног и шепот... А потом она закуривает над лампой, и фитиль вспыхивает, вскинется наверх...

— Ах, знаю, знаю эту жизнь! Видела в Смеле, в Здолбуново!

— Здолбуново, Смела, все это юг, там тополя, белые дома, а тут грязное пыльное уныние... Но не надо, однако, представлять себе эту жизнь чрезмерно ужасной. Днем Машенька, бывало, весела, напевает, а вечером я накуплю всякой всячины, вина, сыров, сардин великолепных, она выпьет, да возьмет гитару, да сядет в каком-нибудь мягком платке на плечах, да начнет что-нибудь по-отцовски... Она умница, талантливая... и вполне сумасшедшая, конечно. А то, бывало, пойду на вокзал, спрошу себе бутылку красного, сяду, лакей подает — и косится... Все знают, что этот отлично одетый господин приехал к помощнику машиниста. А иногда и Машенька придет со мной в бархатной шубке такого какого-то рытого бархата... Ах, как все это страшно и жалко...

Говорил он все это изумительно, медленно, как будто видя перед собой, и так, что у меня сердце сжималось от жалости...

— Все это непременно надо написать,— сказал я.

— Как это написать? Страшна, сложна моя жизнь. Ее не расскажешь,— грустно твердил он...» [1]

Прототипом Горизонтова отчасти послужил, по устному свидетельству писателя С. И. Малашкина, преподаватель духовного училища в городе Ефремове. Подобно герою рассказа, он обычно ходил с парусиновым зонтом и в калошах, купался летом и зимой в Красивой Мечи и продал свой скелет для анатомических целей.

В одном из автографов, датированном: «31 августа 1913»[1] — имя этого персонажа не Горизонтов, а Высоцкий. Заглавие рассказа Бунин нашел не сразу. В этом автографе он озаглавлен «Дом», чем подчеркивалось значение эпизода, в котором раскрывается черствость души состарившегося Селихова, не желавшего перевести на Александру Васильевну дом, чтобы в случае своей смерти обеспечить спокойное существование жены. В позднейшей рукописи, датированной: «2 сентября 1913»[2] — Бунин назвал рассказ «В Стрелецке», но и это заглавие зачеркнул и написал «Чаша жизни».

В мае 1913 года Бунин заключил договор с «Нивой» на издание его «Полного собрания сочинений» в качестве приложения к журналу. Для этого издания он в Одессе просматривал и правил все им написанное. По договору он получил значительную сумму — 25 тысяч рублей.

Двадцать пятого мая приехал к И. А. Бунину в Одессу Юлий Алексеевич, 28 мая он писал Елизавете Евграфовне: решили на днях «поплавать по Черному морю или по Дунаю с заходом в разные места. Продолжится это недолго — всего недели две. Затем вернемся сюда и будем понемногу заниматься»[3]. Братья побывали в Батуме, Трапезонде, Керасунде, Инеболи, Самсуне, Константинополе, Констанце, Бухаресте, Яссах и Кишиневе. Об этом плавании Бунин упоминал в заметках «Происхождение моих рассказов»[4].

По возвращении Бунин очень много работал. 29 июля 1913 года он писал из Одессы Белоусову:

«...Я работаю последние годы вдесятеро больше прежнего и — в отчаяние прихожу, как коротки дни и годы!.. Строчу и читаю я,— больше, конечно, чем строчу, и все далеко не пустяковое, не просто для времяпрепровождения,— буквально с утра до вечера, а отдыхаю и гуляю с обалделой головой»[5].

Летом 1913 года Бунин намерен был приняться за статью о Лермонтове, для Полного собрания сочинений в шести томах, издаваемого к столетию поэта. Об этом просил Бунина письмом от 18 июня 1913 года редактор сочинений Лермонтова В. В. Каллаш. О статье Бунина сообщалось в печати[6]. Однако она не появилась.

Позднее, в эмиграции, он хотел написать книгу о Лермонтове, но не осуществил и этого намерения. Л. Ф. Зуров писал мне 29 июля 1965 года:

«Иван Алексеевич мечтал написать о Лермонтове, но это, к величайшему сожалению, так и осталось мечтою. Он читал собрание сочинений Лермонтова (берлинское издание) и два томика Вересаева (описка: не Вересаева, а П. Е. Щеголева «Книга о Лермонтове».— *А. Б.)*. Вера Николаевна начала делать (по указанию Ивана Алексеевича) из этих книг выписки, но из-за дурного состояния здоровья Ивана Алексеевича работа остановилась. В архиве находится небольшая тетрадка с сделанными Верой Николаевной выписками»[1].

Марк Александрович Алданов вспоминает о своей беседе с Буниным за три дня до кончины Ивана Алексеевича:

«Я всегда думал, что наш величайший поэт был Пушкин,— сказал Бунин,— нет, это Лермонтов! Просто представить себе нельзя, до какой высоты этот человек поднялся бы, если б не погиб двадцати семи лет». Иван Алексеевич вспоминал лермонтовские стихи, сопровождая их своей оценкой: «Как необыкновенно! Ни на Пушкина и ни на кого не похоже! Изумительно, другого слова нет»[2].

В сентябре Бунин написал рассказ «Я все молчу». Об этом В. Н. Муромцева-Бунина сообщала Е. А. Телешовой 19 сентября 1913 года: «Ян работает, написал два мрачных рассказа, один прочтете в «Русском слове» на днях, а другой, вероятно, услышите, в его исполнении, ибо печататься он будет в ноябре в «Вестнике Европы»[3]. Рассказ был опубликован в этом журнале в декабре.

Бунин прожил под Одессой почти весь сентябрь. В последних числах сентября он был с женой в Москве, они остановились в гостинице «Лоскутная». М. Ф. Андреева писала Горькому 29 сентября из Москвы: «Видела вчера В. Н. Бунину... Иван Алексеевич звонил мне по телефону...»[4]

Шестого октября 1913 года отмечался юбилей газеты «Русские ведомости».

Выступавшие на юбилее в «Литературно-Художественном кружке» ораторы говорили об усилении реакции

и о «последних судорогах умирающего строя». Со страстной речью выступил Бунин[1]. Представитель полиции закрыл собрание и предложил разойтись с банкета. В общей толпе, окружившей пристава (Строева), у Бунина произошел с ним следующий диалог:

«— Позвольте мне допить бутылку вина.

— С кем имею честь говорить? — спрашивает пристав.

Бунин вынимает визитную карточку:

— Почетный академик императорской Академии наук Иван Алексеевич Бунин.

Представителю полиции в это время показалось, что Бунин дернул его за рукав, хотя при такой давке, которая была около Строева, трудно было не задеть его.

— Не угодно ли вам следовать за мной?— предложил Строев.

— Нет, вы следуйте за мной,— ответил Бунин.

Строев идет докладывать об инциденте по телефону градоначальнику и возвращается с двумя помощниками пристава и околоточным надзирателем.

Бунину предлагается отправиться в отдельный кабинет для составления протокола...»[2] Свидетель — академик Овсянико-Куликовский.

Бунин отказался подписать протокол, дело затянулось, и только в пятом часу утра он уехал домой. Протокол по «делу И. А. Бунина» был направлен в суд, который, однако, не состоялся. В Государственной думе был сделан запрос о нарушении закона закрытием собрания на юбилее «Русских ведомостей».

В своей речи на юбилее Бунин говорил об упадке литературы и понижении литературных вкусов со времени расцвета в ней декадентских течений. «Исчезли,— сказал он,— драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота — и морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык...» За последние годы,— продолжает он,— публика и писатели были свидетелями «невероятного количества школ, направлений, настроений, призывов, буйных слав и падений»,— пережили «и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию — называвшуюся разрешением «проблемы пола», и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анар-

хизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и снобизм, и «приятие мира», и «неприятие мира, и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм... Это ли не Вальпургиева ночь!»

В «Одесском листке» отмечалось, что Бунин намекал на Л. Андреева, Мережковского, Гиппиус, «получил свой удар и Арцыбашев наравне с Вербицкой»[1].

Аудитория, как определил Бунин — «цвет русской интеллигенции, съехавшейся со всех концов России»,— прерывала его выступление бурными аплодисментами.

Речь вызвала многие полемические и враждебные отклики в печати. Писатель А. С. Ауслендер назвал выступление Бунина «огульной хулой литературной современности»[2] и защищал писателей-модернистов. Обрушились на Бунина Бальмонт, Арцыбашев, Балтрушайтис. В ответ на их выступления Бунин в интервью корреспонденту газеты «Голос Москвы» опроверг и остроумно высмеял их доводы в защиту декадентства и их нападки на него[3].

Современники отмечали, что целым событием явилась речь Бунина, «с его страстным отрицанием дутого модернизма и саморекламирующейся бездарности. Слово, сказанное Буниным, надо было сказать давно. Но что именно теперь и так оно было сказано,— тоже чрезвычайно хорошо... В речи Бунина мы наконец встретились с накопившимся чувством...»[4]. Эта «реабилитация здравого смысла от наскоков преходящей моды была как нельзя более у места»[5].

О тех временах И. Соколов-Микитов пишет в своих воспоминаниях:

«Запоем читали Леонида Андреева, писавшего «страшные» рассказы и пьесы. В ходу был арцыбашевский «Санин», зачитывались писателями модными, нарасхват шли романы Вербицкой, Нагродской. Читали Ницше, других модных философов.

Времена были нездоровые, нередко стрелялась молодежь. Шумели декаденты и символисты. Литературный Петербург соперничал с Москвою. Студенты и курсистки сходили с ума, слушая Бальмонта, Белого, Брюсова. Уже появлялись одетые в желтые кофты футуристы и даже «ничевоки». При переполненных залах пел свои стихи Игорь Северянин, нарядно одетый ломавшийся человек. Некоторые писатели открыто проповедовали со-

домский грех, бесцеремонно величали себя гениями, умело, впрочем, устраивая свои житейские дела и делишки. На художественных вернисажах выставлялись картины «кубистов» и прочих «истов», мало чем отличавшиеся от произведений современных «абстракционистов».

В это печальное и больное время духовного распада, предшествовавшего трагедии первой мировой войны, лишь отдельные писатели продолжали идти прямым пушкинским путем. Одним из этих писателей был Бунин.

В речи, сказанной на юбилее газеты «Русские ведомости», он говорил о падении художественных вкусов, о торжествующей пошлости. «Все можно опошлить, даже само солнце!» — так сказал с горечью Бунин»[1].

Двадцать седьмого октября 1913 года Бунин участвовал в чествовании И. Е. Репина, по случаю реставрации его знаменитой картины «Иван Грозный», которая была испорчена душевнобольным посетителем Третьяковской галереи. На собрании художников и литераторов в гостинице «Княжий двор» выступил Бунин[2]. Вечером следующего дня он присутствовал на банкете в «Праге», которым закончилось чествование Репина[3].

В первых числах ноября, чувствуя себя крайне усталым, Бунин отправился на юг, в Кисловодск, месяца на полтора. Но в Кисловодске он простудился и 15 ноября возвратился в Москву.

В начале декабря он побывал в Петербурге, числа 5-го приехал в Москву.

Двенадцатого декабря Бунин выступил с речью на вечере, посвященном сорокалетию литературной деятельности крестьянина-поэта С. Д. Дрожжина. Выступали также И. С. Шмелев, В. И. Немирович-Данченко, П. Н. Сакулин, А. Е. Грузинский, Н. Д. Телешов и др.

В конце 1913 года вышел сборник, объединявший рассказы и стихи Бунина 1912—1913 годов «Иоанн Рыдалец», который вызвал восторженные отзывы критики[4].

По словам критика В. П. Кранихфельда, книга «Иоанн Рыдалец» «так богата содержанием, так полна интереса, что просто теряешься, как и подойти к ней». Удивителен «мощный язык Бунина, достигшего в последних его произведениях неподражаемой красоты и четкости... его чудодейственная способность поднимать в

мир поэзии самые, так сказать, будничные явления жизни... Среди наших современных художников, оторвавшихся от жизни и населивших мир своей фантазии какими-то отвлеченными категориями и бесплотными призраками, Бунин представляет одно из редких и счастливейших исключений. Он цепко держится за корни жизни и, питаясь их целебными соками, продолжает неизменно расти в своем здоровом творчестве, сближающем его чеканные произведения с лучшим наследием наших классиков» [1].

Эта заметка тронула Бунина «дружелюбным и внимательным отношением к автору, которое чувствуется в ней и которое так редко теперь» [2],— писал он Kранихфельду 9 декабря 1913 года.

В письме к Бунину 5 июля 1913 года И. С. Шмелев говорит: «...Пишу вам. Захотелось сказать, что тоскую по работам вашим. Нового хочется, еще и еще хочется. Читаешь — и черт возьми,— и навоз пьешь с наслаждением, да, да! Тоскуешь — болеешь, а пьешь иногда с жутким и горьким наслаждением. Дай же вам бог — есть он, есть, ибо вы его носите,— так же крепко и нежно и больно творить! Знаете, иной раз заглянешь в нутрь глубокую, слеза набежит, и редко, редко что есть еще ценнейшее в жизни — наше искусство и наше родное крепкое, нежное и всеобъемлющее слово. И рад, что ему служите вы и что вы — есть» [3].

Горький писал Д. Н. Семеновскому о сборнике «Иоанн Рыдалец»: «Посмотрите, какая строгость, серьезность, какая экономия слова и любовь к нему» [4].

Горький, как сообщает А. А. Золотарев, говорил Бунину:

«Иоанн Рыдалец», как это просто, прекрасно, правдиво рассказано вами. Это вы, это я, это все мы, вся русская литература рыдает денно и нощно, оплакивая злодеяния своих иванов грозных, не помнящих себя в гневе, не знающих удержу своей силе. Вот мне бы хоть один такой рассказец написать, чтобы всю Русь задеть за сердце. Какой счастливец стал бы я» [5].

С конца декабря 1913 года Бунин с женой и Н. А. Пушешниковым поселились на Капри. Горький уехал 27 декабря в Россию.

И эту зиму прожили они в гостинице «Квисисана». Здесь уже были Черемновы и встретили своих друзей весьма радушно.

Из литераторов после отъезда Горького, в его доме остались жить — И. Е. Вольнов и И. П. Ладыжников.

Зима 1913—1914 годов, проведенная в Италии, была для Бунина весьма плодотворной. В январе он написал рассказы «Святые» и «Весенний вечер» [1], в феврале закончил «Братья», начатые, по-видимому, предыдущим летом. 9 февраля начал рассказ «Пост» (черновой автограф, хранящийся у К. П. Пушешниковой и озаглавленный «Великий пост», датирован: «Капри. 9. II. 1914. Глотово. 27. XII. 1915»). Шесть стихотворений, написанных в разное время («Псковский бор», «Причастница», «При свече», «Купальщица», «Норд-ост» и «Отчаяние»), было напечатано в феврале в журнале «Северные записки». Рассказ «Клаша» и стихи «Тора», «Новый завет», «Магомет и Сафия» помечены: «Рим, 24 марта, 1914». К марту относятся также стихи «Господь скорбящий», «Плач ночью» и «Иаков», опубликованные тогда же в газете «Русское слово».

Последние годы явились для Бунина как бы оправданием справедливости слов, выписанных им из Бодлера: «Чем больше работаешь, тем лучше работаешь и тем сильнее хочется работать. Чем больше творишь, тем становишься производительнее» [2].

Рассказ «Братья» написан на основе наблюдений, которые дала Бунину поездка на Цейлон. В раннем варианте рассказа «Третий класс», называвшемся «Записные книжки», он отметил высокомерно-презрительное отношение англичан к жителям колонии. В частности, он писал: «В Коломбо я глазам своим не верил, видя, как опасливо, все время начеку проходят англичане по улицам,— как они боятся осквернить себя нечаянным *прикосновением* к томилу, к сингалезу и вообще ко всякому «цветному» человеку, ко всякому «презренному» (по их любимому выражению) дикарю.

А какими скандалами сопровождались на Цейлоне все мои попытки проехать по железной дороге в третьем классе!» [3]

Бунин вспоминал также: «Когда я был в Коломбо, меня равно поразили свет солнца, совершенно непередаваемый и слепящий, и учение Будды, в котором много

от этого слепящего очи и душу солнца... После, в Одессе, я вышел на берег как пьяный. Я жмурился, я не мог глядеть на землю, освещенную солнцем: мне все чудился огненный свет Коломбо. Я хотел передать этот свет в «Братьях»[1].

Ромен Роллан писал Бунину 10 июня 1922 года: «Я вижу... вдохновенную красоту некоторых рассказов, обновление вашими усилиями того русского искусства, которое и так уже столь богато и которое вы сумели еще более обогатить и по форме, и по содержанию, ничто не захватило меня так сильно в вашей книге, как эти два рассказа «Братья» и «Соотечественник»[2].

Бунин, Вера Николаевна и Н. А. Пушешников жили на Капри примерно до конца марта 1914 года. Потом они некоторое время пробыли в Риме. 3 апреля, как указывает Пушешников в дневнике, приехали в Зальцбург. «Наутро,— пишет он,— вышли на балкон и смотрели сверху на город. В горах еще белеет снег. Прямые белые улицы. Деревья чуть зазеленели. Воздух звонок и прозрачен. После утреннего завтрака осматривали город. Поднимались на фуникулере в замок XIV века Гогензальцбург. Залы. Двор. Орган, устроенный отцом Моцарта. Всюду в магазинах и на коробках портрет Моцарта. На кирке игра курантов. Звуки колоколов. Краски: нежно-сиреневая и белая, холодная. Пахнет от садов и дорог горным снегом. Скаты гор: виден каждый камень, каждая трещина, каждый куст. Тиролки в ярких платьях и в шляпах... Домик Моцарта. Нашли его не сразу. Домик маленький, серо-желтого цвета, убогий. Поднялись по лестнице, вошли: три маленьких комнатки. Маленький клавесин. Портреты и т. д. На этом клавесине написан Реквием»[3].

Из-за границы возвратились в апреле, сначала побывали в Москве. С мая Бунин поселился под Одессой, на Большом Фонтане (дача Ковалевского).

Он много работал над подготовкой своих произведений для полного собрания сочинений,— которое по настоянию издательского товарищества А. Ф. Маркса отодвигалось с 1914 на следующий год.

Редакция журнала «Нива», приложением к которому это издание выходило, требовала включить в него все

написанное Буниным. Бунин, однако, на это не соглашался. Он писал сотруднику «Нивы» А. Е. Розинеру 15 мая 1914 года:

«Я несколько раз перечитал то небольшое количество прозы, которое или совсем еще ни разу не входило в отдельные издания моих сочинений, или входило в книжечки, издававшиеся для детей, для подростков, и которые я хотел было включить в ваше издание,— и пришел к заключению, что делать этого совсем не следует: эти рассказики, эти юношеские наброски необыкновенно слабы, мне весьма стыдно, что я когда-то тискал их. Мало и стихов хочу добавить я: какой смысл напоминать публике, что когда-то я очень плохо писал стихи!» [1]

Трудился он и над составлением сборников «Слово» в качестве редактора «Книгоиздательства писателей в Москве», по этому поводу обращался к писателям с просьбой присылать материалы. Однако из-за трений в редакции он в конце ноября 1914 года отказался от обязанностей редактора этого издательства и члена наблюдательного комитета.

Он сообщал об этом Горькому в письме от 1 декабря 1914 года. Писал он и о том, что даже доволен разрывом с издательством, так как редакторская работа отнимала очень много времени и сил, и он избавился теперь от «вечного сумбура заседаний» [2].

Получив письмо Бунина, Горький писал Е. П. Пешковой 5/18 декабря 1914 года, что он «рад за него» [3].

В середине июня 1914 года Бунин собирался на Белое море и Ледовитый океан, но, не чувствуя себя достаточно здоровым, не решился на эту поездку, а отправился по городам Волги. В заметках «Происхождение моих рассказов» он сообщает: «В июне 1914 года мы с братом Юлием плыли по Волге от Саратова до Ярославля» [4].

Здесь застало его известие об убийстве австрийского престолонаследника Франца Фердинанда, совершенное сербскими террористами в Сараеве, — событие, послужившее непосредственным поводом к началу первой мировой войны. В одной из своих заметок Бунин записал:

«Вторая часть моей жизни, начавшаяся с моего возвращения под отчий кров, длилась ровно четверть века.

„Бирж. Вед." 25. XII. 15

Война

~~ПРОКАЖЕННЫЙ~~

~~Въ разрушенномъ городѣ~~

От кипарисовыхъ гробницъ
Взлетѣла стая черныхъ птицъ. —
[redacted] разстрѣляно, разбито.
Вотъ грязный шелковый покровъ.
~~Вотъ книга~~ съ оттискомъ подковъ...
Какъ грубо конское копыто!
Вотъ чей-то садъ: онъ горелъ, ? голъ.
~~Затѣмъ-ты, тихiй садъ, зацвѣлъ,~~
[redacted] мой оселъ
Рыдающимъ томится ревомъ,
А я—я, прокаженный, радъ горькiй чадъ,
~~Дышать весной сквозь этотъ смрадъ~~
Что таетъ въ небѣ бирюзовомъ:

Пустой, разрушенный, нѣмой,
Отнынѣ этотъ городъ — мой,
Мой каждый спускъ и переулокъ,
Мои всѣ туфли мертвецовъ,
~~И рвы, и остовы~~ дворцовъ,
Гдѣ [redacted] шумъ такъ свѣжъ и гулокъ!

12. IX. 15.
×9.

тюрбэ
Кораны
Бродить, вдыхая
Домовъ руины и
морской
пожарищ
А не о немъ-ли

Последним днем ее мне представляется тот летний день, когда мы с братом Георгием (Юлием.— *А. Б.)* сидели в ожидании отплытия на палубе волжского парохода у пристани в Самаре и вдруг услыхали радостные крики бежавших к нам с берега мальчишек-газетчиков:

— Екстренный выпуск! Убийство наследного принца австрийского престола!» [1]

Опубликовавший эти записи Л. Ф. Зуров, приводит рассказ Бунина о том, что «тогда брат ему сказал: «Жизнь кончена. Теперь все пропало» [2].

Третьего июля Бунин был уже под Одессой, на Большом Фонтане, и писал Черемнову, звавшему его к себе в Клеевку:

«...Полярные страны я, подумав, решил оставить пока в покое, не бог весть как хорошо себя чувствую, а вот на Волге, в прибрежных ее городах и в Ростове Великом мы таки побывали и остались довольны весьма и весьма: опять всем нутром своим ощутил я эту самую Русь, за которую так распекают меня... опять сильно чувствовал, как огромна, дика, пустынна, сложна, ужасна и хороша она. А уж про Ростов и говорить нечего! Нюрнбергу не уступит! Буду жив, еще десять раз побываю там, равно как и в Угличе, Пскове и т. д.» [3].

На Большом Фонтане Бунин провел месяца полтора. В июле здесь он написал «Святочный рассказ» (позднее озаглавленный «Архивное дело»).

Первого августа Германия объявила войну России. Встревоженный событиями, Бунин с женой в середине августа уехал в Москву. Поселились они в Долгом переулке (д. 14, кв. 12) и прожили здесь осень и всю зиму. С ними жил, по шутливому выражению Бунина, «глотовский барин» — Н. А. Пушешников.

Четырнадцатого сентября 1914 года Бунин, от имени писателей, артистов и художников, написал воззвание с протестом против жестокостей немцев.

«То, чему долго отказывались верить сердце и разум, — говорится в воззвании, — стало, к великому стыду за человека, непреложным: каждый новый день приносит новые страшные доказательства жестокостей и варварства, творимых германцами в той кровавой брани народов, свидетелями которой суждено нам быть, в том братоубийстве, что безумно вызвано самими же германцами ради несбыточной надежды владычествовать

в мире насилием, возлагая на весы мирового правосудия только меч». Солдаты Германии, — писал Бунин, — «как бы взяли на себя низкую обязанность напомнить человечеству, что еще жив и силен древний зверь в человеке, что даже народы, идущие во главе цивилизующихся народов, легко могут, дав свободу злой воле, уподобиться своим пращурам, тем полунагим полчищам, что пятнадцать веков тому назад раздавили своей тяжкой пятой античное наследие: как некогда, снова гибнут в пожарищах драгоценные создания искусства, храмы и книгохранилища, сметаются с лица земли целые города и селения, кровью текут реки, по грудам трупов шагают одичавшие люди — и те, из уст которых так тяжко вырывается клич в честь своего преступного повелителя, чинят, одолевая, несказанные мучительства и бесчестие над беззащитными, над стариками и женщинами, над пленными и ранеными...» [1]

Пятнадцатого октября Бунин писал Черемнову:

«Три месяца я с утра до вечера сидел — читал газеты и забыл за войной все на свете — без преувеличений говорю» [2].

Всю зиму 1914—1915 годов Бунин продолжал работу над собранием сочинений, по его выражению, «тонул» в корректуре, — кое-что дополнял, многое изменял и сокращал. 10 апреля 1915 года он писал Черемнову: «По-прежнему гибну в корректуре» [3]. За этой работой застала его весна, а потом — и лето. В 1915 году были изданы все шесть томов этого издания.

В начале 1915 года вышла книга «Чаша жизни».

Сергей Васильевич Рахманинов, получив ее в подарок, послал автору 27 апреля 1915 года открытку:

«Дорогой Иван Алексеевич, и я вас неизменно люблю и вспоминаю часто наши давнишние с вами встречи. Грустно, что они теперь не повторяются...

Очень благодарю вас за присылку вашей последней книги. Был очень тронут...» [4]

Рецензент журнала «Современный мир» писал, что такие рассказы, как «Чаша жизни», «При дороге», «Братья», «Святые»,— «это поэмы в изящной прозе» [5].

О книге «Чаша жизни» в конце января 1915 года писала Бунину Л. А. Авилова, поражаясь лаконично-

стью его языка, жанровым своеобразием его произведений. «Вот у вас: «брат! отдай!»,— говорит она о рассказе «Весенний вечер», — и одним словом «брат» выдвигается целый характер. И как только он крикнул: брат! — так можно было предчувствовать, что он и убъет и деньги бросит. Очень сложно, а ясно» [1].

Бунин, по словам Авиловой, разрушил многие литературные условности, которые до него никто не замечал. «Анекдота, — писала она, — вы никогда не пускали к себе на порог. Но вы изгнали и фабулу, и определенную мелодию со всеми ее нежностями, теноровыми нотками и веяниями теплоты. Вместо мелодии стало то, чего шарманки играть не могут. А вместо рассказа то, чего не расскажешь» [2].

Французский писатель, поэт и критик Рене Гиль писал Бунину в 1921 году:

«Высокочтимый собрат, я даже смущен, — так велика моя благодарность за вашу книгу «Le calice de la vie» («Чаша жизни».— *А. Б.)* о глубинах жизни с ее телесными основами и изначальными тайнами человеческого существа.

Вы говорите в предисловии к своему первому сборнику, что некоторые упрекают вас в пессимизме: нельзя себе представить ничего более ошибочного, чем этот упрек, ибо вы всюду даете действенное ощущение того, как глубоко охватываете вы жизнь — всю, во всей ее сложности, со всеми силами, связующими ее в те моменты, когда человек уже не находится или еще не находится под влиянием законов человеческой относительности, когда он действует и противодействует первобытно...

Как все сложно психологически! А вместе с тем, — в этом и есть ваш гений, — все рождается из простоты и из самого точного наблюдения действительности: создается атмосфера, где дышишь чем-то странным и тревожным, исходящим из самого акта жизни! Этого рода внушение, внушение того тайного, что окружает действие, мы знаем и у Достоевского; но у него оно исходит из ненормальности, неуравновешенности действующих лиц, из его нервной страстности, которая витает, как некая возбуждающая аура вокруг некоторых случаев сумасшествия. У вас наоборот: все есть излучение жизни, полной сил, и тревожит именно своими силами, силами

первобытными, где под видимым единством таится сложность, нечто неизбывное, нарушающее привычную нам ясную норму.

Скажу еще об одной характерной вашей черте,— о вашем даре построения, о гармонии построения, присущей каждому вашему рассказу. Ваш разнообразный и живописующий анализ не разбрасывает подробностей, а собирает их в центре действия — и с каким неуловимым и восхитительным искусством! Этот дар построения, ритма и синтеза как будто не присущ русскому гению: он, кажется, — позвольте мне это сказать, — присущ гению французскому, и когда он с такой ясностью выступает у вас, мне (эгоистически) хочется в ваших произведениях почтить французскую литературу. И, однако, вы ей ничем не обязаны. Это общий дар великих талантов.

Что до вашего широкого и тонкого чувства природы в ее нежности, в ее радостном и печальном великолепии, то я не говорю о нем: я выше пытался определить ваше страстное отношение к бытию, к жизни, и в этом анализе уже заключено то, что я думаю о вашем чутком общении со всем вещественным» [1].

О напряженной жизни Бунина в январе 1915 года можно судить по его дневниковым записям:

«Кремлевские соборы. Нов. монастырь. Поездка с Пушешниковым в Троице-Сергиевскую лавру...»

«8 января. Завтракал у нас Горький... Читал свое воззвание о евреях»; «14 января... Телеграмма от Горького, зовет в Птб.». «Поездка с Колей в Петербург. Заседание у Сологуба. Воззвание в защиту евреев. Поездка на панихиду по Надсону. В Куоккале у Репина и Чуковского. Обед у Горького на квартире Тихонова. Москва. Заседание у Ледницкого. Чествование Юлия, завтрак с Ильей Толстым в Праге. «Суходол». Заседание у Давыдова об ответе английским писателям» [2].

Прожив зиму и почти всю весну в Москве, 9 мая 1915 года Бунин с женой уехали в Глотово. В деревне они оставались до ноября, потом вернулись в Москву, куда Бунин приезжал ненадолго и в середине лета.

Семнадцатого мая 1915 года Бунин писал критику Д. Л. Тальникову:

«Перечитываю кое-что — между прочим, «Дворянское гнездо», — которое, к сожалению, художественной радости мне не дает (за исключением немногих мест) и которое не совсем по праву названо «Дворянским гнездом». (Едучи сюда, я был три дня в Орле, снова посетил ту усадьбу на окраине Орла, которая описана в «Дворянском гнезде» — и вот причина, почему я перечитываю его)» [1].

Для Бунина Тургенев был одним из самых замечательных русских писателей. Но он говорил и о некоторой искусственности его произведений. Многое ему не нравилось в романе «Дым», о котором он писал еще в 1890 году: «...Прочел... «Дым» Тургенева. Я уже давно читал его и теперь прочел его с новым интересом. Многое в нем мне не понравилось. Не понравился даже тон (местами) — грубо-шутливая и насмешливая и притом поверхностная характеристика «света» — тон вовсе не тургеневский. Я знаю, что этот «свет» — пошлость, и подлость, и глупость, но у него он малохудожественно обрисован. Но вообще роман произвел сильное впечатление: страшное, злобное волнение овладело мною. Только слава богу, что теперь, кажется, уже нет таких Ирин. Разумеется, Литвинов в дураках — она его вовсе не любила. При сильной любви нельзя таких штук проделывать»[2].

В дневнике Бунин записал:

«14—19 августа писал рассказ «Господин из Сан-Франциско». Плакал, пиша конец...» [3]

К работе над этим рассказом Бунин возвращался позднее, сокращал его. Завершил работу в конце октября.

Рассказ привлек внимание русской и зарубежной критики и вошел в антологии мировой литературы. Горький писал Бунину: «Я люблю читать ваши вещи, думать и говорить о вас. В моей очень суетной и очень тяжелой жизни вы — может быть, и даже наверное — самое лучшее, самое значительное. Знали бы вы, с каким трепетом читал я «Человека из Сан-Франциско», с каким восторгом вот эти стихи» [4].

Томас Манн в «Pariser Rechenschaft» в 1926 году говорил об этом рассказе, что он по своим нравственным достоинствам и пластике может быть поставлен рядом с некоторыми сильнейшими произведениями Толсто-

го — с «Поликушкой» и «Смертью Ивана Ильича». Этот рассказ переведен на все языки. Он легко доступен по-французски так же, как и ужасно грустный роман из жизни крестьян «Деревня» [1].

В конце 1915 года Горький предложил Бунину сотрудничать в журнале «Летопись», выходившем при его ближайшем участии.

С первых чисел ноября Бунин поселился в Москве, в «Лоскутной» гостинице. 19 ноября приезжал в Петербург, там встречался с Горьким. Дня через три возвратился в Москву.

В декабре в «Летописи» уже было напечатано несколько стихотворений Бунина. Позже, 1 марта 1916 года, И. С. Шмелев писал о них автору: «Чудесно, глубоко, тонко. Лучше я и сказать не могу... Ведь в «Шестикрылом» вся русская история, облик жизни. Это шедевры, дорогой, вы это знаете сами, но и я хочу, чтобы и вы знали, что и я чувствую это. И «Слово» и «Поэту». Это лучшее, что было последнее время для меня... Это должно быть высечено золотом по белому мрамору или хрусталем на черном граните... Да будут благословенны поля орловские, вскормившие вас, дорогой поэт». Я любил вас, — продолжает Шмелев, — «той любовью, которою любят светлый талант... И многое еще дадите. Только не бросайте русской жизни, — так она горько-прекрасна в вас. Так вы слышите и чувствуете ее» [2].

Восьмого декабря в Политехническом музее состоялся вечер, посвященный творчеству Бунина, который «прошел в сплошных аплодисментах и овациях... Публика как бы спешила воспользоваться публичным выступлением писателя, чтобы ярче, полнее и теплее выразить ему свою благодарность и свои симпатии...

Во втором отделении И. А. Бунин прочитал красивый, суровый, наполненный восточной мудростью рассказ «Смерть» (позднейшее заглавие — «Смерть пророка». — *А. Б.*). И когда строго и плавно звучал голос чтеца, неторопливо повествовавшего о страшной и сладостной смерти пророка Моисея, ясно чувствовалось, что не напрасно публика стремится услышать чтение писателей: только самому автору доступен внутренний ритм рассказа и тот единственно верный глубинный тон его,

который таинственной музыкой входит в душу читателя» [1].

Прожив ноябрь и почти весь декабрь в Москве, Бунины возвратились в деревню, где они провели всю зиму 1916 года.

Седьмого марта 1916 года Бунин писал Черемнову о войне:

«...Поистине проклятое время наступило, даже и убежать некуда, а уж обо всем прочем и говорить нечего. Мрачен я стал адски, пишу мало, а что и пишу, то не с прежними чувствами» [2].

Беседуя с Пушешниковым о войне, Бунин говорил: «Я — писатель, а какое значение имеет мой голос? Совершенно никакого. Говорят все эти Брианы, Милюковы, а мы ровно ничего не значим. Миллионы народа они гонят на убой, а мы можем только возмущаться, не больше. Древнее рабство? Сейчас рабство такое, по сравнению с которым древнее рабство — сущий пустяк» [3].

Числа 10 апреля Бунин приехал в Петроград.

Тринадцатого апреля состоялся вечер, посвященный Бунину, в Александровском зале городской думы в Петрограде под председательством проф. Ф. Ф. Зелинского, со вступительным словом П. С. Когана. Бунин читал «Песнь о гоце» и «Братья». В этот день П. С. Коган писал: «Сегодня праздник для всех ценителей поэзии»; Бунин «принадлежит к числу тех редких писателей, каждое произведение которого представляет шаг вперед по сравнению с предшествующим» [4].

Из Петрограда Бунин отправился в Москву, а затем — в Одессу, где уже был 25 апреля и прожил здесь почти месяц.

Он писал 24 мая 1916 года Черемнову: «...Дня четыре тому назад я, после сорокадневного отсутствия, возвратился в Глотово» [5]. Юлий Алексеевич и Вера Николаевна вскоре также приехали в деревню. Бунин прожил здесь, правда небезвыездно, до конца 1916 года: иногда охотился вместе с Н. А. Пушешниковым, ходил с ним в близлежащие деревни, с которыми многое у него было связано с самого детства.

Бунин любил бывать у крестьян, разговаривать с ними.

Однажды «зашли в избу к Пальчиковым, — пишет в дневнике Пушешников. — Воздух в избе теплый, воню-

чий. Две, уже больших, свиньи. У окна сидит девка в шерстяном платке. Старуха дала нам прочесть письмо своего сына, попавшего в плен к немцам. Дорогой Иван Алексеевич говорил, что для потомства нужно было сохранить избу в том самом виде, как она есть, ибо через сто лет никто не будет в состоянии представить себе жилище, в котором жил русский крестьянин в двадцатом веке»[1].

В июле Бунин написал рассказ «Аглая».

В 1931 году он прочитал этот рассказ Г. Н. Кузнецовой и потом говорил ей:

«Вот видят во мне только того, кто написал «Деревню»!.. А ведь и это я! И это во мне есть! Ведь я сам русский, и во мне есть и то и это. А как это написано! Сколько тут самых разнообразных, редко употребляемых слов и как соблюден пейзаж хотя бы северной (и иконописной) Руси: эти сосны, песок, ее желтый платок, длинность — я несколько раз упоминаю ее — сложения Аглаи, эта длиннорукость... Ее сестра — обычная, а сама она уже вот какая, синеглазая, белоликая, тихая, длиннорукая, — это уже вырождение. А перечисление русских святых! А этот, что бабам повстречался, — как выдуман! В котелке, и с завязанными глазами. Ведь бес! Слишком много видел! «Утешил, что истлеют у нее только уста!» — ведь какое жестокое утешение, страшное! И вот никто этого не понял! Оттого, что «Деревня» — роман, все завопили! А в Аглае прелести и не заметили! Как обидно умирать, когда все, что душа несла, выполняла — никем не понято, не оценено по-настоящему! И ведь сколько тут разнообразия, сколько разных ритмов, складов разных! Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас дух страны, народа почуял. Вот я взглянул на Бессарабию — вот и «Песня о гоце». Вот и там все правильно, и слова, и тон, и лад»[2].

Тогда же, в 1916 году, он написал «Сны Чанга» — повествование о капитане, пережившем трагедию любви и мучительное одиночество, и о собаке Чанге, ставшей его другом.

Сохранилось два черновых автографа этого рассказа. Оба они озаглавлены: «Про одну собаку».

В черновой рукописи значительно полнее, чем в окончательной редакции рассказа, даны и авторские характеристики, и обличительные речи капитана. Напри-

мер, приведенный ниже отрывок из черновика не вошел в окончательный текст рассказа:

«...Пойдут в кофейню, битком набитую людьми, вся жизнь которых, бессмысленная в своей тревожной деятельности, поглощена сиденьем по кофейням в непрестанном ожидании биржевых слухов и самой биржей, подлой и низкой игрой которой они, совместно с тысячами других таких же людей (зачеркнуто: негодяев), опутали весь мир и изменили самое лицо земли. А из кофейни отправятся обедать в ресторан, куда стекаются жулики, проститутки, мелкие и крупные, но одинаково невежественные, недобросовестные к своему делу и ненавидящие его, чиновники — словом, представители того высшего отребья человечества, из которого и состоит почти все человечество, если не считать миллионы тех вьючных животных, что от сотворения мира и, кажется, до скончания веков покорены этим человечеством.

И в греческом ресторане капитан, художник и Чанг просидят очень долго — до поздней ночи. Будут они напиваться все хмельнее, и скажет капитан много злых и горьких истин. Ха! — скажет он,— люди! Ты посмотри кругом и вспомни тех, что видели мы с тобой в пивной, в кофейне! Какие скотские лица, какая низость интересов и вкусов — какая свирепая бессердечность и друг к другу, и к тем несметным,— людям и животным,— что служат им, что устрояют их низкую жизнь! Рабство, войны, убийства, казни, чуть не доисторическая нищета угнетенных, забитых и бесправных, тех, что расстреливают тысячами за один крик о прибавке лишнего куска хлеба, грубая и бессмысленная роскошь, отвратные в своем даже внешнем безобразии и в своей тесноте города, стоящие на гигантских клоаках, в дыму и непрестанном грохоте... Друг мой, скажет капитан, я видел весь земной шар, и он везде таков! Но оставим это,— тут всего не перечислишь и не расскажешь» [1].

Осенью Бунин жил в деревне. 9 декабря 1916 года Н. А. Пушешников отметил в дневнике: «Иван Алексеевич пишет маленький рассказ про старуху» [2] (рассказ «Старуха».— *А. Б.)*. В это же время им были написаны рассказы «Пост» и «Третьи петухи». Под общим заголовком «Три рассказа» они были 25 декабря напечатаны в газете «Русское слово».

Январь и февраль 1917 года он прожил в Москве (Поварская, д. 28, кв. 2); «весь январь хворал» (письмо А. Б. Дерману от 11 февраля) [1].

Второго апреля он приехал в Петроград и вел здесь переговоры с Горьким и А. Н. Тихоновым об издании своих сочинений в горьковском издательстве «Парус». («Парус» выпустил только в 1918 году один том — произведения 1915—1916 годов).

В этот день Горький подарил Бунину свою книгу «Статьи 1905—1916 гг.» с надписью: «Любимому писателю и другу Ивану Алексеевичу Бунину. А. Пешков. 2 апреля 17 г. ...Петроград» [2].

«Остановился я, — писал Бунин Вере Николаевне 5 апреля 1917 года, — в «Медведе», комната 12 рублей, но довольно комфортная, с ванной. Ах, как мало я испытал в жизни комфорта и как он приятен! В день приезда, то есть 2-го, был у Горького, прост, мил, спокоен. Вечер я провел дома, читал «При дворе Габсбургов» графини Лариш. Очень меня интересует этот мир. Ах, если бы мне мир пошире был открыт! — На другой день был на открытии финляндской выставки. Много народу, музыка, речь Милюкова». Это была выставка картин финских художников, на которую собрался, как говорил Бунин, «весь Петербург», присутствовали министры временного правительства, французский посол, художники, писатели, артисты. Выступали с речами Вера Фигнер и Горький.

Все эти лица собрались на банкет «в честь финнов у Донона, человек 200. Сидел на конце стола, где был Горький, Гржебин, Тихонов, некий Десницкий... Зданевич, Маяковский и Бурлюк»; «После банкета были в подвале «Бродячей собаки» или «Привал комедиантов». Были все выше перечисленные. Дикий гам, жара, лютая наглость Зданевича... Читал стихи Кузьмин с облезлой головой. Я рано ушел. Вчера был дома, вырабатывали условие на издание моих сочинений. Вечером обедал у Иорданских. Был Чириков... Плеханов остановился у Иорданских» [3].

Это была последняя встреча Бунина с Горьким. «В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда» [4], — писал Бунин. В конце того же года, вспоминал он далее, Горький «приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала

мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными» [1].

Шестого апреля 1917 года он сообщал Вере Николаевне, что «взял билет... на 12 апреля» [2],— в этот день он выехал в Москву.

По-видимому, не ранее последней недели мая он отправился в Глотово. Вера Николаевна на время оставалась у родителей, 8 июня и она приехала в деревню. Жили они здесь все лето и осень, до ноября.

В письме А. Е. Грузинскому от 25 июля он также говорит, что употребляет «чуть не половину... жизни» на газеты, «не написал я пока еще ни единой строки!» [3]. 31 августа в письме к А. Б. Дерману он снова повторяет: «Не написал я буквально ни строки,— все лето с утра до вечера читаю газеты» [4].

Все волновало Бунина: и война с Германией, которую, вопреки желанию народа, не хотело прекратить временное правительство, и революционное брожение внутри страны. В июле газеты сообщали о призыве в армию новой категории лиц, о введении, по приказу А. Ф. Керенского, смертной казни в войсках, публиковали проекты так называемого земельного комитета об «упорядочении земельных отношений», которые никак не решали аграрного вопроса. Бастовали рабочие; в начале июля вспыхнуло вооруженное восстание в петроградском гарнизоне, депутаты мятежного полка вели агитацию в военных частях и их лозунгами были: «Долой временное правительство», «Да здравствуют все лозунги большевиков» [5]. 8 июля газеты сообщили о приказе арестовать В. И. Ленина. Правительство, теряя контроль над создавшимся положением в стране, переживало перманентный кризис и не однажды реорганизовывалось, заседало ночи напролет в Зимнем дворце.

Бунин говорил Н. А. Пушешникову еще в 1916 году:

«Народ воевать не хочет, ему война надоела, он не понимает, за что мы воюем, ему нет дела до войны. А в газетах продолжается все та же брехня. Разные ослы вроде Ильиных, Бердяевых и др. долбят свое, ничего не понимая, с необыкновенным остервенением и самомнением. Сейчас хотят чествовать Сытина за то, что он

создал такую замечательную газету, как «Русское слово»! Такую лживую, блудливую газету! Российский «Таймс»?! Все несут свое, не считаясь с тем, что народ войны не хочет и свирепеет с каждым днем. И что это значит: вести войну до победного конца?»[1]

По словам Бунина, «война все изменила. Во мне что-то треснуло, переломилось, наступила, как говорят, переоценка всех ценностей. И как подумаешь, что жизнь прошла, что еще несколько лет — и будешь где-нибудь лежать на Ваганьковом... Литераторские мостки. И ничего не сделал! Это ужасно».

Обстановка в деревне также была напряженной. «Иван Алексеевич, — пишет в дневнике Пушешников, — сидит в пальто в темноте в своем кресле и о чем-то думает... Ждем, что вот-вот придут мужики и зажгут дом. Лошади уже отобраны (у двоюродной сестры Бунина С. Н. Пушешниковой. — *А. Б.*), работники сняты».

Резко отрицательно отзывался Бунин о министрах временного правительства, 2 июня Пушешников записал:

«Читали перед обедом газеты. Иван Алексеевич сказал про Чернова... Считается знатоком земельного вопроса! Какая наглость. Ни уха ни рыла не понимать в экономических вопросах и сельском хозяйстве и залезть на пост министра земледелия! Что он может знать! Двенадцать лет в Италии прожил. В деревне за всю свою жизнь ни разу не был. Я уверен, что он пшена от проса не отличит... Министр земледелия, марксист и вместе с тем ужасный декадент, поклонник Брюсова и Бальмонта, восторженный почитатель Ивана Вольнова. Все это в нем совмещается. Государственный муж, Ф. Ф. Кокошкин, становится среди комнаты, заложив назад руки, и распевает поэзы Игоря Северянина. Балаган!»

Пятого июля 1917 года Пушешников записал: Иван Алексеевич говорил, что сейчас «полный хаос, анархия, правительство бессильно, слабо, не умеет ничего предпринять... Казалось бы, гордиться нечем! А между тем нестерпимо читать газеты от того наглого самохвальства, которым полны они все. Кругом разложение и хаос, в газетах же одна болтовня».

Одиннадцатого августа 1917 года Пушешников сделал следующую запись:

«Керенский избран премьером. Армия бросает оружие, сдает позиции, самовольно уходит с фронта... Говорили о политике до двух ночи». Иван Алексеевич сказал: «Власть правительства сейчас в глазах мужика не имеет никакого значения, а каждое слово Ленина подхватывается и проводится в жизнь».

Запись 18 августа:

«Поражены речью Керенского на Демократическом собрании в Москве. Иван Алексеевич говорил, что Керенский... какое-то исчадье пустословия!»

Седьмого ноября 1917 года А. Е. Грузинский писал А. Б. Дерману, что Бунин приехал в Москву числа 23 октября. Остановился он на Поварской, «мимо их окон вдоль Поварской гремело орудие» [1].

В Москве Бунин прожил зиму 1917/18 года, не понимая и не принимая того, что творилось вокруг него. Об этом свидетельствует его дневник «Окаянные дни», который он вел в это время (опубликован впоследствии за границей).

Вера Николаевна Муромцева-Бунина писала мне 13 марта 1958 года:

«Сообщаю наши даты. Мы покинули Одессу в 1920 году 26 января по старому стилю. А из Москвы мы выехали 21 мая 1918 года. Жили в квартире моих родителей на Поварской в доме Баскакова, номер 26 [2], в нижнем этаже. От входа налево [3].

Провожали нас на Савеловский вокзал Юлий Алексеевич и Екатерина Павловна Пешкова. Разрешение устроил нам Фриче в благодарность за то, что Иван Алексеевич хлопотал за него у московского градоначальника, чтобы его не высылали из Москвы незадолго до революции. Мы ехали в санитарном вагоне до Минска. От Минска в поезде до Гомеля. Там сели на пароход до Киева. В переполненном Киеве едва нашли пристанище. Сначала попали в притон. Затем редактор «Киевской мысли» (М. И. Эйшискин.— *А. Б.*) предложил нам свою квартиру [4], и мы прожили у него меньше недели. Одолевали Ивана Алексеевича поэты и писатели, так что из-за них пришлось бежать в Одессу, а в Киеве была чудесная весна, начало лета, и уезжать не хотелось, семья редактора была на даче, и было очень удобно там провести еще некоторое время. Оттуда в Одессу. Сняли на лето дачу Шишкина за Большим Фонтаном,

жили там до октября. Затем переселились в город, где нам сдал две очень хорошие комнаты в своем чудесном особняке Евгений Иосифович Буковецкий, художник, ныне умерший. Что стало с его особняком, не знаю[1]. Прожили мы там год и почти четыре месяца. Там же проживал и художник Петр Александрович Нилус, большой друг Ивана Алексеевича. Он тоже и писатель, очень оригинальный, таким может быть только художник, что особенно ценил Иван Алексеевич».

Двадцатого сентября 1918 года из Одессы Бунин писал литературному критику А. Б. Дерману:

«Дорогой Абрам Борисович, очень рад, что вы нашлись...

Живется нам, в общем, плохо. Все растущая, душу угнетающая и рисующая мрачные перспективы дороговизна, непрестанная боль, ужас и ярость при чтении каждой газеты, вечная тревога за близких,— о которых за последнее время ныне уже никаких известий, меж тем как Юлий Алексеевич снова тяжело заболел... близость зимы, которая нам, буквально не имеющим ни клока теплого, несет лютый холод — и пр. и пр.

...А теперь о сборнике. Увы, у меня, кроме двух-трех стихотворений, ничего нет! Душой рад бы был исполнить вашу просьбу — и не могу! Я ничего не писал — все лето. Не узнаю себя — такая все лето была душевная подавленность и телесная слабость — ведь вы знаете, какую зиму мы пережили...»[2]

Двадцать восьмого февраля (тринадцатого марта) 1919 года он вновь писал из Одессы Дерману:

«Дорогой Абрам Борисович... Зиму я провел очень скверно, месяца три хворал подлым, мелкотравчатым гриппом и не «нервничал», как выразился Елпатьевский, а просто мучился так же тяжко, как и все последние два года, жил всем тем, чем нельзя не жить.

У нас началась весна, и это подает мне надежду, что я немного поправлюсь физически и, если не будут нас вновь громить из пушек, напишу что-нибудь. Пока же — «портфель» мой пуст. Стихи о российских городах — идея прекрасная, но навряд я осуществлю ее. Навряд также и попаду в Крым, как мечтаю об этом,— опять пошла писать губерния у нас!»[3]

Иван Сергеевич Соколов-Микитов вспоминает о своих встречах с Буниным в Одессе в ту пору:

«В Одессу я приехал из голодавшего и голого Крыма на переполненном растерянными людьми пароходе. Одесса жила горячечной жизнью сыпнотифозного больного. На севере рушился белый фронт, разбитые войска генерала Деникина беспорядочно отступали, увозя и теряя награбленное добро. Город был набит разношерстными, разноязычными людьми. По городским улицам неприкаянно слонялись одетые в английские короткие шинели деникинские солдаты и офицеры. Затягиваясь английскими душистыми сигаретами, в одесских переполненных кафе шумели и спорили горластые валютчики-спекулянты. Гонимые волнами гражданской войны, случайные несчастные люди отсиживались в подвалах, прятались на холодных чердаках. В порту мрачно и чуждо дымили английские, французские, греческие, итальянские пароходы. Портовые кабачки и притоны были набиты дезертирами, карманными ворами. Ночами по городу расхаживали военные патрули, ничем не отличавшиеся от уличных бандитов. На городских шумных базарах бойкие люди открыто торговали награбленным.

В редакции газеты, литературным отделом которой заведовал Иван Алексеевич Бунин [1], я оставил небольшой рассказ. На другой день мне сказали, что Бунин просит меня к нему зайти...

Из редакции мы выходили вместе. Спускаясь по узкой каменной, плохо освещенной лестнице, он горько говорил о своей крайней усталости, об утрате веры в людей, о желании уехать из России.

Дня через два... мы шли по городской улице, мокрой от таявшего снега. На каракулевый воротник его зимнего пальто, на высокую барашковую шапку садились и таяли снежинки. Я близко видел его лицо, слушал его голос. И опять он говорил о своей тяжкой усталости, мрачно расценивал происходившие события, корни которых видел в несчастной истории народа... Непримиримо относился к тому, что происходило и рождалось в новой России...

В тяжкие годы гражданской войны волна эмиграции вынесла Бунина из России. Его мучил отрыв от родной земли, и временами душа его ожесточалась. Но никогда не отрывался его взор и слух от далекой родной земли» [2].

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Двадцать шестого января 1920 года Бунины уехали в Константинополь, оттуда — в Болгарию и Сербию, в конце марта прибыли в Париж. Об этом Бунин рассказал в «Воспоминаниях» (Париж, 1950); события тех дней его жизни отчасти отразились в рассказе «Конец».

«Эмиграция стала поистине трагическим рубежом в биографии Бунина, порвавшего навсегда с родной русской землей, которой он был, как редко кто, обязан своим прекрасным даром и к которой он, как редко кто, был привязан «любовью до боли сердечной». За этим рубежом... его литературное имя понесло известный моральный ущерб... посреди написанного им за эти десятилетия есть замечательные произведения, но немало и такого, что могло вызывать лишь сожаление о судьбе художника» [1],— писал А. Т. Твардовский.

В 1921 году в Париже вышел сборник рассказов Бунина «Господин из Сан-Франциско». Это издание вызвало многочисленные отклики во французской прессе. Привожу некоторые из них [2].

«Бунин... настоящий русский талант, кровоточащий, неровный и вместе с тем мужественный и большой. Его книга содержит несколько рассказов, которые по силе достойны Достоевского» («Nervie», декабрь 1921 г.); «Весь талант Бунина, бесспорно, очень велик, он рисует перед нами картину всего человечества в целом и русского народа в частности — в пессимистической манере» («Aujourd'hui et demain», март 1922 г.).

«Господин Бунин, писатель великолепно одаренный, прибавил еще одно имя, мало известное во Франции, к... самым большим русским писателям» («Revue de L'Epoque», май 1922 г.).

«Очень восхищался Буниным,— пишет Г. Н. Кузнецова,— австрийский поэт и писатель Райнер Мариа Рильке. Он даже в свое время написал статью о «Митиной любви»... помню, И. А. показывал мне ее...» [3]

В 1922 году Бунин был выдвинут на Нобелевскую премию. Его кандидатуру выставил Р. Роллан, о чем сообщал Бунину М. А. Алданов: «...Ваша кандидатура

заявлена и заявлена человеком, чрезвычайно уважаемым во всем мире»[1].

Ромен Роллан писал М. А. Алданову в 1922 году:

«Конечно, я восхищаюсь Иваном Буниным. С моей точки зрения, это один из крупнейших художников нашего времени.

Я готов поддержать кандидатуру г. Бунина на Нобелевскую премию, но не совместную кандидатуру Бунина и Мережковского.

К этому я должен прибавить, что я выступлю за г. Бунина, только если у меня будет уверенность, что Горький не хочет, чтобы была выдвинута его кандидатура. Если был бы выдвинут Горький, то я прежде всего голосовал бы за него.

Я был бы чрезвычайно рад, если бы были выдвинуты кандидатуры Бунина и Горького одновременно: это явилось бы непреложным доказательством того, что в данном случае политика не играла никакой роли — но это вовсе не повод, позвольте мне это сказать, для такой троицы: Бунин, Куприн, Мережковский.

Я знаю, впрочем, с каким уважением относится Горький к Бунину; недавно он мне об этом писал: он считает его самым талантливым из всех современных русских писателей»[2].

Десятого апреля 1923 года Алданов писал Бунину:

«...По поводу Нобелевской премии. Я узнал от людей, видящих Горького, что он выставил свою кандидатуру на премию Нобеля. Об этом уже давно говорят — и не скрою от вас, и немцы и русские, с которыми мне приходилось разговаривать, считают его кандидатуру чрезвычайно серьезной. Многие не сомневаются в том, что премию получит именно он. Я не так в этом уверен, далеко не так, и думаю вообще, что премия это совершенная лотерея... но все-таки бесспорно шансы Горького очень велики. Поэтому еще раз ото всей души советую вам, Мережковскому и Куприну объединить кандидатуры,— дабы ваша общая (тройная, а не «коллективная») кандидатура была рассматриваема, как русская национальная кандидатура (я навел справку, случаи разделения Нобелевской премии между 2 и 3 лицами уже были). При этом условии я уверен, все русские эмигрантские течения и газеты (разумеется, кроме «Накануне») и большая часть иностранной прессы будут

вас поддерживать... И *каждому из вас* в случае успеха придется до 200 тысяч франков, — то есть материальная независимость»[1].

Нобелевскую премию в 1923 году получил ирландский поэт В. Б. Йэтс.

В 1926 году снова шли переговоры о выдвижении Бунина на Нобелевскую премию. М. А. Алданов писал ему 19 сентября 1926 года:

«...Думаю, что у русских писателей, то есть у вас, Мережковского и — увы — у Горького, есть очень серьезные шансы получить Нобелевскую премию. С каждым годом шведам все труднее бойкотировать русскую литературу. Но это все-таки лотерея...»[2]

С 1930 года русские писатели-эмигранты возобновили свои хлопоты о том, чтобы Бунин был выдвинут на Нобелевскую премию. По этому вопросу Алданов писал Томасу Манну. 10 января 1931 года он сообщал Бунину о результатах этой переписки:

«...Как видите, он чрезвычайно любезен, но несколько уклончив. Пишет о том, что не уверен, имеет ли право представить не немецкого кандидата, и запросит об этом, — *как уже он писал Шестову*, который тоже просил его представить вас. Чрезвычайно вас хвалит, особенно «Господина из Сан-Франциско», но — тут очевидно одна из важных загвоздок еще Шмелев. Хотя он и не имеет в своем активе такого произведения, как «Господин из Сан-Франциско», но (перевожу точно): «я могу только сказать, что мне чрезвычайно трудно произвести выбор между обоими и что я от всего сердца желал бы премии также Шмелеву, у которого обстоятельства... еще неблагоприятнее, чем у Бунина». — По совести думаю, что Манн, вероятно, уже обещал Шмелеву похлопотать за него»[3].

Шестнадцатого мая 1931 года Алданов писал Вере Николаевне:

«...Во вторник я обедал в Пен Клубе с Томасом Манном и долго с ним разговаривал, в частности о кандидатуре Ивана Алексеевича. Должен с сожалением Вам сообщить, что он мне сказал следующее: ему с разных сторон писали русские писатели, просили его выставить Ивана Алексеевича в качестве кандидата на Нобелевскую премию, и он считает необходимым прямо ответить, что он этого сделать не может: есть серьезная

немецкая кандидатура и он, немец, считает себя обязанным подать голос за немца»[1].

Премия была присуждена Бунину в 1933 году.

Все эти годы Бунин много писал, чуть ли не ежегодно появлялись его новые книги. Вслед за «Господином из Сан-Франциско» в 1921 году в Праге вышел сборник «Начальная любовь», в 1924 в Берлине — «Роза Иерихона», в 1925 в Париже — «Митина любовь», там же в 1929 — «Избранные стихи», а в 1930 — «Тень птицы» и «Жизнь Арсеньева» (отдельное издание). Вера Николаевна писала в конце 20-х годов жене писателя Б. К. Зайцева о работе Бунина над этой книгой:

«Ян в периоде (не сглазить) запойной работы: ничего не видит, ничего не слышит, целый день не отрываясь пишет... Как всегда в эти периоды, он очень кроток, нежен со мной в особенности, иногда мне одной читает написанное — это у него «большая честь». И очень часто повторяет, что он меня никогда в жизни ни с кем не мог равнять, что я — единственная, и т. д.»[2].

В официальном решении о присуждении Бунину премии говорится:

«Решением Шведской академии от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена Ивану Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер»[3].

Значительную сумму из полученной премии Бунин роздал нуждавшимся. Была создана комиссия по распределению средств. Бунин говорил корреспонденту газеты «Сегодня» П. Пильскому: «...Как только я получил премию, мне пришлось раздать около 120 000 франков. Да я вообще с деньгами не умею обращаться. Теперь это особенно трудно. Знаете ли вы, сколько писем я получил с просьбами о вспомоществовании? За самый короткий срок пришло до 2000 таких писем»[4].

В 1936 году Бунин по издательским делам отправился в Германию. Там он впервые столкнулся с фашистскими порядками. Он писал в редакцию газеты «Последние новости»:

«Три недели тому назад я выехал из Парижа с туристическими целями и для свиданий с моими немец-

кими, чешскими и итальянскими издателями и переводчиками по маршруту Париж—Лейпциг—Берлин—Прага — Мюнхен — Женева — Рим — Париж, купив в парижском агенстве Кука круговой билет первого класса и два аккредитива — на Германию и на Италию. Я пробыл неделю в Германии, затем пять дней в Праге, где 23 октября публично читал свои художественные произведения, и снова поехал в Германию, направляясь в Швейцарию, ночевал по пути в Мюнхене и Нюрнберге, и вечером 26 октября прибыл в Линдау, где снова должен был ночевать, так как пароход, перевозящий путешественников по Боденскому озеру из Линдау в Романсгорн, в Швейцарию, отходил только на другой день в полдень. Переночевав в отеле «Seegarten», я явился в одиннадцать часов утра в немецкую таможню, находящуюся у самой пароходной пристани. Там я предъявил надлежащим властям все, что полагается: свой эмигрантский паспорт, аккредитивы (из которых в немецком остался только один чек на 50 марок), те бумажные доллары, которые были со мной и любое количество которых я имел законное право ввозить и вывозить из Германии, и оставшиеся в моем кошельке 20 бумажных немецких марок с медной мелочью. Посмотрев все это, власти дали мне вместо бумажки в 20 марок соответствующую сумму серебром, а паспорт куда-то унесли и не возвращали с полчаса, когда же, наконец, возвратили, то скомандовали:

— Следуйте за этим господином!

Этот «господин» был довольно молодой человек преступного типа, в потертой штатской одежде, он быстро схватил меня за рукав и повел куда-то по каменному сараю таможни, где всюду дул в раскрытые двери ледяной ветер дождливого дня, привел в какую-то каменную камеру и молча стал срывать с меня пальто, пиджак, жилет... От потрясающего изумления,— что такое? за что? почему? — от чувства такого оскорбления, которого я не переживал еще никогда в жизни, от негодования и гнева, я был близок не только к обмороку, но и к смерти от разрыва сердца, протестовал, не зная немецкого языка, только вопросительными восклицаниями — «что это значит? на основании чего?» — а «господин» молча, злобно, с крайней грубостью продолжал раздевать, разувать и обшаривать меня. Я стоял перед

ним раздетый, разутый,— он сорвал с меня даже носки,— весь дрожа и стуча зубами от холода и дувшего в дверь сырого сквозняка, а он залезал пальцами в подкладку моей шляпы, местами отрывая ее, пытался отрывать даже подошвы моих ботинок... Через четверть часа, не найдя на мне, разумеется, ровно ничего преступного, он вывел меня назад. Пароход в эту минуту уже отходил, но мне очень насмешливо сказали: «Ничего, есть еще вечерний пароход!» — и отправили меня с конвоем и с тележкой, на которой вез мои вещи таможенный служащий, в какое-то огромное здание, — вероятно, арестный дом, ибо я видел в его коридорах множество дверей с номерами на них.

Как рассказать дальнейшее? Мне казалось, что я в сумасшедшем доме, что это какой-то кошмар. Меня вели долго, через весь город, под проливным дождем. Когда же привели, *ровно три часа* осматривали каждую малейшую вещицу в моих чемоданах и в моем портфеле с такой жадностью, точно я был пойманный убийца, и все время осыпали меня кричащими вопросами, хотя я уже сто раз заявил, что не говорю и почти ничего не понимаю по-немецки. Каждый мой носовой платок, каждый носок был исследован и на ощупь и даже на свет; каждая бумажка, каждое письмо, каждая визитная карточка, каждая страница моих рукописей и книг, находившихся в моем портфеле,— все вызывало крик:

— Что это такое? Что здесь написано? Кем? И кто тот, кто это писал? Большевик? Большевик?

Некоторые письма и моя записная книжка с адресами были отложены в сторону, куда-то унесены и возвращены мне только в последнюю минуту. Пачка чешских газет, в которых были статьи обо мне и отчеты о моем вечере, вызвала особенную жадность: «А, чешские газеты! Почему они у вас?» — хотя в них были мои портреты с подписями: «I. A. Bunin v Praze», «Vortrag Ivan Bunins in Prag», и т. д. Я пишу книгу о Толстом, в моем портфеле было несколько книг о нем: при виде его портретов в этих книгах плевали и топали ногами: «А, Толстой, Толстой» (...)

Приехав ночью в Цюрих, я не спал до утра — меня так простудил раздевавший меня «господин», что у меня уже был кашель и жар, 38,5. Приехав в Женеву, я почувствовал себя совсем больным и, махнув рукой на

продолжение своего путешествия, решил возвратиться в Париж»[1].

В 1937 году в Париже вышла книга Бунина «Освобождение Толстого».

В 1938 году Бунин намерен был написать, совместно с М. А. Алдановым, сценарий для кинофильма о Л. Н. Толстом. Об этом сообщали французские и немецкие газеты в марте 1938 года. «...Это были планы и толки, которые ни к чему не привели (то же самое было с намерением И. А. писать жизнь Лермонтова)»[2], — пишет Г. Н. Кузнецова.

В 1938 году Бунин побывал в Прибалтике. Академик К. Корсакас вспоминает:

«С 21 по 27 апреля 1938 года в Каунасе гостил известный русский писатель Иван Алексеевич Бунин... Он провел у нас два литературных вечера, на которых читал воспоминания о Ф. Шаляпине, Л. Толстом... и кое-что из своей художественной прозы».

На Корсакаса произвела большое впечатление личность поэта. «Меня больше всего удивила,— пишет он,— та откровенная враждебность, с которой Бунин говорил о фашистских режимах в тогдашней Европе. Вспомнив о своем недавнем посещении Италии, он с раздражением рассказал о том, как его всюду сопровождали фашистские охранники, которые в конце концов так надоели ему, что он телеграммой пожаловался самому Муссолини...»[3]

Двадцать девятого апреля Бунин приехал в Латвию — в Ригу[4]. В начале мая он посетил Эстонию, прожил несколько дней в Тарту. Он приехал в Тарту 5 мая, а не 6-го, как собирался. Л. Ф. Зуров пишет мне об этом 22 октября 1966 года:

«Иван Алексеевич нам написал из Тарту — Юрьева — Дерпта (письмо от 6.V.1938 г.): «Вчера был на минуту у той поэтессы (В. В. Шмидт.— *А. Б.*), письмо которой послал вам из Риги,— живет с матерью и братом в таком трущобном доме, что даже не во всякой слободе найти. А работает с утра до вечера и как весела!»

О пребывании Бунина в Тарту вспоминает переводчик его стихотворений на эстонский язык Ю. Д. Шумаков: «Больше всего, как мне показалось, Бунина заинтересовал писатель А.-Х. Таммсааре...

Иван Алексеевич расспрашивал о подробностях пребывания в Тарту Языкова. По пути к дому, где жил поэт, мы беседовали о знаменитых ученых и писателях, которые учились и профессорствовали в Тартуском университете.

Я показал Бунину двухэтажное здание, где жил великий Пирогов, Карловую мызу, имение Фаддея Булгарина, дом, где пела Полина Виардо, бывал Жуковский, гостил талантливый студент Николай Языков...» [1]

Бунин осматривал в университетской библиотеке «автографы многих русских и западных классиков, книгу Тацита с пометками Наполеона».

...В эстонском театре «Ванемуйне» состоялось выступление Ивана Бунина...» [2]

Десятого мая Иван Алексеевич прибыл в Таллин. Газеты сообщали, что, «к сожалению, в Петсерский (Печерский.— *А. Б.*) край из-за недостатка времени в этот раз И. А. попасть не удастся» [3].

С Верой Владимировной Шмидт, совсем тогда еще юной, позднее работавшей преподавательницей русского языка в Тартуском университете, Бунин переписывался и впоследствии. Он писал ей 6 марта 1939 года из Франции:

«Моя дорогая, милая Верочка, получил в свое время Ваши письма и стихи, да был так занят, что все откладывал ответ, а потом уехал в Париж, где печаталась моя новая книга («Лика».— *А. Б.*), а потом хворал, вернувшись сюда, и вот только теперь пишу. В стихах ваших, несмотря на всю их невразумительность, есть что-то настоящее, поэтическое. Письма ваши были очень интересные. Вы умница и многое отлично чувствуете... Целую вас сердечно и прошу написать мне, как вы теперь живете, что делаете, что пишете. Думаю, что вы теперь стали уже совсем «большая» (и боюсь, что влюблены в кого-нибудь). На днях выйдет эта моя книга и я пошлю вам ее» [4].

Восьмого июня 1939 года он сообщал ей:

«Милая Верочка, я теперь на юге — Villa «Belvédère», Grasse, a. m., France. Сравнительно недавно приехал из Парижа, где был болен. Письмо Ваше от 15 марта получил давно. В стихах, что при нем приложены, много, к сожалению, чего-то общего, чужого. И мало простоты,— особенно к концу: «И я позорно к песням пригвож-

ден... Но жду — во тьме глухой мне скажет Он...» Это пустословие. И кто это — загадочный «Он»? Не обижайтесь, дорогая моя, и займитесь стихами как следует, не губите талантливости своей. Целую Вас и желаю всех благ».

Письмо 23 февраля 1940 года:

«Милая Вера, в стихах два недостатка: уж очень немузыкально и очень под Блока. Пишите себя, свое, простое, то, чем больше всего живете дома, на улице, в мечтах, за книгой, в жажде любви».

«Во Франции, — писал Бунин, — я жил первое время в Париже, с лета 1923 года переселился в Приморские Альпы, возвращаясь в Париж только на некоторые зимние месяцы» [1].

Вот как вспоминает о его жизни в Грассе Г. Н. Кузнецова:

«Бунин всю свою жизнь жил жизнью не оседлой, а скитальческой. В России у него не было своего дома, он гостил то у родных в деревне, то жил в Москве — и всегда в гостинице, — то уезжал в странствия по всему миру. Поселившись окончательно во Франции, Бунин и там продолжал жить по-прежнему, часть года в Париже, часть на юге в Провансе, который любил горячей любовью. В городе позволял он себе жить весьма рассеянной жизнью, беспорядочно ел и пил, превращал день в ночь и ночь в день, но стоило ему приехать в деревню, как все менялось. В простом, медленно разрушавшемся провансальском доме на горе над Грассом, бедно обставленном, с трещинами в шероховатых желтых стенах, но с дивным видом с узкой площадки, похожей на палубу океанского парохода, откуда видна была вся окрестность на много километров вокруг, с цепью Эстереля и морем на горизонте, он, вскоре по приезде, начинал готовиться к работе.

Подобно буддийским монахам, йогам, всем вообще людям, идущим на некий духовный подвиг, он приступал к этой жизни, начиная постепенно «очищать» себя. Старался все более умеренно есть, пить, рано ложился, помногу каждый день ходил, во время же писания, в самые горячие рабочие дни, изгонял со своего стола даже легкое местное вино и часто ел только к вечеру.

Легкий, сухой, напряженный, солнечным июньским утром быстро проходил в кабинет, неся с собой чашечку крепкого черного кофе, которую часто не допивал, погрузившись в работу. По спешному звуку зажигаемой спички в столовой рядом можно было слышать, как он то и дело зажигает папиросу, которую тут же в увлеченье забывает...

Погружался он в то, над чем работал, так глубоко, что бывали случаи, когда, выйдя к завтраку из кабинета и, как лунатик, подойдя к стеклянной двери в сад, за которой шел дождь, он как во сне говорил: «доктор идет», вместо «дождь», и все понимали, что он только что писал о докторе, отце его Лики из «Жизни Арсеньева»...

Во время писания, к нему можно было смело войти в кабинет, взять что нужно и уйти — он никогда не сердился, может быть, даже не замечал входившего. Думаю, вообще трудно найти среди писателей более легкого, нетребовательного человека, каким он был, когда писал. Можно было дивиться его смирению, когда он начинал с какой-нибудь самой скромной маленькой картинки, сценки, когда он, столь прославленный в своем изобразительном искусстве, подолгу вглядывался в себя, чтобы поточнее выразить то единственное, что надлежало сказать при описании старухи-побирушки «в прямых чулках на сухих ногах» или «по-вдовьи свернувшейся» на крыльце собаки...

Для него, как для моряка Бернара, описанного Мопассаном, столь поразившего Бунина, что он дважды возвращался к нему в своих писаниях, не было недостойных, неважных вещей на корабле его искусства. Все должно было быть безупречно, все должно было блестеть последним совершенным блеском...

Работая так сам, он и к другим писателям, особенно к молодым, часто присылавшим ему рукописи, был требователен порой до жестокости. Но происходило это, главным образом, от страстности его натуры, от непониманья, как можно обращаться так небрежно и неряшливо со своим родным языком. И он учил молодых писателей не только чистоте этого языка, но и уменью видеть вещи, смотреть на них, старался развивать их вкус, указывая на все «низкопробное, мелкотравчатое», что он видел в их писаниях.

И в то же время он был снисходительнее многих в том, что касалось критики его самого, замечаний по поводу какого-нибудь выражения в его рукописи,— выслушивал эти замечания внимательно, и если находил, что верно, исправлял. Был болезненно чувствителен к внешнему виду своей только что перепечатанной рукописи, хотел, чтобы бумага всегда была чистая, лента в машинке яркая, был неумолимо требователен к знакам препинания, находя их такими же важными, как дыхание в пении. Он сам готовил свои книги к печати и отсылал их в таком виде и с такими точными пометками для печатающих, что, казалось, дальше уже и делать над ними нечего...

Он хотел, чтобы все было совершенно»[1].

О Бунине в Грассе пишет художница Т. Д. Логинова-Муравьева: «Иван Алексеевич называл Грасс «пустыней». Любил и наслаждался он природой и много писал стихов здесь — но, кроме природы — восходов, огненных закатов, ослиных тропинок, заброшенных ферм, с кипарисами и цветущим розовым миндалем, — здесь *безлюдие* — истинная «пустыня» — а без людей Иван Алексеевич ужасно скучал. Поэтому и жили, подолгу гостили, и просто жили с ним и в Бельведере — и позже на «Villa Jeannette» всякий литературный люд... Как он любил жизнь — не признавал ни старости, ни смерти — до самого конца. Похож он был на могучий дуб, который ушел корнями глубоко в почву — и этой подпочвенной водой он и питался, когда все другие растения высыхали. Был сам он частью этой природы, которую он так глубоко понимал, так как жил ею — и был так жаден ко всему, что его окружало. Природная стихия была и его стихией. Было в нем что-то от природы нераздельное...

Вот он живой перед глазами — с тончайшей улыбкой, с слегка прищуренным и насмешливым взглядом, с потоком рассказов о прошлом и с таким метким анализом всех и вся («Вы одним словом пришпилили!») — что только диву даешься!»[2]

Годы войны Бунины также прожили в Грассе, «хотя в Париже,— пишет Вера Николаевна,— и была у нас квартира. Жили в английской вилле, очень богатой, высоко над городом. Спасли ее от расхищения завоевателей»[3].

«В Грассе,— говорит Л. Ф. Зуров в письме к автору данной работы от 4 апреля 1962 года,— Бунины вначале

снимали виллу (а не дом) с прекрасным садом (оливковые деревья, пальмы, кедры, приморские сосны, агавы) «Mont-Fleuri». На этой вилле у них гостили литераторы, долго жили Шмелевы. Своей виллы у Ивана Алексеевича никогда не было. «Mont-Fleuri» принадлежала мэру города Грасса Рукье. Ему принадлежала и соседняя вилла (расположенная выше, на склоне тех же альпийских предгорий) «Бельведер». Ивану Алексеевичу «Бельведер» особенно полюбился. Место более сухое, из окон видны деревни, городки на побережье, Эстерель, Средиземное море.

Во время войны Бунины поселились на вилле «Jeannette», построенной высоко на крутом каменистом обрыве, под которым проходит дорога Наполеона, ведущая на Гренобль. Там мы пережили итальянскую и немецкую оккупацию. Голодали. Об этих временах мы с Верой Николаевной рассказывали явившемуся к нам перед отъездом в Россию журналисту Антонову (Курилову), но он записи делал спешно и, опубликовав их, все перепутал. Скажу одно, в те годы население Грасса съело всех собак и кошек...

Грасские земли плодородием не отличаются, все занято цветоводством (жасмин и розы). Немного помогал огород, который я, приехав (во время войны) на виллу Жаннет, разбил на террасах (лук, чеснок, пуашиш, бобы, порей и помидоры), но место было сухое, воды не хватало.

При немцах Иван Алексеевич не печатал ни строчки. Ивану Алексеевичу из Швейцарии предлагали сотрудничать в издававшихся в оккупированных землях газетах и журналах, но он отказался. Был прислан потом к нам из города Канн человек. Мы думали, что это очередной гость, но он предложил Ивану Алексеевичу и мне сотрудничать в журналах и газетах. Мы отказались.

Во время оккупации немцы привезли в Грасс советских военнопленных, заставили их рубить лес и работать на хлебопекарнях. Это были солдаты, носившие еще советскую форму (потом им немцы выдали американские комбинезоны защитного цвета), их доставили прямо из Гатчины. Их охраняли военные полицейские с собаками. Вначале их не отпускали с работ, но потом немцы разрешили им прогуливаться и вне лагеря, так как пленные французского языка не знали и бежать из

Грасса не могли. Вот эти солдаты (из Ленинграда, Москвы, Донецкого бассейна, Белоруссии, Украины) бывали у нас. В столовой Иван Алексеевич с жадностью слушал их рассказы. Они делились с нами черным хлебом, пели, слушали радио. Все они после освобождения Грасса уехали в Марсель к советскому полковнику Пастухову. Вернулись в СССР. Найдите этих людей. Они вам многое расскажут...

Было ли опасно? Да. В трехстах пятидесяти метрах от нашей виллы (в санатории «Гелиос») помещался немецкий штаб, который охраняли автоматчики, вооруженные ручными гранатами. Об этом периоде я вам потом расскажу».

«Это... был штаб,— писал мне Зуров 16 апреля 1965 года,— немецкого транспорта... Русские шоферы из этого штаба были на вилле «Jeannette» два-три раза. Это одного из них Иван Алексеевич спросил: «Родину защищаете?» А тот ответил горестно и печально:

«Перед родиной мы виноваты».

Двадцать первого сентября 1965 года, отвечая на заданные мною вопросы, Г. Н. Кузнецова писала:

«Вы спрашиваете, в какие годы Иван Алексеевич жил на «Бельведере». С абсолютной точностью ответить вам не могу, так как моя жизнь на «Бельведере» началась с 27-го года, в 26-м я была у Буниных в первый раз, было это в августе 1926 года, в предыдущие годы они, кажется, тоже жили там по полгода, меняясь с друзьями. Думаю, что жили там с 24-го года по полгода, а то и больше[1]. Жизнь в Грассе была для Ивана Алексеевича условием писанья, он там отходил от парижской суеты, сосредоточивался, готовился к писанию, как к некоему подвигу, даже режим его менялся, он почти переставал пить вино, мало ел, вообще очищал себя. Весь дом тогда жил ровной рабочей жизнью, все рано вставали, целый день сидели по своим комнатам, работая над чем-нибудь, вечером ходили гулять и рано ложились. С «Бельведером» было покончено во время объявления войны; затем Бунины после недолгого пребыванья в Париже сняли виллу «Жаннет», тоже в Грассе, где и жили до конца войны. На «Бельведере» перебывало множество народа, многие жили там с Буниными еще до меня, знаю, что гостили Ростовцевы, Кульманы, одно время Шмелевы, при мне — Рощин, Зуров, недол-

гое время гостил Зайцев. На зиму Бунины уезжали в Париж, а виллу «Бельведер» занимали делившие ее с Буниными Фондаминские (он был одним из редакторов «Современных записок»). О Рощине писать вам нечего, я достаточно о нем писала в «Грасском дневнике», скажу только, что Иван Алексеевич относился к нему несерьезно. Рощин его «развлекал», писаньям его не придавал большого значенья, любил дразнить его. Вера Николаевна с Рощиным часто сражалась, у них на все были разные взгляды. Вообще, правду сказать, мы все к Рощину относились несерьезно, но он был несчастным человеком и ужасно тяжело болел впоследствии. О Зурове Иван Алексеевич был высокого мненья как о писателе, то есть считал его талантливым и хотел помочь ему окончить роман, для чего и выписал его из Риги».

Бунин писал Н. Д. Телешову 8 мая 1941 года:

«...Мы сидим в Grasse'е (это возле Cannes), где провели лет 17 (чередуя его с Парижем), теперь сидим очень плохо. Был я «богат» — теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» — теперь никому в мире не нужен,— не до меня миру! В. Н. очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов («Темные аллеи».— *А. Б.*), но куда ее теперь девать?

...Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой»[1].

Если бы «Темные аллеи» были изданы, это могло сколько-нибудь обеспечить его средствами к жизни. Бунин писал в США Андрею Седых 13 июня 1942 года:

«Шлю Вам и madame сердечные приветствия и обращаюсь с усердной просьбой: помогите, если можете, издать там у вас по-русски, а может быть, и по-английски, мою новую книгу «Темные аллеи», рукопись которой вся находится у Марка Александровича (Алданова.— *А. Б.*). Мне кажется, что, будучи издана в небольшом количестве экземпляров (по-русски), она могла бы разойтись и принести мне некоторую сумму. Прошу помощи в этом деле именно у вас потому, что вы единственный деятельный человек из всех моих тамошних друзей, совсем теперь забывших меня. Был бы ужасно рад, если бы это дело вышло — вы знаете, в какой нужде я... На условия я согласен на всякие»[2].

Андрей Седых, любезно приславший фотокопию этого письма, сообщил следующее:

«Открытка от 13 июня 42 г. была написана вскоре после того, как мы с женой... переехали на жительство в Америку. Бунин жил тогда в Грассе, в так называемой «свободной зоне», откуда можно было писать в Соединенные Штаты, пока немцы не оккупировали и «свободную зону»... С этой открытки начались мои хлопоты с изданием «Темных аллей», рукопись которых я получил с оказией. Русское издание я выпустил быстро (в 1943 году. — *А. Б.*), основав для этого в Нью-Йорке издательство «Новая земля». С переводом на английский была страшная возня. Не было издателя. Наконец, некий г. Танько, представлявший небольшую американскую издательскую фирму, захотел книгу издать, но предложил за нее аванс только в 300 долларов; Иван Алексеевич не соглашался, но в конце концов вынужден был согласиться,— нужда одолела... Шел спор из-за названия книги,— по-английски буквальный перевод слов «Темные аллеи» не годился,— это имеет совсем иной смысл, довольно бандитский, а не тот, который имел в виду И. А. Затем выяснилось, что некоторые рассказы содержат фразы чрезмерно «натуралистические»,— четверть века назад в Соединенных Штатах это легко могли подвести под порнографию (в чем многие русские и без того обвиняли Бунина и устно, и в печати). И. А. поручил мне и М. А. Алданову, по нашему усмотрению, удалить те места, которые были спорными с точки зрения «общественной морали». Насколько я помню, мы цензуровали только три-четыре фразы,— И. А. охотно на это согласился.

Это издание «Темных аллей», к несчастью, никаких дополнительных денег, кроме 300 долларов, ему не принесло. Книга вышла в конце 47 г.».

В 1942 году, перед отъездом в США, Андрей Седых виделся с Буниным, и Бунин говорил ему:

«Плохо мы живем в Грассе, очень плохо. Ну, картошку мерзлую едим. Или водичку, в которой плавает что-то мерзкое, морковка какая-нибудь. Это называется супом... Живем мы коммуной. Шесть человек. И ни у кого гроша нет за душой,— деньги Нобелевской премии давно уже прожиты. Один вот приехал к нам погостить денька на два... Было это три года тому назад, с тех пор

вот и живет, гостит. Да и уходить ему, по правде говоря, некуда: еврей. Не могу же я его выставить? Очевидно, нужно терпеть, хотя все это мне, весь нынешний уклад жизни, чрезвычайно противно. Хорошо еще, что живу изолированно, на горе. Да вы знаете,— минут тридцать из города надо на стену лезть. Зато в мире нет другого такого вида: в синей дымке тонут лесистые холмы и горы Эстереля, расстилается под ногами море, вечно синее небо... Но холодно, невыносимо холодно. Если бы хотел писать, то и тогда не мог бы: от холода руки не движутся.

— В прошлом году,— продолжал свой монолог Бунин,— написал я «Темные аллеи»,— книгу о любви. Лежит она на столе. Куда ее девать? Возьмите с собой в Америку,— может быть, там можно напечатать. Есть в этой книге несколько очень откровенных страниц. Что же,— бог с ними, если нужно — вычеркните... А в общем, дорогой, вот что я вам скажу на прощание: мир погибает. Писать не для чего и не для кого. В прошлом году я еще мог писать, а теперь не имею больше сил. Холод, тоска смертная, суп из картошки и картошка из супа.

...Бунин рассказал, как 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на Россию, арестовали в Грассе всех русских. Его не тронули. Спасли годы. Но полицейский комиссар все же явился на виллу с обыском»[1].

Бунин прятал у себя людей, подвергавшихся фашистским преследованиям. Он спас от карателей пианиста А. Б. Либермана и его жену.

«Да, мы хорошо знали Ивана Алексеевича и Веру Николаевну,— писал мне А. Б. Либерман 23 июня 1964 года.— Во время войны они жили в Grasse, а мы недалеко от Grasse — в Cannes, на юге Франции. Иван Алексеевич часто бывал в Cannes и заходил к нам, чтоб потолковать о событиях дня.

Как сейчас помню жаркий летний день в августе 1942 года. Подпольная французская организация оповестила нас, что этой ночью будут аресты иностранных евреев (впоследствии и французские евреи не избежали той же участи). Мы сейчас же принялись за упаковку небольших чемоданов, чтоб скрыться «в подполье». Как раз в этот момент зашел Иван Алексеевич. С удивлением спросил, в чем дело, и когда мы ему объяснили,

стал настаивать на том, чтобы мы немедленно поселились в его вилле. Мы сначала отказывались, не желая подвергать его риску, но он сказал, что не уйдет, пока мы не дадим ему слова, что вечером мы будем у него.

Так мы и сделали — и провели у него несколько тревожных дней. Это как раз было время борьбы за Сталинград, и мы с трепетом слушали английское радио, совершенно забывая о нашей собственной судьбе...

Пробыв около недели в доме Бунина, мы вернулись к себе в Cannes. В это время Иван Алексеевич был стопроцентным русским патриотом, думая только о спасении Родины от нашествия варваров» [1].

Шестнадцатого апреля 1965 года Л. Ф. Зуров писал мне:

«Это были страшные дни. В Каннах и Ницце тогда шли облавы. И какие! Я ездил за продовольственными карточками Либерманов в каннскую мэрию и был свидетелем страшных дел. Арестовывали тогда людей не только на квартирах, но и на пляже. Тогда был схвачен любимый ученик Либермана Китаян и увезен в Ниццу. (Он погиб в пути. Задохнулся в товарном вагоне. У него была астма. А. Б. Либерман считал Китаяна исключительно талантливым человеком). Арестованных сгоняли в выставочный павильон и эшелонами отправляли в лагеря».

В письме от 20 мая 1965 года Андрей Седых писал:

«...У Буниных прятались от немцев не только Либерманы, но и Бахрах; человек этот имел некоторое отношение к литературе. Пришел он к Бунину и просил приютить его на несколько дней, а остался на много месяцев».

Об этом же пишет и Л. Ф. Зуров:

«Во время войны у Буниных спасался парижский литератор Александр Васильевич Бахрах. Он явился в Грасс после отступления французской армии. Всю войну провел у Буниных. В самые опасные времена Вера Николаевна его крестила (в маленькой церкви, находившейся в Канн ла Бокка), а я для Александра Васильевича достал необходимые документы у священника каннской церкви Соболева. Во время пребывания в Грассе французских эсесов, которые являлись с русского фронта, Бахрах был на улице арестован ими, отвезен в штаб, но выданная Соболевым бумага его спасла» [2].

В 1966 году А. В. Бахрах опубликовал воспоминания о Бунине:

«Мне посчастливилось наблюдать за ним в период писания «Темных аллей». Большинство рассказов, составивших этот последний прижизненный том его художественной прозы, сочинял он в военные годы, в период нашего сидения на вилле Жаннет, в Грассе, в Приморских Альпах. Он писал свою книгу запоем, словно все время торопился, боялся не поспеть, боялся, что военные события воспрепятствуют ее завершению. Бывали недели, когда он с утра буквально до позднего вечера запирался (неизменно на ключ!) в своей большой комнате, во время оно уютной и очень «барской», но приведенной им в какое-то неописуемое, неправдоподобное, хаотическое состояние. Из четырех огромных итальянских окон этой комнаты вдалеке виднелось море, а в особо ясные дни и очертания итальянских берегов (дом стоял на крутой горе, у той дороги, по которой бежавший с Эльбы Наполеон шел отвоевывать Францию),— на переднем плане причудливо расстилался Грасс, окруженный альпийскими отрогами с их жасминовыми и розовыми склонами. Чтобы отдохнуть от долгого писания, Бунин нередко подходил к этим окнам, смотрел на лазурное море (лазурным оно, впрочем, бывало далеко не всегда), на прилегающий к вилле, расположенный террасами сад, в котором работал старый садовник-провансалец — главный его враг в это время! — а то стоял у окна в нетерпеливом ожидании весьма неаккуратного почтальона, приносившего газеты. На невзрачные листы ниццской газеты Бунин неизменно набрасывался с жадностью — и очень обижался, если кто из домашних до него невзначай взглянул хотя бы на заголовки очередного номера. Он уверял, что газета, кем-либо до него прочитанная, вместе со своей свежестью теряет для него всякий интерес.

Из своего обиталища он спускался только к скудным трапезам (как по-другому назвать их?), возвещавшимся гонгом с некоторой неуместной торжественностью. Эти общие трапезы неизменно сопровождались проклятиями по адресу «фюрера» (хорошо, что у стен не было ушей!), Петена...» [1]

В своих воспоминаниях А. В. Бахрах приводит интересные сведения о работе Бунина:

«...Работал он не только над своими рассказами, по несколько раз им переписывавшимися. Одновременно он записывал в различные тетрадки с картонными обложками различных цветов, до которых был большой любитель, какие-то словечки, обрывки будущих диалогов для еще не рожденных произведений, составлял списки пришедших ему на память областных выражений (к которым, собственно, никогда не прибегал)... собирал по категориям имена и отчества для своих будущих героев, придумывал им фамилии, уверяя, что для каждого писателя необычайно важно дать своему герою подходящее имя и что неудачно окрещенный герой одним своим именем способен погубить любое произведение. Вспоминаю в связи с этим, как он любил трунить над неправдоподобным чеховским Симеоновым-Пищиком. Вижу теперь перед глазами эти длинные колонки имен и фамилий, расположенные по категориям: купцы, мещане, дворяне, татары, евреи, учителя, доктора, писатели и т. д. Сохранились ли все эти списки, все эти записи? Или эти грасские тетради стали жертвой одного из тех аутодафе, которые Бунин периодически устраивал в своей печурке, опасаясь, как он утверждал, что какой-нибудь «монах трудолюбивый», вернее, что кто-нибудь когда-нибудь проникнет в его творческую лабораторию и какие-то литературоведы, — а чрезмерной благосклонностью к ним он не отличался, — будут копаться в его черновиках и придут к каким-то заключениям, которые он, словно заглядывая далеко вперед, считал несообразными и ему глубоко враждебными. Когда он обрекал пламени свои черновики, он сам очень старательно засовывал их в свою печурку, сам их поджигал и не отходил от печурки до тех пор, пока не превращался в пепел последний листок покрытой его красивым почерком бумаги.

В частности, на моей книжной полке и по сей день стоит экземпляр первого парижского издания «Жизни Арсеньева», который мне однажды удалось спасти — правда, не из печурки, а из камина. Очевидно, и эта книга была «приговорена к смерти». Экземпляр этот от начала до конца весь испещрен авторскими поправками, делавшимися Буниным, как гласит его собственноручная надпись на обложке, еще в феврале 1934 года. В подавляющем большинстве это не столько правка, сколько сокращения. Но все же, наряду с этим, в перво-

начальном тексте Бунин сделал немало стилистических усовершенствований и перестановок, а ряд выражений смягчил...»[1].

Бахрах продолжает: «Всякое поражение союзных армий, раздуваемое местными радиостанциями, он переживал как трагическое и непоправимое событие. Помню то отчаяние, которое овладело им при известии об оставлении англичанами Тобрука, хотя точно, где находится этот самый Тобрук и какое стратегическое значение может иметь его эвакуация, никто из нас никакого представления не имел. Вспоминаю также, как он волновался в дни перевыборов Рузвельта, уверяя всех, что если Рузвельт не будет больше президентом Соединенных Штатов — это вызовет закат Европы, не в шпенглеровском, а во вполне конкретном смысле. Помню также, с каким волнением он следил за сталинградской битвой — то считая, что все потеряно, то — несколько часов спустя — переходя от чрезмерного пессимизма к преувеличенно радужным надеждам. В жизни Бунин был крайне нетерпелив, и оттого ему непременно хотелось, чтобы военные события развивались в том темпе, который был свойствен его природе.

Всякое новое распоряжение вишийских или позже оккупационных властей приводило его в неистовство, но он никогда не думал о тех способах, какие можно отыскать, о тех лазейках, которыми можно воспользоваться, чтобы этим распоряжениям не подчиняться. Он был несколько труслив и нерешителен, когда дело касалось, если можно так в данном случае выразиться, «мелочей», но иной раз почти героичен, когда дело шло о чем-то действительно существенном и принципиальном. Оккупантов с их наглыми лицами, гортанной речью, стучащей походкой, с их жестокостью и каким-то отсутствием человеческого облика он ненавидел не только политически или по-человечески, но и с точки зрения эстетической — для него это было не только «нашествие иноплеменных», это было нечто, что, в первую очередь, вызывало в нем брезгливость.

Ежевечерне (в остальное время дня это никогда нам не удавалось) он сходил в столовую, где стоял большой радиоприемник и силился поймать Лондон или Швейцарию и особенно стал интересоваться ходом военных действий с момента гитлеровского наступления на Россию.

В своей комнате он развесил огромные карты Советского Союза и внимательно следил за штабными сводками, негодуя, когда какую-нибудь местность, упомянутую в этих сводках, он не находил на своих картах. Только когда нацистские армии проникли слишком далеко в глубь советской территории, перестал он делать отметки на картах, «чтобы не огорчаться». Помню, как в дни Тегеранского совещания он говорил: «Нет, вы подумайте, до чего дошло — Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай бог, чего в дороге не случилось!»[1].

В письме к В. В. Шмидт 15 декабря 1943 года Бунин сообщал:

«...Вера Николаевна стала так бледна и худа, что смотреть страшно, я так слаб, что задыхаюсь, взойдя на лестницу: пещерный сплошной голод, зимой — нестерпимый холод, жестокая нищета (все остатки того, что было у меня, блокированы за границей, со всеми моими издателями я разобщен, заработков — никаких) и дикое одиночество: вот уже три года, даже пошел четвертый, сидим безвыездно в Grasse'е — куда же теперь выедешь! Написал я за это время все же целую новую книгу рассказов, пишу и сейчас понемногу — и все только для ящиков письменного стола!»

Седьмого апреля 1944 года Бунин писал В. В. Шмидт:

«Пережили месяц большой тревоги — нас, иностранцев, хотели выкинуть из Alpes Maritimes, но пока не трогают».

По словам Бунина, немецкое гестапо «долго разыскивало»[2] его.

Бунина звали в Америку, в частности, писал ему об этом М. А. Алданов еще 15 апреля 1941 года:

«...Если вы питаетесь одной брюквой и если у Веры Николаевны «летают мухи», то как же вам оставаться в Грассе?! Подумайте, дорогой друг, пока еще можно думать. *Возможность* уехать вам вдвоем — *есть*... Как вы будете жить здесь? Не знаю. Как мы все, — с той разницей, что *вам*, — в отличие от других, никак не дадут «погибнуть от голода»... Вы будете жить так, как жили во Франции тринадцать лет до Нобелевской премии...»[3]

Андрей Седых вспоминает:

«Ивана Алексеевича давно зовут друзья в Америку, сначала он заколебался, а потом уперся:

— Нечего мне там делать. Как жить буду? Тут мы голодаем, но ведь все голодают. Всем вместе как-то легче».

«...Я спросил:

— А теперь? (после «Темных аллей».— *А. Б.*). Когда же вы закончите «Жизнь Арсеньева?»

Бунин сердито пожал плечами:

— Послушайте, дорогой мой... Мир погибает. Писать не для чего и не для кого. И потом от еды нашей я ослабел. В прошлом году я еще мог писать, а теперь не имею больше сил» [1].

Уезжать Бунин не хотел. Вера Николаевна писала в Москву критику Д. Л. Тальникову:

«Откуда вы взяли, что мы хотели уехать из Франции во время второй мировой войны? У нас, прежде всего, были и есть очень близкие друзья, с которыми мы не могли бы расстаться, без нас им было бы очень плохо, особенно одному. И я очень рада, несмотря на полуголодную жизнь, что мы провели на юге. Я рада, что мы делили трудности жизни в те страшные годы и кой-кому помогли. Иван Алексеевич в Грассе был сравнительно здоров и бодр. Легко поднимался в гору. Начал болеть воспалением легких уже в конце 1945 года в Париже, а домой, то есть в нашу парижскую квартиру, мы вернулись 1 мая 1945 года. И до декабря он был здоров, а ему уже в октябре минуло 75 лет. И некоторые знакомые говорили, что в Париже он может простудиться. Острых заболеваний в Грассе у него не было. Один раз был обморок, но это, вероятно, от недоедания. Но тогда все почти недоедали. Мы могли бы уехать в Нью-Йорк, но мы, несмотря на уговоры уехавших друзей, остались во Франции. Конечно, после того, как мы могли выехать из Грасса, Иван Алексеевич сразу стал хлопотать, чтобы ехать «домой»,— в Париже у нас с 34 года квартира, снятая нами без мебели. Мы три раза (после освобождения) за 8 лет ездили в Juan les Pins * на Лазурный берег, а Иван Алексеевич даже 4 раза. Но все же в Париже он несколько раз болел воспалением легких. Оказывается, у него в юности был плеврит,

* Название курорта на Лазурном берегу.— *А. Б.*

и доктор, лечивший его, боялся туберкулеза, поэтому он зимой и весной жил почти всегда на юге...

Пленные у нас не прятались. Они бывали только у нас по воскресеньям, пели, плясали,— талантливый подобрался народ! Приносили вина, коньяку,— они все почти были пекарями и наживались, продавая французам хлеб. С нас денег не брали. Боготворили Зурова. И все были очень настроены патриотично, даже те немногие, которые работали шоферами в немецком штабе,— он находился против нашей виллы. Мы с утра слушали пение о Москве... «Москва любимая» и т. д.

И здоровье, и сердце, повторяю, в Грассе у Ивана Алексеевича было еще вполне соответственно возрасту. Жили мы в роскошной английской вилле, с богатой обстановкой, довольно высоко над Грассом, воздух был чудесный, ну а питание во всех странах было плохое, но Иван Алексеевич все же не очень потерял в весе» [1].

Осенью 1945 года Бунин был приглашен в советское посольство в Париже. Беседа касалась возможного возвращения Ивана Алексеевича на родину.

Бывший посол СССР во Франции А. Е. Богомолов рассказал мне о своей встрече и беседе с Буниным. Он пригласил Ивана Алексеевича к себе на завтрак:

«Бунин пришел. В оживленной беседе с ним, касавшейся как политических, так и других вопросов, я спросил Ивана Алексеевича, как он относится к Советскому Союзу и предполагает ли он вернуться в СССР. И. А. ответил, что к Советскому Союзу, разгромившему гитлеровцев, он относится с большой симпатией и благодарит за любезное предложение вернуться в СССР. И. А. очень одобрительно отозвался о факте возвращения Куприна на родину и о том, как его приняли в Москве. Что касается себя самого, И. А. заметил, что он подумает относительно перспективы возвращения в СССР, добавив, что он больше всего беспокоится о том, сколько времени ему понадобится на то, чтобы изучить так Советский Союз, чтобы слияние с советской тематикой и советскими писателями было бы для него органичным».

Бунин не однажды болел, в письмах жаловался, что для лечения нет средств. Он писал А. Седых 23 февраля 1947 года:

«...Я только последние дни с трудом добираюсь с постели до письменного стола на несколько минут (написать две-три записочки): ровно *два* месяца пролежал в гриппе с страшным кашлем, от которого не спал (и еще не сплю) по ночам и с потерей крови беспрерывной, следствием которой сделалось то, что доктора сказали: «положение И. А. *не безнадежно, но очень* серьезно», и что кровяных шариков у меня теперь меньше на 1½ миллиона, чем полагается быть. Доктора, лекарства, питание (кило печенки у нас стоит теперь 600 франков!) разорили меня вдребезги, а тут предстоит мне еще некоторая операция и отправка меня на юг на поправку...» [1]

Двадцать девятого апреля 1947 года Бунин писал А. Седых из Жуан-ле-Пэн:

«Здоровье мое, кажется, немного лучше. Стал выходить в сад, сидеть на солнце, немного гуляю. Плохо то,— между нами сказать,— что питание в этом «Русском доме» довольно убогое, во всяком случае, не для меня с моим еще порядочным малокровием. Приходится очень многое прикупать — и ужасно разоряться — все страшно дорого,— например, сливочное масло — 900 франков кило! — и многого здесь нет: фруктов, ветчины, хорошего мяса... На прикупку трачу в день 300—400 франков. А тут еще налог за 1945 год в 22 тысячи, который надо вот-вот заплатить в Париже,— пришло новое, уже последнее «предупреждение»,— а вскоре потребуют и за 1946 год. Облагают дико: я показал, что заработал в 45 году 93 тысячи,— и вот *22* тысячи налогу на эту сумму!» [2]

Бунин читал многое из того, что выходило в Москве. Восхищался К. Г. Паустовским и поэмой А. Т. Твардовского «Василий Теркин». 10 сентября он писал Н. Д. Телешову:

«Дорогой Николай Дмитриевич, я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василий Теркин») и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом,— это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни

единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова! Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за «Теркина»[1].

Пятнадцатого сентября 1947 года Бунин писал К. Г. Паустовскому:

«Дорогой собрат! Я прочел ваш рассказ «Корчма на Брагинке» и хочу вам сказать о той редкой радости, которую испытал я: если исключить последнюю фразу этого рассказа («под занавес»), он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы»[2].

В Париже Бунин «не раз дружески виделся»[3] с К. М. Симоновым. В письме Н. Д. Телешову посылал дружеский привет В. П. Катаеву, с которым был знаком еще по Одессе[4].

Материальное положение Бунина становилось все более тяжелым.

Он писал А. Седых 5 декабря 1948 года:

«...Решаюсь наконец сказать вам вот еще что: я стал *очень* слаб, задыхаюсь от энфиземы легких, летом чуть не умер *(буквально)* от воспаления легких, два месяца пролежал в постели, разорился совершенно на докторов, потом на бесполезное лечение энфиземы (ингаляцией), которое мне стоило 24 тысячи — и т. д. 2 января должен уехать с В. Н. опять на зиму в Juan-les-Pins, чтобы не свалиться опять от парижского климата и холода в квартире... Короче сказать: мне пошел 79-й год и я *так нищ,* что совершенно не знаю, чем и как буду существовать. И вот, от совершенного отчаяния, прошу вас — сделайте, ради бога, что-нибудь для меня — попросите, например, Кусевицкого и добрых людей, знакомых его, помочь мне хоть немного.

Возможно, что просьба моя глупа и безнадежна — тогда сожгите это мое позорное письмо»[5].

Известный русский дирижер и музыкальный деятель, президент Общества американо-советской дружбы в годы войны, Сергей Александрович Кусевицкий, по словам А. Седых, «немедленно и очень щедро отозвался на эту просьбу».

По поводу сбора денег для Бунина А. Седых сообщил мне 13 марта 1965 года:

«Письмо от 5—12—48 даст вам очень точное представление о степени нужды, в которой жил И. А., и о его

моральных страданиях, связанных с необходимостью обращаться за помощью к состоятельным людям. В среднем в месяц я высылал ему 100 долларов. Деньги эти я добывал тем, что продавал некоторым моим знакомым книги И. А. по 25 долларов за экз.; позже он присылал мне на отдельных листках автографы для этих людей, и я вклеивал их в книги».

Андрей Седых исхлопотал Бунину у владельца фирмы «Этам» С. С. Атрана «пенсию» 10 000 фр. в месяц, которую Бунин получал до 1951 года, до смерти С. С. Атрана. В ответ на сообщение о деньгах Бунин писал А. Седых 20 января 1949 года:

«Милый Яшенька (настоящее имя А. Седых — Яков Моисеевич Цвибак.— *А. Б.)* на том свете вам кое-что простится за то, что *очень* успокоили вы меня в моей позорной старости на некоторое время... Болен я серьезно: вот уже почти две недели жестокое воспаление век и ноздрей. Зуд и слезы, слезы...» [1]

Надеясь поправить здоровье, Бунин в 1949 году опять отправился в русский дом отдыха Жуан-ле-Пэн. «Иван Алексеевич, — писал Зуров, — уехал на юг в ужасном состоянии. Я Ивана Алексеевича и Веру Николаевну провожал. Иван Алексеевич задыхался. После двух-трех шагов останавливался и садился на раскладной стул, который я для него накануне купил. Я вел Ивана Алексеевича под руку. От такси до железнодорожного контроля мы шли — с частыми передышками и остановками — десять минут. Иван Алексеевич после болезни страшно исхудал. Был невероятно бледен (после потери крови). До вагона мы его с трудом довели. Он шел открыв рот, дыхания не хватало (астма и склероз легких). У вагона мы увидели Г. В. Адамовича и А. В. Бахраха» [2].

«Вспоминаю, как перед самым почти отходом поезда,— рассказывает А. В. Бахрах,— мы зашли с Г. В. Адамовичем в его (Бунина.— *А. Б.)* купе и он, безмерно утомленный переездом из дому до вокзала, приумолкший и какой-то беспомощный, вдруг оживился и неожиданно с азартом воскликнул: «Вот, ежели буду жив и бог даст сил, постараюсь еще свалить Достоевского с пьедестала» [3].

Пятого апреля 1949 года Бунин сообщил А. Седых:

«...Начинаю подумывать об Америке! Серьезно!

Можно ли жить где-нибудь *недалеко* от Нью-Йорка, но *в другом климате?* — ибо в Нью-Йорке ведь нельзя жить ни в каком случае» [1].

По этому поводу А. Седых пишет:

«Иван Алексеевич начал подумывать о переезде в Америку. Во Франции было очень голодно, печататься негде, многие друзья его были в Соединенных Штатах... Я его всячески отговаривал от этой затеи. Знал, что ему тут не понравится, что начинать новую жизнь в 79 лет нельзя. Он и сам скоро передумал, так как здоровье его было уже в таком ужасном состоянии, что о поездке в Америку нечего было и думать» [2].

В октябре предстоял восьмидесятилетний юбилей Бунина. «Романистка Пэрл Бак согласилась возглавить Комитет по чествованию И. А., но из этого ничего не вышло,— пишет А. Седых.— Не было ни публичного чествования, ни денег» [3].

В связи с юбилеем Бунин получил множество поздравительных писем и телеграмм.

Франсуа Мориак писал Бунину 16 октября 1950 года:

«Мой дорогой и знаменитый собрат. Я знаю, что ваши друзья собираются скоро праздновать ваше восьмидесятилетие.

По этому случаю я хочу выразить и свое восхищение, которое я испытываю от вашего творчества, и симпатию, которую мне внушает ваша личность и столь жестокая судьба, какой была ваша.

Разрешите сердечно пожать вам руку. Всем сердцем Ваш

Франсуа Мориак» [4].

Пятнадцатого января 1951 года Бунин писал А. Седых:

«Дорогой Яшенька, очень благодарю за 50 долларов — сколь ни скромна эта «сумма» (особенно теперь, когда кило ужасно соленой, очень скверной ветчины стоит у нас 1000 франков), все-таки и она порадовала,— мы уж совсем впали в нищету за три недели моего плеврита с почти каждодневным приездом доктора, с пенисиллином, с сульфамидами и т. д. Как ухитрился я поймать этот плеврит, не выходя из своей клетки,— ведь я теперь совсем не могу ходить из-за дьявольской боли в правой коленке — один бог ведает! Вообще мое

А вот какое письмо я получил от François Mauriac'a

16 окт. 1950

Mon cher et illustre Confrère,

Je sais que vos amis vont bientôt fêter votre 80ème anniversaire.

Je tiens à vous exprimer à cette occasion et l'admiration que j'éprouve pour votre oeuvre et la sympathie que m'inspirent votre personne et le destin si dur qu'a été le votre

Permettez-moi de vous serrer très affectueusement les mains,

de tout cœur votre

François Mauriac

восьмидесятилетие вышло просто замечательно! «Визгу много, а щетины — на грош!» — как говорили на ярмарках про свиней самой низкой породы. Была надежда на Pearl Buck, а от нее до сих пор ни полушки нет. И *что это значит — ума не приложу!* И если бы я не продал в Америку и тут Calman Levy мои «Воспоминания», пришлось бы В. Н—не на улице милостыньку просить» [1].

В последние годы Бунин просматривал свои книги и многое стилистически правил, готовил для будущих изданий. Он был на редкость взыскательным художником. Он писал:

«Жить мне осталось, во всяком случае, недолго. И приводя в порядок по мере моих уже очень слабых сил мои писания, в надежде,— тоже довольно слабой,— что они будут когда-нибудь изданы, я перечитал их почти уже все и вижу, что я не ценил их прежде так, как они того заслуживают, что они во многих отношениях замечательны по своей оригинальности, по разнообразию, сжатости, силе, по внутренней и внешней красоте,— говорю это не стыдясь, ибо уже без всякого честолюбия, только как художник. Некоторые из них мне особенно дороги, кажутся особенно восхитительны...» [2]

В октябре 1951 года Н. А. Тэффи писала А. Седых:

«Несколько дней тому назад навестила Бунина. У него вид лучше, чем был на юбилее. С аппетитом поговорили о смерти. Он хочет сжигаться, а я отговаривала» [3].

Восьмого ноября 1953 года Бунин скончался. Вера Николаевна писала А. Седых 13 ноября 1953 года:

«Дорогой Яшенька,

Спасибо за письмо, за сочувствие, за статью, которая всем, кто читал ее, понравилась, спасибо за присылку вырезок. Не напечатаете ли вы от моего имени благодарность всем учреждениям, напечатавшим свое сочувствие моему вечному горю. Я очень тронута и от всего сердца благодарю. Кстати скажу, что все, с кем в эти тяжелые дни я общалась, проявили такую любовь и заботу ко мне, что я до гроба донесу восхищенную к ним благодарность. Каждый делал, что мог, и все лучшее в своей душе проявлял ко мне. Вообще атмосфера всех этих пяти дней была необыкновенно легкая. Не удив-

ляйтесь, я думаю потому, что все было насыщено одним чувством скорбной любви, я чувствовала, что все в горе, а не только жалеют меня и сочувствуют мне. Трогала меня и та любовь, которая относилась к Яну, как к человеку и писателю, а главное, та простота, которая всеми чувствовалась, никакой не было фальши. Ко мне приходили и небогатые люди, приносили деньги, моя помощница, в которой Иван Алексеевич души не чаял, принесла мне пятьдесят тысяч,— она копит на памятник своему мужу, я уже не говорю о том, что кто только не убирал комнаты, не подметал полы, не стряпал, я, понятно, была не в состоянии что-либо делать. И, несмотря на горе, в моей душе останется навсегда чувство несказанной радости от того, что я увидала от людей.

А теперь сообщу вам и «читателям» о последнем месяце жизни дорогого ушедшего.

В середине октября он заболел воспалением левого легкого. Конечно пенисиллин и все прочее, и температура скоро стала нормальной, но после этого он все никак не мог поправиться,— очень был слаб и совсем не покидал постели. Доктор Зернов ездил через день, а во время болезни ежедневно. В конце октября был консилиум с доктором Бенсодом, И. А. боялся рака, тот его успокоил, и последний раз Ян вышел в столовую. После был сделан анализ крови у др. Болотова, который меня очень испугал — 50 процентов гемоглобина и 2 600 000 красных шариков. От переливания крови он отказался категорически: «Не хочу чужой крови...» Стали энергично лечить. Но тут опять беда: не принимает лекарств и ест очень мало. Доктор Зернов ездил ежедневно, делал впрыскивания эпатроля и камфары, уговаривал есть и принимать лекарства. И последнюю неделю он более или менее их принимал, но ел мало, хотя все готовилось, что он любил. Голова его была прежняя...

В последнюю субботу, как всегда утром, был Зернов, впрыснул камфару и эпатроль и сказал, что он говорил с профессором Мукеном, который согласился приехать в понедельник без четверти девять. Проф. Мукен большая знаменитость, и три раза он приезжал уже к И. А., в прежние годы, когда он тяжело заболевал.

Это была суббота, день, когда я отлучалась из дома на три часа, уезжая в клинику к Л. Ф. Зурову. Обычно дома оставалась Л. А. Махина, наш друг и помощница,

но на этот раз я попросила А. В. Бахраха прийти к нам в мое отсутствие и посидеть или с Яном, или рядом в столовой, если он его не примет, и в случае надобности позвонить Зернову. Из клиники я по телефону справлялась, как чувствует себя И. А. Л. А. Махина сказала, что Бахрах у него, но прибавила: «Возвращайтесь скорей...» Я поднялась в комнату Л. Ф. и сообщила, что должна уже покинуть его, так как Л. А. советует торопиться. Он взволновался и стал говорить, чтобы я скорей ехала. К слову сказать, он поправляется, и я надеюсь, что через несколько недель он будет дома.

Вернувшись, я не застала Бахраха,—у него было какое-то дело в 5 ч. И. А. сидел. Я помогла ему лечь. Спросила, завтракал ли он? Оказалось, немного не доел телячьей печенки с пюре. Скоро он попросил, чтобы я позвонила Зернову и попросила его приехать опять, он должен был приехать на другой день утром. Я сосчитала пульс — около ста и как ниточка. Позвонила Зернову, он обещал приехать. Дала камфары. Уговаривала пообедать, но от еды, даже от груши, он отказался.

В субботу всегда приходит к нам кто-нибудь из друзей. На этот раз была только Н. И. Кульман, но Ян не мог ее принять,— задыхался. Около девяти часов приехал В. М., впрыснул в вену, боюсь, что не совсем правильно назову лекарство, кажется, джебаин. Уговаривал покушать, сказал, что завтра в половине девятого утра приедет. У лифта он мне сказал, что пульс очень слабый, дыхание плохое.

Около десяти часов мы остались вдвоем. Он попросил меня почитать письма Чехова, мы вторично прочитывали их, и он говорил, что нужно отметить. Во всех биографиях пишется, что день рождения Чехова 17 января, написано это и в копии метрического свидетельства Чехова, которое есть в архиве Ивана Алексеевича, и он хотел начать свою книгу как раз с разговора о крестных его с Чеховым, и он переписал это метрическое свидетельство. Я же помнила, что где-то читала, что Антон Павлович родился 16 января, а 17 января его день ангела. Но И. А. недоверчиво относился к этому, забыв о письме к Марье Павловне, я тоже забыла, где об этом я прочла. И неожиданно дошла до письма от 16 января 1899, Ялта... «Сегодня день моего рождения: 39 лет. Завтра именины; здешние мои знакомые

барыни и барышни (которых зовут антоновками) пришлют и принесут подарки...» «Вот видишь, я права, а не биографы и историки литературы»,— улыбнувшись, сказала я. «Пожалуйста, отметь это и подчеркни, и заложи страницу,— это очень важно». Затем я еще прочла несколько страниц, дочитала до письма к В. Н. Ладыженскому 4 февраля 1899 года. И Ян сказал: «Ну довольно: устал».— «Ты хочешь, чтобы я с тобой легла?» — «Да»... Я пошла раздеваться, накинула легкий халатик.— Он стал звонить. «Что ты так долго». Но ведь нужно и умыться, и кой-что было сделать в кухне. Затем, это было 12 ч., я, вытянувшись в струнку, легла на его узкое ложе. Руки его были холодные, я стала их согревать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся, я спросила, что с ним. «Задыхаюсь», «нет пульса... Дай солюкамфр». Я встала и накапала двадцать капель... «Ты спал?» — «Мало. Дремал»... «Мне очень нехорошо». И он все отхаркивался. «Дай я спущу ноги». Я помогла ему. Он сел на кровать. И через минуту я увидала, что его голова склоняется на его руку. Глаза закрыты, рот открыт. Я говорю ему — «возьми меня за шею и приподнимись, и я помогу тебе лечь», но он молчит и недвижим... Конечно, в этот момент он ушел от меня... Но я этого не поняла и стала умолять, настаивать, чтобы он взял меня за шею. Попробовала его приподнять, он оказался тяжелым. И в этот момент я не поняла, что его уже нет. Думала, обморок. Я ведь первый раз в жизни присутствовала при смерти. Кинулась к телефону, перенесла его в кабинет. Телефон оказался мертвым. Тогда я побежала на седьмой этаж к нашему близкому знакомому, который живет в комнате для прислуги. Стучу и громким шепотом умоляю: «Николай Иванович, кажется, Иван Алексеевич умирает...» Он вышел в халате и сказал, что сейчас придет. Я опрометью кинулась к себе. Ян был в той же позе. Взяла телефон, не реагирует... В это время вошел Н. И. Введенский, и мы подняли и положили Ивана Алексеевича на постель. Но и тут мне еще не приходило в голову, что все кончено. Я кинулась к Б. С. Нилус *, которая

* Б. С. Нилус — вдова художника, большие друзья Буниных, жили с ними в одном доме на rue Jacques Offenbach. *(Примеч. А. Седых.)*

живет напротив нас. Мне было очень неприятно беспокоить ее, так как она сама нездорова, но я все же позвонила. Она сейчас же проснулась, и я кинулась к телефону, но телефон не работал. Я уже хотела просить Введенского, чтобы он сходил в аптеку, ближайшая открыта всю ночь. Но телефон вдруг очнулся, и я позвонила: «Владимир Михайлович, вы необходимы!» — «Сейчас приеду». Живет он далеко. Нужно было одеться, дойти до гаража, взять машину. В это время пришла Б. С. Нилус: и мы стали греть его холодные руки и ноги. У меня уже почти не было надежды, но Б. С. все повторяла. «Он теплый, спина, живот, только руки, руки холодные...» Вскипятили воду и клали мешки к конечностям. Дверь входная была открыта. Мы как раз вышли в столовую, и я увидала входящего бледного, с испуганными глазами Зернова. Он прошел прямо к И. А. Я осталась, не знаю почему, стоять в столовой. Через минуту он вышел к нам: «Все кончено...» Я пошла к постели. «А вы прикладывали зеркало?..» — «Не стоит...»

Мы вышли в столовую, сели вокруг стола. Это были очень жуткие минуты. Я сказала: «Дайте мне собраться с силами»,— и мы минуты три молчали. Я вспомнила слова Яна, когда он говорил мне о своей смерти: «Главное, ты не растеривайся, помни, где мое завещание, как меня хоронить...» Он хотел, чтобы его сожгли, но сделал мне уступку. И, собрав все свои силы, я сказала: «Что же нам теперь делать?» Было три часа ночи. Зернов сказал, что он может закостенеть, и предложил его одеть. И мы принялись за работу. Я, конечно, меньше делала, чем Вл. Мих. и Берта Соломоновна *. Я обтерла его одеколоном. Затем стали обряжать его. Все самое новое. Пришлось открывать черный «нобелевский» сундук, где хранились его костюмы.

Я прочла его завещание: чтобы лицо его было закрыто, «никто не должен видеть моего смертного безобразия», никаких фотографий, никаких масок ни с лица, ни с руки; цинковый гроб (он все боялся, что змея заползет ему в череп) и поставить в склеп. И, слава богу, все было, как он хотел, за исключением того, что служба была торжественная, но о ней ниже. Мы вытащили

* Нилус. *(Прим. А. Седых.)*

его диван в столовую, поставили на место моего, покрыли белой простыней, и когда переложили тело, уже одетое, на эту его постель, то, скрестив руки, я вложила деревянный маленький крестик в руку и закрыла его лицо. Кроме нас трех, видело его еще трое, когда его положили в гроб. Последние дни лицо его было прекрасным. Я неоднократно прощалась с ним и была счастлива, что из-за праздника его оставили лишний день дома. Панихиды бывали ежедневно в половине седьмого вечера. Народу перебывало много. С каждым днем цветов было все больше и больше. В воскресенье посланы были телеграммы и письма, вам, Алданову, Адамовичу, моим близким друзьям. В этот день я спала один час: уезжая, Зернов мне что-то впрыснул в руку. Когда я осталась одна, у меня был припадок печени, что мешало мне заснуть. С восьми часов я стала звонить по телефону. Первым позвонила Струве*, так как у них уже был опыт с похоронами. И младший сын Алексея Петровича быстро ко мне приехал и очень помог. Позвонила Полонским** и еще кому-то, Михайлову, Конюс*** взяла на себя Б. С.

И начался приход друзей. Повторяю, что каждый делал, что мог. Все приносили деньги, конечно, у кого они имелись, и к вечеру у меня было пятьдесят тысяч, когда скончался И. А., у нас осталось всего восемь тысяч франков. Затем на первой панихиде, которую служили владыка Сильвестр, отец Антоний и отец Димитрий, народу было меньше, чем на следующих. Больше всего было в понедельник. Я ездила с П. А. Михайловым на кладбище, где купила для нас на вечные времена могилу, будет сделан склеп, пока гроб с телом стоит во временном склепе.

В воскресенье я попросила доктора сообщить Лене (Л. Ф. Зурову.— *А. Б.)* о нашем горе. В понедельник Л. Ф. позвонил сам мне по телефону и выражал желание приехать проститься с И. А., доктора разрешали, но сказали, что тогда придется прервать лечение, а оно

---

* Это не Глеб Петрович Струве.., а его младший брат, Алексей Петрович (сыновья Петра Бернгардовича Струве).

** Полонский Я. Б. — был женат на сестре Алданова.

*** Конюс — покойная теперь дочь С. В. Рахманинова. *(Примечания А. Седых.)*

принесло большую пользу. И я стала умолять его, чтобы он не приезжал: «Все равно лица его вы не увидите, а я все вам расскажу, как у нас, и вы при вашем воображении, представите»... Говорили мы по телефону около часа, и, слава богу, удалось его уговорить. Беспокоился он и обо мне. И я на следующий день в час обернулась, съездила к нему. Он в сильном горе и заботе обо мне. Доктора ему не сразу сказали, а сказали, что И. А. очень плохо, когда же он через два часа просил разрешение позвонить по телефону, то ему сообщили и о кончине. Он ведь ежедневно читает «Фигаро», а потому скрыть от него было невозможно. Вчера я его опять навестила, привезла все ленты, письма, телеграммы, Вашу статью и другие. И мне в клинике сказали, что сообщение о смерти — был для него шок. Вероятно, через недели две-три его выпишут, и он вернется домой. Он почти здоров, у меня явилась твердая уверенность, что он кончит скоро «Зимний Дворец». Сейчас он занят своими литературными делами.

Во вторник было положение во гроб. В четверг похороны. Половина девятого приехали за гробом. Мы в немногочисленном числе его сопровождали. Приехала моя племянница, родная внучка С. А. Муромцева, накануне, она служит на севере Франции. В этот день было двадцать лет со дня смерти моего брата, и мне удалось отслужить по нем панихиду. И. А. его любил больше всех из моей семьи. Потом мы пошли погреться в кафе, напротив, выпили кофе. А затем вернулись в церковь. Служили владыка Сильвестр, отец Григорий Ломако, отец Александр Чекан, отец Антониз Карпенко и отец Димитрий Василькиоти. Все было очень торжественно при полном освещении. Хор пел необыкновенно хорошо. Все говорят, что такого отпевания никогда еще не было и по какому-то особенному настроению, и по сосредоточенности, и по сдержанному горю, хотя многие плакали. Увы, я плакать не могу, подступают слезы, глаза делаются влажными, и все. На шаляпинских похоронах народу было больше, но, может быть, и от этого не было такой торжественности и красоты. Много народу ко мне подошло, вероятно, прощание взяло около получаса. Затем гроб вынесли на руках. Говорят, что были фотографы, но я не видала. Со мной везли гроб самые близкие: моя племянница, наша Олечка, которая зовет

И. А. «Ваней», ее мать, Л. А. Махина, Н. Ф. Любченко, М. А. Каллаш, Т. Ф. Ляшетицкая, Т. И. Алексинская. Мои родные, жена Шестова и ее дочь Баранова с мужем ехали в своей машине, был и большой автобус переполненный и собственные машины.

Много было жерб*: от Марка Александровича, огромный из крезантэм, необыкновенно красивых, а Иван Бунин де Марк Алданов (по-французски)**, из белых тоже огромный из «Возрождения» «последнему славному»... от Имки***, от лондонского Пэн Клуба эмигрантов, от «друзей» Крест из цветов — это те, кто под председательством В. А. Маклакова решили сделать похороны на «общественный счет»... потом от «Объединения писателей» из сиреневых крезантэм, большой жерб от Конюс, тоже очень красивый, а затем много букетов самых разнообразных цветов. Это тоже было против «его воли», но я не обнародовала, сказала только Барановым, когда они принесли большой букет цветов. Жерб от Павловских,— они в Швейцарии.

День был чудесный и, когда мы ехали уже мимо лесов, то все вспоминалось: «Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный...» — и меня как-то успокаивало, что это осенью в такой солнечный день, какой он особенно любил.

На кладбище нас встретил отец Александр Ергин и хор кладбищенский, очень хороший. Могила еще не начата. Поставили во временный склеп, то есть все, как он хотел. Отслужили литию. Разложили цветы. Ленты все дома. Пошли к нашей могиле. Она вблизи Тэффи и других друзей и знакомых. На могилу Тэффи положили цветы от Ивана Алексеевича.

Возвращалась я с Конюс на их машине. По дороге мы купили кое-что для еды, так как близкие друзья должны были приехать, чтобы провести этот первый вечер *без него* со мной. Все принялись за работу, вымели пол, накрыли стол, стряпали в кухне, и когда все было готово, то стали говорить о нем. Л. С. Врангель****,

---

* венков *(франц.)*.

** От *франц.*: à Ivan Bounine de Mark Aldanoff — Ивану Бунину от Марка Алданова.

*** Издательство «Ymca-Press».

**** Дочь С. Елпатьевского. *(Примечание А. Седых.)*

знавшая его за много лет до меня, рассказывала, что его тогда звали все его приятельницы: М. К. Куприна, С. М. Ростовцева — «Ваничкой Буниным, что он был элегантен, очень живой и веселый», что «отец ее его очень любил (С. Я. Елпатьевский) и предсказывал славу». Пришел и А. М. Михельсон, и Струве, были Жировы, М. А. Каллаш, чета Любченко, одна болгарка Дора, Н. И. Кульман, Каминские, Болотов. Струве читал вслух его стихи. Настроение было печально-радостное, пишу радостное потому, что опять царствовала любовь к нему и чувствовалось общее горе. Я не упомянула о Л. А. Махиной и Б. С. Нилус. Часам к десяти все разошлись, и я осталась одна...

Вот вкратце, наспех настрочила я вам. Возьмите для себя, что нужно, а это письмо *обязательно* дайте прочесть *Гале, Марге* *, *Кодрянским полностью,* так как они всех знают, и им будет интересно.

Во время писания меня то и дело отрывали, то телефон, то визитеры.

Сегодня у меня болит голова, хотя я спала больше, чем предыдущие ночи.

Леня просил вам передать дружеский привет, сказать, что ваша статья ему понравилась, он очень тронут и благодарит тоже газету за то отношение, которое она проявила к нашей утрате. Он попросил поклониться и Марку Ефимовичу **, от меня тоже передайте самые сердечные слова.

Простите за описки, за некоторые неточности, я ведь очень устала.

Храни Вас бог. Поцелуйте Женичку ***.

Ваша *Вера Бунина.*

Еще раз спасибо за все.

Болотов мне сказал, что одно легкое уже не работало, а что во втором плохо рассасывался фокус, судит по анализу крови. Кому-то Ян сказал: «Душа с телом расстается». Я все приставала к нему, когда он стонал, что он чувствует, он не объяснял. Я говорила: «Ведь

---

* Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун.

** М. Е. Вейнбаум.

*** Евгения Иосифовна Липовская, жена Андрея Седых.

ты умеешь это делать, отчего молчишь?» Не хотел меня пугать» [1].

Доктор Владимир Михайлович Зернов рассказал мне при встрече в Москве 30 июля 1966 года, что Бунин умер от сердечной астмы, склероза легких и сердечной недостаточности.

Похоронен Бунин на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Надгробие сделано по эскизу художника А. Н. Бенуа, исполненном по фотографии, которую прислал из древнего Изборска Л. Ф. Зуров [2].

Зуров «в 1928, 1935, 1937 и 1938 годах вел археологическое обследование Изборского края»,— писал он автору этой работы 29 июля 1965 года. Его внимание привлекли в церкви Николы Городищенского (на Труворовом городище) вмурованные в ее стены *«обетные каменные кресты. Такие кресты стоят на местах боев с тевтонскими и ливонскими рыцарями.* Такой крест поставлен и на могиле Ивана Алексеевича, так как он очень полюбил каменный крест, стоящий на Труворовом городище (вблизи Николы Городищенской церкви). Я из Изборска послал Ивану Алексеевичу открытку (она находится в архиве) с этим крестом. Художник Бенуа нарисовал, по желанию Веры Николаевны, этот крест для мастера каменных дел, который сделал по этому рисунку крест Ивана Алексеевича».

На парижской квартире остался большой архив, в частности Собрание сочинений в одиннадцати томах, изд. «Петрополиса» (Берлин, 1934—1936) и другие книги, исправленные автором (дубликаты этих томов, черновые материалы, хранятся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина). В публикации переписки М. А. Алданова с Буниными («Новый журнал», Нью-Йорк, 1965, № 81, стр. 143—144) сообщается, что «Алданов усиленно уговаривал Бунина продать архив в Колумбийский университет, но Бунин отказался» и что «желание покойного Бунина» состояло в том, «чтобы его архив, рано или поздно, но хранился в России».

ПРИМЕЧАНИЯ



Материалы, которые используются в настоящей работе, находятся во многих архивохранилищах СССР.

Архив брата И. А. Бунина, Юлия Алексеевича, умершего в 1921 году, был перевезен на хранение к К. П. Пушешниковой, вдове племянника И. А. Бунина — Н. А. Пушешникова. К ней перешел и архив брата жены И. А. Бунина, Дмитрия Николаевича Муромцева, после его смерти в 1930-х годах (Большой архив Павла Николаевича Муромцева во время войны почти весь был расхищен, исчезло много автографов Бунина, лишь немногие рукописи рассказов и писем попали в Государственную библиотеку СССР имени В. И. Ленина, а дневник Бунина за годы революции из собрания П. Н. Муромцева был куплен Н. П. Смирновым-Сокольским у некоего Барашкова — литератора, печатавшегося в журнале «Сибирские огни»). Собрание рукописей К. П. Пушешниковой оказалось под угрозой уничтожения во время войны, так как в дом, где она жила (ул. Воровского, д. 8, кв. 22), попала бомба. Большую часть материалов, разбросанных по разрушенной квартире, К. П. Пушешникова собрала и перевезла на время к Д. Л. Тальникову, известному литературному и театральному критику. Впоследствии часть имеющихся у нее материалов К. П. Пушешникова передала в Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, а основной рукописный фонд Ю. А. Бунина и Д. Н. Муромцева — Государственному музею И. С. Тургенева в Орле.

В этом музее хранится большое количество писем И. А. Бунина к Ю. А. Бунину и к В. В. Пащенко, письма к родным, переписка с А. Н. Цакни и В. Н. Муромцевой-Буниной, письма В. Н. Муромцевой-Буниной к брату Д. Н. Муромцеву и ее переводы (в частности, «Воспитание чувств» Флобера), отредактированные Буниным. Осо-

бый интерес для исследователей творчества Бунина представляют хранящиеся здесь автографы многих рассказов и стихов Бунина (черновые и беловые рукописи, корректуры с исправлениями автора) *. В тургеневском музее имеется также собрание газетных и журнальных вырезок с публикациями произведений Бунина и отзывами критики о нем. На многих из них есть пометки Бунина.

Разнообразные рукописные материалы Бунина находятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР: автографы повестей, рассказов и стихотворений, в том числе — и некоторых произведений, написанных за рубежом («Жизнь Арсеньева», «Митина любовь» и др.), много писем к Ю. А. Бунину, переписка с А. И. Куприным, И. А. Белоусовым, А. М. Федоровым, письма к С. Н. Кривенко, С. А. Найденову, Н. С. Клестову-Ангарскому и др., а также письма Бунина к издателям и редакторам журналов и газет.

Часть переписки Бунина хранится также в отделе рукописей Института мировой литературы. Здесь имеются письма к В. В. Пащенко, Н. Д. Телешову, А. С. Черемнову.

Большое собрание автографов Бунина принадлежит Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина: рукописи произведений Бунина и его книги со сделанными его рукой исправлениями, письма Бунина к А. П. Чехову, М. П. Чеховой, Н. С. Клестову-Ангарскому, Д. Л. Тальникову, А. Е. Розинеру, А. Б. Дерману, С. Д. Махалову, Ф. И. Благову и др.

Автографы ряда произведений Бунина и многих писем хранятся в Институте русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом) в Ленинграде: письма к В. Я. Брюсову, В. С. Миролюбову, С. П. Боголюбову, Н. В. Гаврилову, А. А. Луговому, В. П. Кранихфельду, Д. Н. Овсянико-Куликовскому, А. А. Измайлову, М. В. Аверьянову, Д. Я. Айзману и др.

Автографы произведений и писем Бунина имеются также в Государственной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

Письма Бунина к Л. Н. Толстому находятся в Государственном музее Л. Н. Толстого, письма А. М. Горькому — в Архиве Горького (при Институте мировой литературы АН СССР).

Лишь частично переписка Бунина опубликована — напечатаны

---

* В этом архиве хранится перевод на русский язык сведений об острове Цейлоне какого-то иностранного автора, сделанный Н. А. Пушешниковым, который подражал почерку И. А. Бунина. Литературовед С. Л. Гольдин ошибочно считает этот перевод дневником И. А. Бунина (см.: С. Л. Гольдин. Антиколонизаторская тема в творчестве И. А. Бунина. — Орехово-Зуевский пединститут, «Ученые записки», т. 21, вып. 4, Орехово-Зуево, 1964, стр. 5—6).

письма к Толстому, Чехову, Горькому, отчасти — письма к Ю. А. Бунину, В. В. Пащенко и др. В основном же эти ценнейшие для биографии Бунина материалы еще не изданы.

В настоящей работе использованы и зарубежные материалы, как рукописные, так и появившиеся в печати.

В. Н. Муромцева-Бунина, с которой я переписывался в 1957—1961 годах, любезно прислала мне «Автобиографический конспект Ивана Алексеевича Бунина с 1881 по 1907 год...» и рукопись своих воспоминаний о путешествии Бунина по странам Востока в 1907 году под названием «Новая жизнь». Писатель Л. Ф. Зуров прислал краткое описание дневников Бунина за дореволюционные годы, хранящихся в парижском архиве Ивана Алексеевича, и привел из них некоторые выдержки. Писатель Андрей Седых подарил фотокопии писем, полученных им от И. А. и В. Н. Буниных. Многое из того, что относится к дореволюционному периоду жизни Бунина (дневниковые записи и письма Бунина), время от времени появлялось в зарубежных изданиях: в книге В. Н. Муромцевой-Буниной «Жизнь Бунина», в «Новом журнале» (публикации Л. Ф. Зурова из парижского архива Бунина) и др.

Много ценных данных о дореволюционных годах жизни Бунина содержат воспоминания В. Н. Муромцевой-Буниной «Беседы с памятью» и «Грасский дневник» Г. Н. Кузнецовой, который она вела многие годы, живя в доме Буниных.

Интересные высказывания Бунина о литературе и о своем творчестве можно найти в воспоминаниях поэта и литературного критика Г. В. Адамовича («Table talk») и литератора А. В. Бахраха («По памяти, по записям...»)

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГБЛ — отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

«Жизнь Бунина» — В. Н. Муромцева-Бунина, Жизнь Бунина, Париж, 1958.

ИМЛИ — Институт мировой литературы АН СССР имени М. Горького.

ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).

Музей Тургенева — Государственный музей И. С. Тургенева в Орле.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства.

Стр. 5

[1] Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 373, архив А. А. Коринфского, № 3.

[2] И. А. Бунин, Из предисловия к французскому изданию «Господина из Сан-Франциско», Париж, 1921.— Собр. соч. И. А. Бунина, т. 1, изд. «Петрополис», Берлин, 1936, стр. 9.

Стр. 7.

[1] «Жизнь Бунина», стр. 34. — Семейные предания Буниных отразились в «Суходоле».

[2] Полн. собр. соч. И. А. Бунина, т. 6, Пг. 1915, стр. 321.

[3] И. А. Бунин, Собр. соч., т. 6, М. 1966, стр. 286.

[4] Музей Тургенева, № 3392 оф.

Стр. 8

[1] Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной к автору настоящей работы от 22 апреля 1958 года.

[2] «Жизнь Бунина», стр. 10—11.

[3] Сборник «Литературный Смоленск», 1956, стр. 275—276.

Стр. 9

[1] Полн. собр. соч. И. А. Бунина, т. 6, Пг. 1915, стр. 322—323.

[2] Государственный архив Орловской области, ф. 534, арх. № 130, лл. 65—65 об. — Опубликовано в моей статье: «Гимназические годы И. А. Бунина». — Газ. «Орловская правда», 1958, № 117, 17 июня.

[3] «Автобиографический конспект И. А. Бунина с 1881 года по 1907 год» (копия на пишущей машинке) любезно прислала

В. Н. Муромцева-Бунина автору настоящей работы, снабдив текст своими примечаниями.

[4] Собр. соч. И. А. Бунина, т. 1, изд. «Петрополис», Берлин, 1936, стр. 28.

Стр. 10

[1] Государственный архив Орловской области, ф. 534, арх. № 162, л. 77.

[2] Музей Тургенева.

[3] Сб. «На родной земле», Орел, 1958, стр. 273.

[4] Музей Тургенева. Письмо Евгения Алексеевича к Ю. А. Бунину от 2 июня 1885 г.

Стр. 11

[1] «Последние новости», Париж, 1929, № 3153, 9 ноября.

[2] Дуня, падчерица Отто Карловича Туббе, винокура помещиков Бахтеяровых в Глотове, вышла замуж «за сына Вукола Иванова, Александра, в будущем послужившего Бунину прототипом для рассказа «Я все молчу!». Он в молодости играл роль мрачного человека, никем не понятого, делал вид, что он что-то знает, и это его слова: «Прах моей могилы все узнает» и «Я все молчу» («Жизнь Бунина», стр. 46).

[3] Е. А. Бунин женился на падчерице О. К. Туббе — Настасье Карловне Гольдман (род. в декабре 1865 г.).

Стр. 13

[1] «Жизнь Бунина», стр. 27—30.— Заметки хранятся в ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 13. — В 1938 году, будучи в Эстонии (Ревеле), Бунин встретился с Эмилией, «Иван Алексеевич взволнованно рассказывал мне об этой встрече», — пишет В. Н. Муромцева-Бунина (там же, стр. 42).

Стр. 14.

[1] См. о нем нашу публикацию архивных материалов в сборнике «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 210—212.

[2] Государственный архив Орловской области, ф. 534, арх. № 185, лл. 17—18.

[3] «Жизнь Бунина», стр. 20.

[4] Собр. соч. И. А. Бунина, т. 1, Берлин, 1936, стр. 16.

Стр. 15

[1] «Жизнь Бунина», стр. 48.

[2] Там же, стр. 49.

[3] Там же, стр. 48.

Стр. 16

[1] Там же, стр. 31.

[2] Неопубликованный автограф хранится в Музее Тургенева, № Б-963 оф.

[3] Газ. «Сегодня», Рига, 1933, № 311, 10 ноября.

Стр. 17

[1] Музей Тургенева.

[2] Музей Тургенева, № 967.

[3] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 7.

Стр. 18

[1] Там же, лл. 11—12 об.

[2] Там же, лл. 20—21 об.

Стр. 19

[1] «Жизнь Бунина», стр. 53—54.

[2] Там же, стр. 56.

Стр. 21

[1] Сб. «На родной земле», Орел, 1958, стр. 274—276.

[2] Дом этот не сохранился. На его месте построен многоэтажный жилой дом — ул. Гуртьева, № 6.

Стр. 22

[1] Дневник Н. А. Пушешникова. — Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 241.

Стр. 23

[1] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, лл. 32—32 об.

[2] «Новый мир», 1956, № 10, стр. 199.— Ответ Чехова Бунину см.: А. П. Чехов, Полн. собр. соч., т. 15, М. 1949, стр. 157—158.

[3] И. П. Белоконский, В годы бесправия, М. 1930, стр. 39

Стр. 28

[1] Сб. «На родной земле», Орел, 1958, стр. 281—285.

[2] Подтверждением этой даты может служить письмо матери Варвары Владимировны — Варвары Петровны Пащенко. 11 января 1894 года она писала: «Тебе минуло 24 года» (ЦГАЛИ, ф. 2321, оп. 1, ед. хр. 51, л. 20).

[3] Государственный архив Орловской области, ф. 531, арх. № 51, л. 98.

[4] Там же, арх. № 55, л. 26.

Стр. 29

[1] Сб. «Литературный Смоленск», 1956, стр. 293.

Стр. 30

[1] Музей Тургенева, № 2775, оф.

[2] Сб. «Литературный Смоленск», 1956, стр. 278.

Стр. 32

[1] Сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 219—220. — Заметки Бунина (без подписи) «Новые течения» о газете «Московские ведомости» напечатаны в «Орловском вестнике», 1891, № 139, 29 мая.

[2] Там же, стр. 220—221.

Стр. 35

[1] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 12.

[2] Музей Тургенева.— Часть писем М. А. Буниной к родным хранится в ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 23.

Стр. 36

[1] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, лл. 55—55 об.

[2] «Новый журнал», Нью-Йорк, 1965, кн. 80, стр. 125.

[3] Отзывы об этом сборнике напечатаны: «Артист», 1892, № 20, автор — И. И. Иванов; «Наблюдатель», 1892, кн. 3; «Мир божий», 1892, кн. 3, библиогр. листок; «Север», 1892, № 9, 1 марта; «Всемирная иллюстрация», 1892, № 1218, 23 мая; «Орловский вестник», 1892, № 118, 6 мая и № 137, 28 мая.

[4] См. сб. «Литературный Смоленск», 1956, стр. 284.

Стр. 37

[1] Сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 222.

Стр. 38

[1] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 18, лл. 79—80.

Стр. 40

[1] Музей Тургенева, № 3408.

[2] Там же, № 3397.

Стр. 41

[1] Там же, № 2868.

Стр. 42

[1] Музей Тургенева.

[2] Там же, № 2874.

Стр. 43

[1] ГБЛ, ф. 218.765.1.

[2] Полн. собр. соч. И. А. Бунина, т. 6, Пг. 1915, стр. 328.

[3] Там же.

[4] ГБЛ, ф. 429.3.8.

[5] И. А. Бунин, Собр. соч., т. 5, М. 1956, стр. 283.

[6] Полн. собр. соч. И. А. Бунина, т. 6, Пг. 1915, стр. 327.

[7] «Яснополянский сборник», Тула, 1960, стр. 130.

Стр. 44

[1] Сб. «На родной земле», Орел, 1958, стр. 279.

[2] Полн. собр. соч. И. А. Бунина, т. 6, Пг. 1915, стр. 327.

[3] Н. Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, 1891—1910, М. 1960, стр. 121.

[4] Полн. собр. соч. И. А. Бунина, т. 6, Пг. 1915, стр. 327.

[5] «Яснополянский сборник», Тула, 1960, стр. 132.

[6] Письмо Г. В. Адамовича А. К. Бабореко от 22 мая 1965 года.

[7] Г. Кузнецова, Грасский дневник. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1964, кн. 76, стр. 146.

[8] «Вопросы литературы», 1965, № 3, стр. 253—256.

Стр. 45

[1] Письмо Г. В. Адамовича А. К. Бабореко от 22 мая 1865 года. О Бунине и Толстом см. также: письма Бунина Толстому. — «Новый мир», 1956, № 10; А. К. Бабореко, Бунин о Толстом.— «Яснополянский сборник», Тула, 1960; высказывания Бунина о Толстом в дневниковых записях Н. А. Пушешникова — в статье А. К. Бабореко «И. А. Бунин на Капри». — Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960; письмо Толстого Бунину. — Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 67, М. 1955, стр. 48; интервью Бунина, заметки и статьи в газетах: «Одесские новости», 1910, № 8294, 15 (28) декабря, «Московская газета», 1912, № 217, 22 октября, «Южное слово», Одесса, 1919, № 66, 7 ноября, «Сегодня», Рига, 1930, № 317, «Последние новости», Париж, 1931, № 3791, 9 августа; журн. «Иллюстрированная Россия», Париж, 1936, № 32, 1 августа; «Последние новости», 1937, № 5840, 21 марта, № 5847, 28 марта, № 5861, 11 апреля, № 5926, 16 июня.

[2] Газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 26, 9 ноября.

Стр. 46

[1] Альманах «Мосты», Мюнхен, 1966, № 12, стр. 273—275.

[2] «Жизнь Бунина», стр. 85.

[3] См. там же, стр. 86.

Стр. 47

[1] Там же.

[2] Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной А. К. Бабореко от 30 марта 1957 года.

[3] Музей Тургенева.

[4] Сб. «На родной земле», Орел, 1958, стр. 302. — См. также письма Бунина в сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 223—230.

Стр. 48

[1] «Записи».— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1964, кн. 76, стр. 77.

[2] «Последние новости», Париж, 1928, № 2642, 16 июня. — Заметка, вызвавшая возражения Бунина, напечатана в газ. «Дни», Париж, 1928, № 1445, 10 июня.

Стр. 49

[1] Газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1933, 28 ноября.

[2] «Время», Белград, 1933, № 4273, 27 ноября.

[3] Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной А. К. Бабореко от 30 марта 1957 года.

Стр. 50

[1] Речь идет о работе В. Н. Муромцевой-Буниной над книгой «Жизнь Бунина».

[2] Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной от 22 мая 1957 года Андрею Седых. — Из частной коллекции Андрея Седых. Библиотека редких манускриптов Иельского университета, Нью-Хейвен, Коннектикут, США.

[3] Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной от 15 апреля 1957 года Андрею Седых, хранится там же.

[4] Там же.

О Пащенко как прототипе Лики в «Жизни Арсеньева» впервые было сделано сообщение, по неопубликованным письмам Бунина, в статьях автора данной работы: «Выдающийся русский писатель».— Газ. «Орловская правда», 1955, № 208, 22 октября; «Юношеский роман И. А. Бунина». — «Литературный Смоленск», альманах № 15. Смоленск, 1956; здесь же опубликованы письма Бунина к В. В. Пащенко. Письма к ней напечатаны в «Новом мире», 1956, № 10, а также в сборниках: «На родной земле», Орел, 1956; то же, изд. 1958 года; «Весна пришла», Смоленск, 1959.

[5] Музей Тургенева, № 3017.

[6] Там же.

Стр. 51

[1] «Записи». — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1965, кн. 80, стр. 128.

[2] Сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 229. — *Липперт Юлиус* — автор книги «История культуры» (русск. изд. 1894).

Стр. 52

[1] «Записи». — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1964, кн. 76, стр. 76.

[2] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 241.

[3] Г. Кузнецова, Грасский дневник. — «Новый журнал», 1964, кн. 76, стр. 156.

[4] «Воздушные пути», Нью-Йорк, 1964, № 4, стр. 81.

[5] «Записи».— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1964, кн. 76, стр. 76.

Стр. 53.

[1] Сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 231.

Стр. 54.

[1] «Записи». — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1965, кн. 80, стр. 127—128.

[2] Сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 231.

[3] Ив. Бунин, По Днепру. — «Полтавские губернские ведомости», 1895, № 142, 5 июля.

[4] Сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 231.

[5] См. об этом статью А. К. Бабореко «Бунин и Эртель». — «Русская литература», 1961, № 4, стр. 150—151.

Стр. 55

[1] О выступлении на вечере Бунин рассказал в «Автобиографических заметках» 1927 года.— Собр. соч. И. А. Бунина, т. 1, Берлин, 1936, стр. 41—44.

[2] См. «Жизнь Бунина», стр. 95.

[3] Валерий Брюсов, Дневники. 1891—1910, М. 1927, стр. 23.

[4] И. А. Бунин, «Автобиографические заметки» 1927 года. — Собр. соч. И. А. Бунина, т. 1, Берлин, 1936, стр. 51.

Стр. 57

[1] Вл. Лидин, Друзья мои — книги, М. 1962, стр. 113—114. Текст письма приводится по автографу, хранящемуся у В. Г. Лидина.

[2] «Жизнь Бунина», стр. 97.

Стр. 58

[1] Там же, стр. 98.

Стр. 59

[1] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, лл. 95—96 об.

Стр. 60

[1] «Русская литература», 1963, № 2, стр. 180.

[2] Там же.

[3] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 109 об.

[4] «Русская литература», 1963, № 2, стр. 180.

[5] См. дневник Е. М. Лопатиной. — ИРЛИ, Р. 1, оп. 15, № 137.

[6] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 9.

[7] Там же, л. 11.— Отзыв о сборнике «На край света и другие рассказы» (СПб. 1897) был помещен в газ. «Сибирь», 1897, № 17, 7 февраля.

Стр. 61

[1] Там же. Рецензии напечатаны: «Русское богатство», 1897, № 2; «Мир божий», 1897, № 2.

[2] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 221, л. 12.

[3] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 96 об.

[4] «Жизнь Бунина», стр. 102.

[5] Там же.

Стр. 62

[1] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, лл. 12—12 об.

Стр. 63

[1] «Жизнь Бунина», стр. 102—103.

[2] Там же, стр. 103.

[3] Дату их знакомства сообщает В. Н. Муромцева-Бунина в письме от 27 июля 1957 года автору настоящей работы.

[4] И. А. Бунин, Воспоминания, Париж, 1950, стр. 144.

[5] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, лл. 13—13 об. Ю. А. Бунин уволился из Полтавского земства 1 августа 1897 года и вскоре переехал в Москву.

[6] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 116 об.

Стр. 64

[1] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 221, л. 21.

[2] И. А. Белоусов, Литературная среда. Воспоминания. 1880—1928, М. 1928, стр. 107, 109.

[3] «Вестник Ленинградского университета», 1959, № 14, стр. 69—70.

Стр. 66

[1] ИРЛИ, Р. 1, оп. 15, № 137. — Роман К. Ельцовой (псевдоним Е. М. Лопатиной. — *А. Б.*) «В чужом гнезде» опубликован в «Новом слове», 1896, декабрь; 1897, январь — июль; отдельным изданием вышел в Петербурге в 1899 году.

[2] Музей Тургенева.

[3] ИРЛИ, Р. 1, оп. 15, № 137.

Стр. 67

[1] Г. Кузнецова, Грасский дневник. — «Воздушные пути», Нью-Йорк, 1963, № 3, стр. 123—124. Дом, где жила Лопатина, находится на углу Гагаринского (ныне ул. Рылеева) и Хрущевского переулков.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 135.

[3] Там же, лл. 137—138.

Стр. 68

[1] В. Н. Муромцева-Бунина, Беседы с памятью. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1960, кн. 60, стр. 172.

Стр. 69

[1] «Жизнь Бунина», стр. 112—113.

[2] Музей Тургенева, № Б-3401 оф.

[3] Там же.

[4] Этот клуб находился на Греческой улице (ныне — ул. Либкнехта, д. 50) — там теперь Одесский государственный театр музыкальной комедии.

[5] Находилась на углу Гаванной ул. (ныне — ул. Халтурина) и Ланжероновской (теперь — ул. Ласточкина).

Стр. 70

[1] Анна Николаевна Цакни родилась в 1879 году, умерла в Одессе 13 декабря 1963 года.

Стр. 71

[1] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, лл. 26—29 об.

[2] «Жизнь Бунина», стр. 115—116.

[3] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 139.

Стр. 72

[1] Г. Кузнецова, Грасский дневник.— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1963, кн. 74, стр. 34.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 141.

[3] Там же, лл. 144 об.— 145 об.

Стр. 73

[1] Там же, л. 150 об.

[2] Запись Бунина в дневнике, сообщенная Л. Ф Зуровым автору данной работы письмом от 7 августа 1964 года.

[3] Музей Тургенева, № 2885.

[4] Там же, № 3401.

[5] М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 28, М. 1954, стр. 68.

[6] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, лл. 8—8 об.

[7] Собр. соч. И. А. Бунина, т. 1, Берлин, 1936, стр. 60—61.

[8] И. А. Бунин, Воспоминания, Париж, 1950, стр. 122.

Стр. 74

[1] Там же, стр. 127.

[2] Музей Тургенева, № 2793.

[3] «И. А. Бунин. Письма к В. С. Миролюбову (1899—1904)». — «Литературный архив», т. 5, АН СССР, М.—Л. 1960, стр. 129.

[4] Там же.

[5] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 247.

[6] Там же, стр. 248.

[7] Там же.

Стр. 75

[1] Г. Кузнецова, Грасский дневник. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1964, кн. 76, стр. 147.

[2] «Воздушные пути», Нью-Йорк, 1964, № 4, стр. 74.

[3] Андрей Седых, Далекие, близкие, Нью-Йорк, 1962, стр. 220.

[4] ГБЛ, ф. 386. 79. 11.

[5] Письмо Н. Д. Телешову от 18 июня 1899 года — ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 23.

Стр. 77

[1] Музей Тургенева, № 2794. — Упоминаемый в письме Беба — брат Анны Николаевны — Павел Николаевич Цакни, родившийся в Париже и получивший кличку «Беба» от своей русской няни, слышавшей, как французы называют детей («bébé»); впоследствии адвокат и мировой судья в Одессе.

Стр. 78

[1] Письмо без даты. — Музей Тургенева, № 2786.

[2] Письмо без даты. — Там же, № 2860.

[3] Валерий Брюсов, Дневники, М. 1927, стр. 80.

[4] Музей Тургенева, № 2781.

Стр. 79

[1] Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной А. К. Бабореко от 5 января 1959 года.

[2] Сообщено Л. Ф. Зуровым в письме к автору данной работы от 7 августа 1964 года.

[3] Валерий Брюсов, Дневники, М. 1927, стр. 83.

[4] Об этих знакомствах и встречах см. письмо Бунина Юлию Алексеевичу. — «Русская литература», 1963, № 2, стр. 181.

[5] См. статью А. Бабореко «Знакомство Бунина с Рахманиновым». — «Вопросы литературы», 1964, № 5, стр. 251.

[6] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 65.

Стр. 80

[1] Письмо А. М. Федорову от 1 августа 1900 года.— ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 3.

[2] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

[3] «Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер», т. 1, М. 1934, стр. 202. — Из подаренных Ольге Леонардовне книг сохранилась в библиотеке музея Художественного театра книга: Ив. Бунин, Стихотворения. 1903—1906 гг., «Знание», СПб. 1906, с надписью: «Ольге Леонардовне Чеховой — Ив. Бунин, ее верный раб и поклонник, 20 окт. 06».

Стр. 81

[1] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 75.

[2] Это путешествие описано в письме Бунина к Юлию Алексеевичу от 18 ноября н. с. 1900 года. — «Новый мир», 1956, № 10, стр. 207—209.

[3] ГБЛ, ф. 386. 79.11.

[4] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 95.

[5] Там же, л. 83.

[6] См. письма Бунина Брюсову 15 и 18 декабря. — ГБЛ, ф. 386, 79.11.

[7] «А. П. Чехов. Сборник статей и материалов», Симферополь, 1962, стр. 93.

Стр. 82

[1] «Одесские новости», 1902, 28 декабря.

[2] Иван Бунин, Освобождение Толстого, Париж, 1937, стр. 89.

[3] Там же, стр. 91.

[4] М. П. Чехова, Письма к брату А. П. Чехову, М. 1954, стр. 165.

[5] И. А. Бунин, О Чехове, Нью-Йорк, 1955, стр. 66—67.

Стр. 83

[1] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 133, л. 19.

[2] И. А. Бунин, Воспоминания, Париж, 1950, стр. 13.

[3] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 97.

[4] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 27.

[5] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 25.

[6] «Литературное наследство», т. 68, М. 1960, стр. 398.—О дружбе Бунина с Чеховым и о датах их встреч см. там же статью «Чехов и Бунин» автора данной работы. Переписка с М. П. Чеховой опубликована в сборнике «Время. Проза, поэзия, литературная критика», Смоленск, 1962.

[7] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 109 А.

[8] Г. Кузнецова, Грасский дневник. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1963, кн. 74, стр. 34.

Стр. 84

[1] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 111. — *Николай Федорович* — Михайлов, издатель журнала «Вестник воспитания». Статья И. А. Бунина о Жуковском неизвестна.

[2] Там же, лл. 112—113.

[3] См. письмо Бунина Чехову за июнь 1901 года. — «Литературное наследство», т. 68, М. 1960, стр. 412.

[4] Бунин сообщал В. Я. Брюсову 1 сентября 1901 года, что он уезжает в Ялту «завтра». — ГБЛ, ф. 386. 79. 11.

[5] «Архив Горького», т. 4, М. 1954, стр. 41—42.

[6] «Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер», т. 2, М. 1936, стр. 72.

Стр. 85

[1] А. П. Чехов, Полн. собр. соч., т. 19, М. 1950, стр. 222.

[2] «Журнал для всех», 1902, № 2.

[3] См. «Жизнь Бунина», стр. 135.

[4] Там же, стр. 138—139.

[5] Валерий Брюсов, Дневники, М. 1927, стр. 123.

Стр. 86

[1] См. И. А. Бунин, «Автобиографические заметки» 1927 года.— Собр. соч. И. А. Бунина, т. 1, Берлин, 1936, стр. 62—63.

[2] А. П. Чехов, Полн. собр. соч., т. 20, М. 1951, стр. 9.—О пребывании Бунина и Найденова в Одессе и о их выступлениях на литературных вечерах см. «Одесские новости», 1902, 28 и 29 декабря; а также 1903, 11 и 17 января.

[3] «Жизнь Бунина», стр. 141—142.

[4] «Одесские новости», 1903, № 5899, 26 февраля

[5] «Жизнь Бунина», стр. 143.

Стр. 89

[1] Там же, стр. 144—145.

[2] Там же, стр. 146. *Тезкире* или *тезкира* — буквально — памятка, жанр средневековой антологии, где приводились образцы стихов и краткое жизнеописание поэта.

[3] Предисловие Бунина к книге Андрея Седых «Звездочеты с Босфора», Нью-Йорк, 1948, стр. 10.

Стр. 90

[1] ЦГАЛИ, ф. 1117, оп. 1, ед. хр. 36, лл. 9—9 об.

[2] «Южная мысль», Одесса, 1913, № 565, 14 июля.

[3] «Архив Горького», т. 4, М. 1954, стр. 138.

Стр. 91

[1] «Пятнадцатое присуждение премии имени А. С. Пушкина 1903 года. Отчет и рецензии I—IX», СПб. 1904, стр. 7.

[2] ГБЛ, ф. 356.13.27 — верстка неизданной переписки О. Л. Книппер и А. П. Чехова, стр. 488, 490.

[3] ГБЛ, ф. 331.59.79.

[4] И. А. Бунин, О Чехове, Нью-Йорк, 1955, стр. 96.

[5] А. П. Чехов, Полн. собр. соч., т. 20, стр. 268.

[6] Н. Телешов, Записки писателя, М. 1948, стр. 86.

[7] 24 декабря 1903 года Чехов сообщал В. К. Харкеевич из Москвы: «И. А. Бунин уехал в Ниццу».— А. П. Чехов, Полн. собр. соч., т. 20, М. 1951, стр. 201.

Стр. 92

[1] «Литературное наследство», т. 68, М. 1960, стр. 401. — Бунин написал о Чехове стихотворение «Художнику» (1908).

[2] И. А. Бунин, О Чехове, Нью-Йорк, 1955, стр. 232.

[3] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 29.

[4] «Русское слово», 1914, № 151, 2 июля.

[5] Г. Кузнецова, Грасский дневник. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1963, кн. 74, стр. 23.

Стр. 93

[1] И. А. Бунин, О Чехове, Нью-Йорк, 1955, стр. 114. — О Чехове и Бунине см. также «Записи В. М. Зензинова беседы с А. И. Буниным».— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1965, кн. 81, стр. 272—275.

[2] И. А. Бунин, О Чехове, Нью-Йорк, 1955, стр. 133.

[3] Музей Тургенева, № 3214.

[4] И. А. Бунин записал в дневнике в 1905 году: «В Васильевском. Там получил известие о смерти моего Коли...» (Сообщено Л. Ф. Зуровым автору данной работы.)

Стр. 94

[1] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 221, л. 45.

[2] «Жизнь Бунина», стр. 160.

[3] М. Горький, Собр. соч., т. 28, М. 1954, стр. 366.

[4] «Русская литература», 1963, № 2, стр. 182. — «Сапсан» — стихотворение Бунина.

Стр. 95

[1] «Жизнь Бунина», стр. 161.

Стр. 96

[1] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 222, лл. 65, 66.— Письмо Федорова датируется на основании упоминания о том, что «Потемкин» свободно разгуливал «по крайней мере... пять дней» (восстание происходило, как известно, 14—24 июня 1905).

Стр. 97

[1] ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, лл. 15—15 об.

[2] Сб. «Время», Смоленск, 1962, стр. 98.

[3] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

Стр. 98

[1] И. А. Бунин, О Чехове, Нью-Йорк, 1955, стр. 207—208.

Стр. 99

[1] «Жизнь Бунина», стр. 162—163.

Стр. 100

[1] Там же, стр. 163—165.

[2] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

[3] «Жизнь Бунина», стр. 166.

Стр. 101.

[1] Сб. «Время», Смоленск, 1962, стр. 98—99.

[2] ГБЛ, ф. 331.87.52.

[3] Там же.

Стр. 102

[1] Сб. «Время», Смоленск, 1962, стр. 99.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] ГБЛ, ф. 331. 87. 52.

Стр. 103

[1] Сб. «Время», Смоленск, 1962, стр. 101—102.

[2] ГБЛ, ф. 331. 87. 52.

[3] Музей Тургенева.

Стр. 104

[1] Музей Тургенева, № 3383.

[2] «Жизнь Бунина», стр. 169.

[3] Там же, стр. 170.

[4] Там же.

Стр. 105

[1] Музей Тургенева, № 3216.

[2] «Русская мысль», Париж, 1961, № 1666, 8 апреля.

Стр. 106

[1] «Новый журнал», 1960, кн. 59, стр. 138.

[2] Там же, стр. 147—149.

[3] Там же, стр. 150.

[4] Вера Николаевна писала мне 17 марта 1960 года: «Шаферами были Куприн и еще один друг... Это было 24/11 ноября 1922 года... А в мэрии были в начале июля 1922 года».

Стр. 107

[1] Эту дату В. Н. Муромцева-Бунина называет в своих воспоминаниях «Беседы с памятью». — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1960, кн. 60, стр. 166.

[2] Сообщено Л. Ф. Зуровым в письме ко мне от 25 января 1967 года.

[3] Г. Кузнецова, Грасс — Париж — Стокгольм. — «Воздушные пути», Нью-Йорк, 1964, № 4, стр. 84.

[4] Эта дата указана Буниным — см. Собр. соч. И. А. Бунина, т. 10, Берлин, 1935, стр. 76.

[5] «Беседы с памятью».— «Новый журнал», 1960, кн. 60, стр. 174—175.

[6] Там же, стр. 177.

Стр. 108

[1] Там же, кн. 62, стр. 14.

[2] Там же, стр. 148.

[3] Музей Тургенева, № 3216.

[4] Там же, № 2881.

[5] «Беседы с памятью».— «Новый журнал», 1960, кн. 62, стр. 153.

Стр. 109

[1] ГБЛ, ф. 331. 87. 53.

[2] «Беседы с памятью». — «Новый журнал», 1960, кн. 62, стр. 174.

[3] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 30.

[4] Сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 212.

Стр. 110

[1] Там же, стр. 234—235.

[2] Цитирую по рукописи, любезно присланной В. Н. Муромцевой-Буниной. В дальнейшем цитаты из ее воспоминаний без ссылок на источники приводятся по этой рукописи, озаглавленной «Новая жизнь».

[3] Бунин имеет в виду «Jérusalem» (1895) Пьера Лоти — описание его путешествия к «святым местам».

Стр. 111

[1] И. А. Бунин, Собр. соч., т. 5, М. 1966, стр. 7—8.

[2] В. Н. Муромцева-Бунина пишет: «Ян долго стоял перед «Страшным судом» Васнецова».

[3] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 30.

Стр. 112

[1] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 160.— Первые два очерка печатались в газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1955, 7 и 28 августа.

[2] «Первые впечатления от Васильевского».

[3] «Глотово».

[4] «Первые впечатления от Васильевского».— Дом не сохранился.

[5] Там же.

Стр. 113

[1] Там же.

[2] «Будни в Васильевском».— Стихи без заглавия, начинаются: «Рыжими иголками...», 30. VI. 1916. Колонтаевка изображена под именем «Шаховское» в «Митиной любви».

[3] «Глотово».

[4] Там же.

[5] Там же.— Эта сцена изображена в рассказе Бунина «Я все молчу».

[6] Там же.

Стр. 114

[1] В. Н. Муромцева-Бунина, У Буниных в Ефремове.— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 160.— Опубликовано в газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1955, 28 августа.

[2] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 30.

[3] Александр Блок, Собр. соч., т. 5, М. 1962, стр. 141.

[4] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 38 об.

[5] «Будни в Васильевском».

[6] Там же.

[7] «Глотово».

Стр. 115

[1] «Будни в Васильевском».

[2] В воспоминаниях В. Н. Муромцевой-Буниной «Беседы с памятью» говорится, что 8 сентября Бунин был уже в Москве: в этот день Телешовы пригласили его к себе на дачу («Новый журнал», 1961, кн. 63, стр. 173).

[3] Эта дата подтверждается также тем, что письмо к В. Н. Муромцевой-Буниной послано Буниным из Петербурга 13 сентября (Музей Тургенева).

[4] «Беседы с памятью».—«Новый журнал», 1961, кн. 63, стр. 174.

Стр. 116

[1] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

[2] ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 20. — Куприн продал «Суламифь» издательству «Шиповник» и в то же время пообещал ее Бунину для 1-го сборника «Земля», взяв с него 1600 рублей.

[3] «Беседы с памятью». — «Новый журнал», 1961, кн. 63, стр. 187.

[4] Там же, стр. 188.

Стр. 117

[1] Там же, стр. 189.

[2] ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 21.

Стр. 118.

[1] «Беседы с памятью». — «Новый журнал», 1961, кн. 63, стр. 190—191.

[2] Письмо Бунина Белоусову отправлено из Москвы 22 января 1908 года.

[3] Музей Тургенева, № 3100.

Стр. 119

[1] «Беседы с памятью».— «Новый журнал», 1961, кн. 63, стр. 193.

[2] Там же, стр. 193—194.

Стр. 120

[1] Там же, стр. 194.

[2] Там же, стр. 195.

[3] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

[4] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 40.

Стр. 121

[1] «Беседы с памятью». — «Новый журнал», 1961, кн. 63, стр. 196—197.

[2] ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 23.

[3] Государственный музей Л. Н. Толстого.

[4] «Беседы с памятью».— «Новый журнал», 1961, кн. 63, 197—198.

Стр. 122

[1] Письмо П. А. Нилуса И. А. Бунину 4 октября 1908 года.— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 168, л. 66.

[2] Письмо П. А. Нилуса И. А. Бунину 7 октября 1908 года. — Там же, л. 68.

[3] «Беседы с памятью». — «Новый журнал», 1961, кн. 63, стр. 198.

[4] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 31.

[5] Там же, № 60.

[6] ИРЛИ, ф. 520, № 56, лл. 1—2.

[7] «Лебедь. Журнал литературы и искусства», 1908, № 3, стр. 37, 41.

Стр. 123

[1] ЦГАЛИ, ф. 1074, оп. 2, ед. хр. 4, л. 1.

[2] «Беседы с памятью». — «Новый журнал», 1961, кн. 63, стр. 199.

[3] «Русская литература», 1963, № 2, стр. 182.

Стр. 124

[1] «Беседы с памятью». — «Новый журнал», 1961, кн. 63, стр. 199—200.

Стр. 125

[1] Там же, стр. 200—203.

Стр. 126

[1] Там же, кн. 64, стр. 205—206.

[2] ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 5.

Стр. 127

[1] «Беседы с памятью». — «Новый журнал», 1961, кн. 64, стр. 207—209. — Описание Капри дано в рассказе Бунина «Остров сирен».

[2] Музей Тургенева.

Стр. 128

[1] «Беседы с памятью».— «Новый журнал», 1961, кн. 64, стр. 209.

Стр. 129

[1] Там же, стр. 209—213.

Стр. 130

[1] ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, лл. 6—7.

[2] Сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 212.

Гете приехал в Палермо 2 апреля (20 марта) 1787 года (см.: Гете, Собр. соч. в тринадцати томах, т. 11, М. 1935, стр. 246). На этом основании и датируется приезд в Палермо Бунина.

[3] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 31.

[4] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

Стр. 131

[1] «Беседы с памятью». — «Новый журнал», 1961, кн. 64, стр. 220.

[2] ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 9.

[3] «Беседы с памятью». — Журн. «Грани», изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1962, № 52, стр. 221—222.

[4] ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 10.

[5] Музей Тургенева.

Стр. 132

[1] Журн. «Грани», 1962, № 52, стр. 228.— См. переписку Бунина с А. Е. Грузинским по поводу написания кантаты к открытию памятника Гоголю (сб. «Время», Смоленск, 1962, стр. 104).

[2] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 40.

[3] «Русская литература», 1963, № 2, стр. 183.

[4] Письмо Бунина Горькому 26 августа 1909 года.— «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 41.

[5] «Русская литература», 1963, № 2, стр. 183.

Стр. 133

[1] Журн. «Грани», 1962, № 52, стр. 231—232.

[2] Там же, стр. 233—234.

[3] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

[4] Собр. соч. И. А. Бунина, т. 1, Берлин, 1936, стр. 19.

Стр. 134

[1] Письмо Бунина А. Е. Грузинскому, 14. VI. 1909. — ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 11.

[2] ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, л. 24.

[3] Письмо Бунина Горькому 26 августа 1909 года.— «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 41.

[4] Журн. «Грани», 1962, № 52, стр. 235—236.

Стр. 135

[1] Там же, стр. 236.

[2] Там же, стр. 238.

[3] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 44—45.

[4] Музей Тургенева.

[5] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 31.

[6] Там же.

Стр. 136

[1] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 340, л. 3.— О присуждении премии см.: «Восемнадцатое присуждение премий имени А. С. Пушкина 1909 года. Отчет и рецензии I—VIII», СПб. 1911, стр. 17.

[2] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 133, л. 37.

[3] Там же, л. 38.— В письме Бунина к Куприну от 22 мая («Русская литература», 1963, № 2, стр. 182—183) речь идет о разделе между ними пушкинской премии. Однако неясно, откуда они могли это знать, так как официальное решение состоялось лишь в октябре. В. Н. Муромцева-Бунина писала автору настоящей работы 27 июля 1957 года: «В 1909 году Иван Алексеевич был выбран академиком... Может быть, премию делили в начале того года, но я этого не помню... Может быть, Куприн писал до обсуждения окончательного со слов Батюшкова? Буду вам благодарна, если вы разрешите этот вопрос. Вообще у Ивана Алексеевича было три золотых медали из Академии, значит, он трижды получал премии».

[4] «Исторический вестник», 1909, т. 118, № 12, стр. 1197. — О взаимоотношениях Бунина и Телешова см.: письма Бунина Телешову в журнале «Исторический архив», изд. АН СССР, М. 1962, № 2; письма Телешова к Бунину — в «Новом журнале», Нью-Йорк, 1966, № 85, стр. 129—140.

[5] Там же.

Стр. 137

[1] ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 2, ед. хр. 2, лл. 24А—24А об.

[2] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 342, л. 1.

[3] Там же, ед. хр. 168, л. 96.

[4] Журн. «Грани», 1962, № 52, стр. 242.

[5] Там же, стр. 241.

Стр. 138

[1] Письмо автору настоящей работы от 27 июля 1957 года.

[2] Письмо тому же адресату от 18 ноября 1957 года.

[3] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 168, л. 110.— Письмо от 2 декабря 1909 года.

[4] Там же, ед. хр. 133, л. 11.

[5] «Русская литература», 1963, № 2, стр. 177.

[6] Там же.

Стр. 139

[1] И. А. Бунин, Воспоминания, Париж, 1950, стр. 152.

[2] Там же, стр. 143, 145, 146.

[3] Там же, стр. 148.

[4] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 171.

Стр. 140

[1] Там же, ед. хр. 121, л. 31.

[2] Там же, л. 32.

[3] И. А. Бунин, Воспоминания, Париж, 1950, стр. 207—208.

[4] Там же, стр. 210.

Стр. 141

[1] Г. Кузнецова, Грасский дневник.— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1963, кн. 74, стр. 29. — О встрече Бунина с А. Н. Толстым в Париже в ноябре 1936 года см. дневниковые записи В. Сухомлина «Встречи с Буниным». — «Отчизна», ежемесячное приложение к газете «Голос родины». Издание советского Комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, М. 1966, № 5, май. Л. Ф. Зуров писал мне 12 августа 1966 года: «Относительно встре-

чи Ив. Алексеевича Бунина с Алексеем Николаевичем Толстым? Иван Алексеевич об этом рассказал (в моем присутствии) В. Сухомлину, который правильно и точно записал рассказ Ивана Алексеевича».

[2] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 165, л. 1.

Стр. 142

[1] И. А. Бунин, О Чехове, Нью-Йорк, 1955, стр. 103.

[2] «Русские новости», Париж, 1959, № 731, 5 июня. — О юбилее Чехова и выступлении Бунина см.: «Речь», 1910, № 17, 18 января; «Новое время», 1910, № 12160, 18 января.

[3] «Итоги юбилея». — В кн. «О Чехове. Воспоминания и статьи», М. 1910, стр. 336—337.

Стр. 143

[1] «Беседы с памятью. 1910 год.». — Здесь и в дальнейшем цитаты из воспоминаний Веры Николаевны о 1910-м годе привожу по вырезке из журнала «Грани», 1963, № 53.

[2] «Одесский листок», 1910, № 66, 21 марта.

[3] «Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф...», 1913, № 1, стр. 27—28.

Стр. 144

[1] Там же, № 5, стр. 135.

[2] Музей Тургенева, № 3251.

[3] Сб. «Время», Смоленск, 1962, стр. 104.

Стр. 145

[1] Газ. «Последние новости», Париж, 1930, № 3221, 16 января.

[2] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

Стр. 146

[1] ЦГАЛИ, ф. 1074, оп. 1, ед. хр. 3, л. 1.

[2] Музей Тургенева, № Б-3216, оф.

[3] Сб. «Время», Смоленск, 1962, стр. 105.

[4] Архив А. М. Горького. Письма к Е. П. Пешковой, М. 1966, стр. 92.

Стр. 147

[1] ЦГАЛИ, ф. 1074, оп. 1, ед. хр. 3, л. 3.

[2] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 47.

[3] Сб. «Время», Смоленск, 1962, стр. 105.

Стр. 148

[1] Там же.

[2] Там же.

[3] Музей Тургенева, № 1285.

[4] ИРЛИ, ф. 428, оп. 1, № 20.

[5] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 48.

Стр. 149

[1] Музей Тургенева, № 2959.

[2] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 322, л. 5.

[3] Музей Тургенева, № 1285.

[4] Сб. «Время», Смоленск, 1962, стр. 106.

[5] См. Письмо Бунина Юлию Алексеевичу от 6 сентября 1910 года.— Музей Тургенева, № 2809.

[6] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 48.

Стр. 150

[1] Письмо Бунина Юлию Алексеевичу от 21 ноября 1910 года.— Музей Тургенева, № 2852.

[2] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 51—52.

Стр. 151

[1] Иван Бунин, Освобождение Толстого, Париж, 1937, стр. 40.

[2] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 168, л. 129.

[3] Там же, л. 128.

[4] И. А. Бунин, Собр. соч., т. 2, М. 1956, стр. 403—404.

Стр. 152

[1] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 52—53.

[2] Музей Тургенева, № Б-2906, оф.

Стр. 153

[1] «Одесские новости», 1910, № 8294, 15/28 декабря.

[2] См. там же, № 8295, 16/29 декабря.

[3] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 55—56.

Стр. 154

[1] Музей Тургенева.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 20, л. 5.

Стр. 155

[1] Там же, л. 2.

[2] Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной автору настоящей работы от 15 мая 1957 года.

Стр. 156

[1] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 20, л. 8.

[2] Там же, л. 7.

[3] Там же, л. 9.

[4] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 52.

[5] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 33.

[6] И. А. Бунин, Собр. соч.,т. 5, М. 1966, стр. 314.— В дальнейшем путевой дневник Бунина «Воды многие» цитируется по этому изданию.

Стр. 157

[1] ГБЛ, ф. 259. 11. 88.

[2] Сб. «Время», Смоленск, 1962, стр. 102.

Стр. 158

[1] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 20, л. 17.

[2] Письмо В. Н. Муромцевой-Буниной автору данной работы от 3 апреля 1958 года.

Стр. 159

[1] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 59.

[2] Газ. «Голос Москвы», 1912, № 245, 24 октября.

[3] Музей Тургенева, № 3401.

[4] Газ. «Голос Москвы», 1912, № 245, 24 октября.

[5] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 60. — О страхах мужицких бунтов и о поместьях Бунина писал А. В. Амфитеатров. Он сравнивал «Деревню» с повестью черносотенца И. А. Родионова «Наше преступление». Бунин, по его мнению, народ «видит теми же глазами, как г. Родионов». У Бунина, пишет критик, «городской, господский перепуг его пред новым мужиком едва ли не глубже еще, чем в книге г. Родионова» («Современник», 1911, кн. 2). Писатель В. Муйжель (статья «На господском положении», «Живое слово», 1911, № 9, 2 мая; № 10, 9 мая; № 11, 16 мая) также сравнивал «Деревню» с повестью Родионова и писал: «Из окна вагона-ресторана скорого поезда так же, как из просторного помещичьего тарантаса... видел автор деревню с ее пьяными, больными, купающимися, возвращающимися с базара мужиками... Он не был в дерев-

не». На подобные суждения Бунин возражал, говоря, что он «полжизни прожил в деревне; в детстве товарищами его были крестьянские дети» (см.: И. А. Бунин, Собр. соч., т. 3, М. 1965, стр. 482).

Стр. 160

[1] Переписку Бунина с М. П. Чеховой по этому поводу цитирую по «Литературному наследству», т. 68, стр. 403—404.

[2] 3 мая 1911 года Бунин писал М. П. Чеховой: «В деревню едем на днях: *«Измалково, Орловской губ.»* (сб. «Время», «Смоленск, 1962, стр. 103).

Стр. 161

[1] Музей Тургенева, № 1284.

[2] Там же, № 3383.

[3] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 53.

[4] Музей Тургенева.

[5] «Московская весть», 1911, № 3, 12 сентября.

Стр. 163

[1] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 92.

Стр. 164

[1] «Вопросы литературы», 1960, № 6, стр. 254—255.

[2] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 55.

[3] «Вопросы литературы», 1960, № 6, стр. 254.

[4] «Московская весть», 1911, № 3, 12 сентября.

[5] ЦГАЛИ, ф. 24, оп. 1, ед. хр. 14, л. 4.

Стр. 165

[1] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 239.

[2] Там же, стр. 240.

[3] Дневник Пушешникова.— Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

[4] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 241.

Стр. 166

[1] Там же, стр. 241.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 241—242.

[4] Там же, стр. 242.

[5] Сб. «На родной земле», Орел, 1958, стр. 307.

[6] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 242.

[7] Там же.

Стр. 167

[1] Копия письма Бунина, сделанная Н. А. Пушешниковым. — Собрание рукописей К. П. Пушешниковой. — В «Шиповник» дать «Суходол» Бунин опоздал.

[2] Музей Тургенева, № 1283. — Бунин готовил к изданию книгу: Ив. Бунин, Перевал и другие рассказы 1892—1902, изд. 4-е, исправленное и дополненное, М. 1912.

[3] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 20, л. 24, письмо Ю. А. Бунину от 18 ноября (1 декабря) 1911 года.

[4] Музей Тургенева.

[5] Архив А. М. Горького, Письма к Е. П. Пешковой, М. 1966, стр. 129.

[6] Музей Тургенева, № 2864. — Бунин редактировал Диккенса, по-видимому, в переводе Пушешникова.

Стр. 168

[1] Музей Тургенева, № 2864.

[2] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 243.

Стр. 169

[1] ЦГАЛИ, ф. 24, оп. 1, ед. хр. 14, л. 23.

[2] Письмо Ю. А. Бунину за январь 1913 года.— Музей Тургенева, № 2854.

[3] Музей Тургенева, № 2824.

Стр. 170

[1] Автограф хранится там же.

[2] Там же, № 2833.

[3] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 242.

[4] Альм. «Наш современник», 1965, № 7, стр. 103—104.

[5] «Архив А. М. Горького», т. 7, М. 1959, стр. 103.

Стр. 171

[1] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 246—247.

[2] Там же, стр. 247.

Стр. 172

[1] Там же, стр. 247—248.

[2] Там же, стр. 248.

[3] Там же, стр. 249.

[4] Там же, стр. 250.

[5] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 34.

Стр. 173

[1] Музей Тургенева, № 2864. — Письмо без даты, не позднее 3 марта 1912 года.

[2] Газ. «Южная мысль», 1912, № 151, 1 марта, сообщала: «Вчера прибыл в Одессу из Италии известный писатель академик Ив. Ал. Бунин».

[3] Письмо от 10 мая 1960 года.

[4] Музей Тургенева, № 2827.

[5] См. письмо Бунина А. Е. Грузинскому от 11 апреля 1912 года.— ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 18.

[6] Музей Тургенева, № 3232.

[7] Музей Тургенева, № 2959. — См. «Новое время», 1912, № 12928, 9 марта.

Стр. 174

[1] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 46. — А. В. Амфитеатров писал: у Бунина «народной идеи» нет, «а идеи народной нет потому, что нет в сердце г. Бунина другой первобытной и пламенной силы: любви». «Бунин — один из всех их (Горького, Куприна и Андреева. — *А. Б.*)... как образец ровной виртуозной силы, он головою выше всех названных». Но у него — «нет любви» (газ. «Одесские новости», 1912, № 8724, 19 мая).

[2] Статья «Писатели и критики». — «Московская газета», 1912, № 191, 21 мая.

Стр. 175

[1] Цитата приводится по вырезке из газеты, датированной Буниным: «Весна 1912 года». — Музей Тургенева. В интервью, данном корреспонденту одной из одесских газет, Бунин говорил о современной литературе:

«Появившиеся в последнее время литературные течения до того нежизненны, до того беспочвенны, что мне, право, не хочется об этом говорить. Да и что, в самом деле, можно сказать об акмеистах, адамистах, модернистах, символистах, которые указывают скорее на известный упадок русской литературы, нежели на ее расцвет. Что можно говорить о литературных течениях, которые постепенно сходят со сцены и которые не оставят никакого следа в русской литературе. И меня лично крайне удивляет, что как ежедневная пресса, так и «толстые» журналы уделяют очень много внимания этому, на мой взгляд, совершенно незначительному явлению.

Я даже считаю унизительным для себя говорить о так называемых «новых течениях» в русской литературе.

Повременная же печать, уделявшая им столько внимания, бессознательно рекламирует это беспочвенное, наносное и вредное явление в нашей литературе. Точно так же странным и непонятным для меня являются серьезные статьи об Игоре Северянине — об этой слишком мелкой величине в литературе. Зачем рассуждают о них так глубоко и серьезно, точно это действительно знамение нашего времени? К чему говорить о людях, которые несут вздор или по недостатку ума, или по лукавым соображениям? К чему это? Тем более, что ведь, в сущности, все эти течения постепенно исчезают. Модернисты и то стали писать гораздо проще и в своих произведениях стали затрагивать общие темы. Да и публика перестала интересоваться новыми течениями и отдает теперь явное предпочтение писателям старого реалистического направления».

Стр. 176

[1] Музей Тургенева, № 3231.
[2] ГБЛ, ф. 387. 9. 48.
[3] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 66.

Стр. 177

[1] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, л. 64.
[2] Газ. «День», 1912, № 27, 28 октября.
[3] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 69.

Стр. 178

[1] «Русское слово», 1912, № 250, 30 октября.
[2] Музей Тургенева, № Б-968 оф.
[3] Телеграммы Шаляпина и Москвина хранятся там же.
[4] «Театр», 1961, № 5, стр. 134.
[5] «Курортная газета», Ялта, 1960, № 214, 29 октября.

Стр. 179

[1] «Одесские новости», 1913, № 8919, 11 января. — О юбилее Бунина см. также: «Исторический вестник», 1912, декабрь.

Стр. 181

[1] «Рампа и жизнь», 1912, № 44.
[2] Музей Тургенева.
[3] Там же, № 3238.

Стр. 182

[1] Там же.
[2] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 250.

[3] ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 19.

[4] Музей Тургенева, № 3238.

Стр. 183

[1] Музей Тургенева, № 3204.

[2] Журнал «За семь дней», 1913, № 39.

[3] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 250. См. здесь подробные сведения о их встрече.

[4] Музей Тургенева.

[5] И. А. Бунин, Повести, рассказы, воспоминания, М. 1961, стр. 588—589.

Стр. 184

[1] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 251.

[2] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

[3] Музей Тургенева, № 3233.

[4] «М. Горький. Материалы и исследования», т. 1, Л. 1934, стр. 329.

Стр. 186

[1] Музей Тургенева, № 3237.

[2] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 252.

[3] Там же.

[4] ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 19 об.

[5] Сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 252.

[6] Музей Тургенева, № 2959.

Стр. 187

[1] Там же.

[2] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 72—73.

Стр. 189

[1] Г. Кузнецова, Грасский дневник. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1964, кн. 76, стр. 158—160.

Стр. 190

[1] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 36.

[2] Там же, ед. хр. 37.

[3] Музей Тургенева, № 3383.

[4] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 14, л. 12. Неполностью опубликованы в газ. «Литература и жизнь», 1960, 5 августа.

[5] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 534, лл. 72—73.

[6] А. Г. Максимов, Юбилейная лермонтовская литература 1914 года, Пг. 1915, стр. 6.

Стр. 191

[1] В письме от 22 октября 1966 года Л. Ф. Зуров сообщает: «Нашел в архиве материалы о М. Ю. Лермонтове, которые Вера Николаевна подготовляла для Ивана Алексеевича.

1) Конспект. Автограф Веры Николаевны. Одна большая страница. («Рождение, родители, бабушка. Дед. Переезд из Москвы в Тарханы...»)

2) Сшитая тетрадь. 23 страницы печатного текста *.

«Михаил Юрьевич
Лермонтов
Детство

В ночь с 2 на 3 октября 1814 года в одной из квартир дома Толя...» **

Книга Щеголева с пометками Бунина хранится, по свидетельству А. В. Бахраха, у частного лица, проживающего в Австралии.

[2] М. Алданов, О Бунине.— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1953, кн. 35. Г. В. Адамович пишет об отношении Бунина к Лермонтову и другим его великим предшественникам:

«Что у Бунина было три «бога»: Пушкин, Толстой и Чехов, тоже не совсем верно. Чехов только наполовину бог, так как пьес его он не выносил. Но рассказы действительно очень любил, в особенности «Архиерей» и «В овраге».

А Пушкин хоть и был бунинским богом, но перед самой смертью Бунин говорил:

— Я всю жизнь считал, что Пушкин первый русский поэт, а теперь знаю, что первый не он, а Лермонтов.

Я рад, что то же самое написал, кажется, в «Новом журнале» Алданов, то есть привел эти слова Бунина. Потому что мне уже приходится слышать, что я это будто бы выдумал» (письмо Г. В. Адамовича А. К. Бабореко 2 декабря 1965 г.).

[3] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 65.

[4] М. Ф. Андреева. Переписка, воспоминания, статьи, М. 1961, стр. 218—219.

Стр. 192.

[1] См.: Полн. собр. соч. И. А. Бунина, т. 6, Пг. 1915, стр. 314—319.

[2] «Русское слово», 1913, № 231, 8 октября.

---

* Печатала Вера Николаевна.

** Заканчивается тетрадь 1829 годом. Этими материалами Иван Алексеевич, к сожалению, не воспользовался, так как к работе он охладел. (*Примечания Л. Ф. Зурова.*)

Стр. 193

[1] «Одесский листок», 1913, № 238, 10 октября.

[2] Музей Тургенева.— Цитирую по газетной вырезке.

[3] «Голос Москвы», 1913, № 236, 13/26 октября.

[4] Там же, № 237, 15/28 октября.

[5] Музей Тургенева.— Газетная вырезка, помеченная Буниным 1913 годом.

Стр. 194

[1] Журн. «Звезда», 1964, № 11, стр. 175—176.

[2] «Рампа и жизнь», 1913, № 44, 3 ноября.

[3] См. фотографию в журнале «Искры», 1913, № 43, 3 ноября.

[4] А. А. Измайлов писал о рассказе «Иоанн Рыдалец», что здесь не вымысел, «это — жизнь, это — правда. *Так* не сочинить» («Биржевые ведомости», 1913, № 13582, 6 июня.). На вырезке из газеты к этим словам Бунин написал: «А именно весь «Иоанн» сочинен мною от слова до слова» (Музей Тургенева). В письме (4 октября, без указания года) к Измайлову Бунин говорит: «Иоанн» весь выдуман. А вы целый фельетон построили на контрасте выдумки и были» (ИРЛИ, ф. 115, оп. 3, № 47).

Стр. 195

[1] «Современный мир», 1913, № 11, стр. 278.

[2] ИРЛИ, ф. 528, оп. 1, № 153.

[3] Музей Тургенева, № 3204.

[4] М. Горький, Собр. соч., т. 29, М. 1955, стр. 315.

[5] Альм. «Наш современник», 1965, № 7, стр. 103.

Стр. 196

[1] См. статью А. Бабореко «Неизвестные рукописи И. А. Бунина» в газ. «Орловская правда», 1961, 1 июля.

[2] «Орловская правда», 1957, № 5, 8 января.

[3] И. А. Бунин, Собр. соч., т. 5, М. 1966, стр. 482.

Стр. 197

[1] Газ. «Время», Берлин, 1921, 22 августа.— Отметим некоторые отзывы русской критики на рассказ «Братья»: журн. «Живое слово», 1914, № 17, стр. 270—271; газеты «Россия», 1914, № 2592, 29 апреля; «Речь», 1914, № 107, 21 апреля; «Голос Москвы», 1915, № 1, 1 января; «Сибирь», Иркутск, 1914, № 114, 23 мая; «Волжское слово», Самара, 1914, № 1990, 31 мая.

[2] В русском переводе опубликовано: «Новости литературы», Берлин, 1922, № 1, август, стр. 48.— Рассказ «Соотечественник» Бунин написал, по его признанию, «вспоминая Цейлон и некоторые черты тамошнего русского консула» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 14).

[3] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

Стр. 198

[1] ГБЛ, ф. 360. 1. 16.

[2] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 75.

[3] Архив А. М. Горького, Письма к Е. П. Пешковой, М. 1966, стр. 164.

[4] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 3, ед. хр. 14, л. 25.

Стр. 200

[1] «Записи». — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1966, кн. 82, стр. 119.

[2] Там же. Привожу выписки из дневника Бунина той поры, присланные Л. Ф. Зуровым (автограф хранится в парижском архиве Бунина у Л. Ф. Зурова). Л. Ф. Зуров сообщал письмом от 25 февраля 1967 года:

«Я просмотрел дневник и записи Ивана Алексеевича. Вот краткие выписки из дневника 1914 года:

«19.VI.1914 г. Вечер, Жигули, запах березового леса после дождя...»

«20.VI.1914... Прошли Балахну, Городец...»

«21.VI.14. В поезде под Ростовом Великим. Ясный мирный вечер со всей прелестью июньских цветов...»

Далее Л. Ф. Зуров пишет: «В январе сего года я нашел в архиве Веры Николаевны еще одну запись Ивана Алексеевича. Вот она:

«В начале июля (по новому стилю.— *А. Б.*) 1914 года мы с братом Юлием плыли вверх по Волге от Саратова, 11 (одиннадцатого) июля долго стояли в Самаре, съездили в город, вернулись на пароход (уже перед вечером) и вдруг увидали несколько мальчишек, летевших по дамбе к пароходу с газетными клочками в руках и с неистовыми, веселыми воплями:

— Екстренная телеграмма, убийство австрийского наследника Сараева в Сербии!

Юлий схватил у одного из них эту телеграмму, прочитал ее несколько раз, долго помолчав, сказал мне:

— Ну, конец нам! Война России за Сербию, а затем революция в России. Конец всей нашей прежней жизни!

Через несколько дней мы вернулись с ним на дачу Ковалевского под Одессой, которую я снимал в то лето и на которой он гостил у меня, и вскоре началось сбываться его предсказание.

В августе мы уже должны были вернуться в Москву. Уже шла наша война с Австрией».

[3] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 43.

Стр. 201

[1] «Русское слово», 1914, № 223, 28 сентября (11 октября). Автограф хранится в ГБЛ, ф. 429. 1. 10.

[2] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 43.

[3] Там же, № 44.

[4] «Курортная газета», Ялта, 1960, № 214, 29 октября.

[5] «Современный мир», 1915, № 2.

Стр. 202

[1] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 45, л. 4.

[2] Там же, лл. 2—3.

Стр. 203

[1] Газ. «Возрождение», Париж, 1925, 2 ноября. — Перевод, присланный В. Н. Муромцевой-Буниной, хранится в ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 143, л. 2—3.

[2] Эти дневниковые записи Бунина — в выдержках и в пересказе Л. Ф. Зурова — сообщены Л. Ф. Зуровым.

«Ответ английским писателям» — о «духовном единении» деятелей культуры в условиях происходившей тогда войны — напечатан в газ. «Биржевые ведомости», утр. вып., 1915, № 14753, 30 марта. В числе подписавших «Ответ...» — Бунин, Горький, Вересаев, Блок, Шмелев, Андреев, Брюсов, Мережковский.

Стр. 204

[1] ГБЛ, ф. Д. Л. Тальникова, № 487.

[2] Сб. «На родной земле», Орел, 1958, стр. 289.

[3] Сообщено Л. Ф. Зуровым.

[4] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 85. — Стихи, о которых говорит Горький, — «Молодой король», «Песня», опубликованы в журнале «Летопись», 1916, № 2.

Стр. 205

[1] Thomas Mann, Gesammelte Werke, zwölfter Band, Berlin, 1956, S. 59.

[2] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 242, лл. 1—2.

Стр. 206

[1] «Русское слово», 1915, № 282, 9 декабря.

[2] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 44.

[3] Дневник Пушешникова. — Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

[4] Цитирую по газетной вырезке, хранящейся в Музее Тургенева.

[5] ИМЛИ, ф. 3, оп. 3, № 44.

Стр. 207

[1] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

[2] «Воздушные пути», Нью-Йорк, 1963, № 3, стр. 122—123.

Стр. 208

[1] Музей Тургенева, № 2751.

[2] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой.

Стр. 209

[1] ГБЛ, ф. 356. 1. 9.

[2] «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 3, М. 1959, стр. 27.

[3] Собрание рукописей К. П. Пушешниковой. В письме упоминается книга «Лариш, Мария. При дворе Габсбургов». Перевод с английского М. А. Андреевой-Маевской, М. 1914. И. М. Зданевич — поэт-футурист и критик.

[4] И. А. Бунин, Воспоминания, Париж, 1950, стр. 129.

Стр. 210

[1] Там же.

[2] ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 20, л. 50.

[3] ЦГАЛИ, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 126, л. 20 об.

[4] ГБЛ, ф. 356. 1. 9.

[5] «Русские ведомости», 1917, 4 июля.

Стр. 211

[1] Здесь и ниже (стр. 211—212) цитируется дневник Н. А. Пушешникова, хранящийся в собрании рукописей К. П. Пушешниковой.

Стр. 212

[1] ГБЛ, ф. 356.2.10.— Бунин писал позднее, что «бежал», из села Васильевского «в Елец и дальше в Москву, на рассвете 23 октября 1917 года...» («Воспоминания», Париж, 1950, стр. 254).

[2] В автографе ошибочно указан д. № 22.

[3] Квартира № 2.

[4] Ул. Стрелецкая, д. 26, кв. 11.

Стр. 213

[1] Особняк Е. И. Буковецкого на Княжеской, 27 (ныне ул. Баранова, д. 27), сохранился.

[2] ГБЛ, ф. 356. 1. 9.

[3] Там же.

Стр. 214

[1] Газета «Южное слово».

[2] Журн. «Звезда», 1964, № 11, стр. 174, 176.

О жизни Буниных в Одессе в 1919 году и об отъезде в Константинополь и Софию Вера Николаевна пишет в воспоминаниях «Н. П. Кондаков. (К пятилетию со дня смерти)». — Газ. «Последние новости», Париж, 1930, № 3257, 21 февраля. Приведенные ею данные являются ценным материалом для комментария к рассказу Бунина «Конец».

Стр. 215

[1] А. Твардовский, О. Бунине.— И. А. Бунин, Собр. соч., т. 1, М. 1965, стр. 11.

[2] Цитаты приводятся по вырезкам из газет, с пометками Бунина,— хранящимся в ИМЛИ, ф. 3.

[3] Письмо Г. Н. Кузнецовой автору данной работы от 30 марта 1967 года. Письмо Рильке с отзывом о «Митиной любви» опубликовано в журнале «Русская мысль», Париж, 1927, кн. 1, стр. 54—56. Перепечатано с сокращением в кн.: И. А. Бунин, Собр. соч., т. 5, М. 1966, стр. 524—525.

Стр. 216

[1] «Новый журнал», Нью-Йорк. 1965, кн. 80, стр. 271.

[2] ЦГАОР СССР, ф. 5212, оп. 2, ед. хр. 21, с пропуском нескольких слов. Французский текст письма Роллана приводится в «Новом журнале», Нью-Йорк, 1965, кн. 80, стр. 267.

Стр. 217

[1] «Новый журнал», Нью-Йорк, 1965, кн. 80, стр. 272.

[2] Там же, кн. 81, стр. 110.

[3] Там же, стр. 111.

Стр. 218

[1] Там же, стр. 112.

[2] Бор. Зайцев, Повесть о Вере. — Газ. «Русская мысль», Париж, 1967, 14 января.

[3] «Les prix Nobel en 1933», Stockholm, 1935, s. 6—7. В числе многих поздравительных писем и телеграмм, была получена из Нью-Йорка телеграмма С. В. Рахманинова:

«Ivan Bounine, villa Montfleuri, Grasse: Sincere congratulations from gentleman from New York. Rachmaninoff» * (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 137).

На вопрос корреспондента французской газеты «Матен», за какое именно произведение он получил, по его собственному мнению, премию, Бунин ответил: «Возможно, что за совокупность моих произведений... Я, однако, думаю, что Шведская академия хотела увенчать мой последний роман «Жизнь Арсеньева» («Последние новости», Париж, 1933, № 4617, 12 ноября).

[4] Газ. «Сегодня», Рига, 1938, 3 апреля.

Стр. 221

[1] «Последние новости», Париж, 1936, № 5700, 1 ноября.

[2] Письмо Г. Н. Кузнецовой А. К. Бабореко от 30 марта 1967 года.

[3] Альм. «Советская Литва», Вильнюс, 1963, кн. 9, стр. 63, 71.

[4] См. газ. «Сегодня», Рига, 1938, 29 апреля.

Стр. 222

[1] Юрий Шумаков, Иван Бунин в Тарту. — «Москва», 1964, № 11, стр. 201.

[2] Там же, стр. 202.

[3] См. газ. «Русский вестник», Таллин, 1938, № 87, 11 мая.— Сообщение газеты опровергает утверждение Ю. Д. Шумакова о том, что будто бы во время поездки по Эстонии Бунин побывал в Изборске и Печерах (об этом Ю. Д. Шумаков сообщил мне, говоря о том, что написал статью о пребывании Бунина в Прибалтике, в которой пытается обосновать свою мысль). В ответ на мой вопрос по этому поводу Л. Ф. Зуров пишет: «В Печерский край Иван Алексеевич не поехал. Весна была холодная. Боялся простудить голову. Остался в Тарту (Юрьеве)... (Он нам хорошо рассказывал о своем путешествии по весям и градам Прибалтики. Вернулся Иван Алексеевич совершенно больным и разбитым. Раздраженным

---

* «Иван Бунин, вилла Монфлери, Грасс: Искренние поздравления от человека из Нью-Йорка. Рахманинов» (*англ.*).

до крайности. В Прибалтике его хорошо угощали. А пить ему было запрещено). Многие печеряне побывали на вечерах Ивана Алексеевича, но для этого им пришлось поехать из Печер в Тарту и Таллин» (письмо Зурова от 25 января 1967 г.).

[4] Письма Бунина к В. В. Шмидт хранятся у адресата.

Стр. 223

[1] Собр. соч. И. А. Бунина, т. 1, Берлин, 1936, стр. 12.

Стр. 225

[1] Рукопись этой заметки любезно прислала мне Г. Н. Кузнецова. Она пишет: «Вилла Бельведер, стоявшая высоко на стене горы, подымавшейся над Грассом, была старым провансальским домом с трещинами в желтоватых стенах, с зелеными створчатыми ставнями по обе стороны высоких окон. Ставни эти с грохотом и скрипом распахивала по утрам стремительная рука И. А., и сам он быстро сбегал по лестнице своей легкой, почти юношеской походкой. Площадка сада, куда он выходил утром взглянуть на Грасс внизу, на далекое море, то синим дымом встававшее на горизонте, то пролегавшее на нем чистой бирюзовой струей, висела высоко над волнами оливковых садов, одевавших гору, и была чем-то похожа на палубу корабля. На сетках проволочной изгороди коврами висели яркие июньские розы, в креслах под пальмой — невысокой, но чудесно-полной со своими круто изгибавшимися, темноблестящими «вайями», как любил писать И. А. — было особенно хорошо сидеть по утрам с книгой в ожидании почтальона, или лежать с закрытыми глазами, чувствуя горячую руку солнца на своем лице. Но в креслах этих по утрам почти никогда никто не сидел. Жизнь на вилле Бельведер текла по одному и тому же образцу. И. А. приезжал сюда с тем, чтобы, стряхнув с себя усталость и пыль города, постепенно подготовить и подвести себя к писанию. Соловьиное пение, роса в высокой траве, звездочки липких белых цветов, раскрывавшихся по вечерам на верхних пустых террасах сада, наполняя воздух опьяняющим благоуханием, — все это было лишь на миг, лишь на взгляд для живущих в вилле. Надо было рано ложиться, чтобы утром рано встать, бодрым, выспавшимся, полным творческих сил для работы. Все здесь работали: И. А. читал или писал что-то у себя в кабинете — большой угловой комнате в нижнем этаже, В. Н. печатала его рукописи на машинке или тоже писала что-то свое» (Галина Кузнецова, Друзья. — Альм. «Мосты», Мюнхен, 1966, кн. 11, стр. 66).

[2] Письмо Т. Д. Логиновой-Муравьевой автору данной работы от 15 января 1967 года.

[3] Музей МХАТ.

Стр. 227

[1] На одной из фотографий, хранящейся в ЦГАЛИ, Бунин написал: «Villa Belvédère, Grasse, A. M., где я прожил десять лет (уехал оттуда навсегда 22 сентября 1936 г.)».

Стр. 228

[1] «Исторический архив», 1962, № 2, стр. 160.

Иногда в работах о Бунине ошибочно указывают, что открытка со словами: «Хочу домой» — была послана А. Н. Толстому. По этому поводу Л. Ф. Зуров писал мне 25 января 1967 года:

«В «Примечаниях» В. Гречаниновой (стр. 368) (И. А. Бунин, Собр. соч., т. 7, М. 1966.— *А. Б.*) сказано: «...И не случайно в 1939 году однажды он попросил Л. Ф. Зурова, жившего вместе с Буниными, бросить почтовую открытку А. Н. Толстому в Москву. Только два слова было в этой открытке: «Хочу домой!» — и подпись — Бунин...» *Почтовая открытка*, которую Ив. Алексеевич попросил меня бросить (отнести на почту), *была адресована не А. Н. Толстому (это ошибка!),* а *Н. Д. Телешову.* Открытка была написана 8-го мая 1941 года на Villa Jeannette (Grasse, A. M.). Иван Алексеевич мне ее прочел, но я запомнил только два слова: «хочу домой»... Я приехал к Буниным (на villa Jeannette) в октябре 1940 года. 1939 год я провел в Париже. Приводил в порядок коллекции * (привезенные в 1938 году из Печерского края), составлял для парижского Музея человека экспедиционный отчет, писал работу для шведского научного журнала ** «Folk-Liv». В 1939 году я был председателем объединения писателей и поэтов в Париже *** (Union des écrivains et poetes russe à Paris).

[2] Из частной коллекции Андрея Седых. Библиотека редких манускриптов Иельского университета, Нью-Хейвен, Коннектикут, США.

Стр. 230

[1] Андрей Седых, Далекие, близкие, Нью-Йорк, 1962, стр. 210.

Стр. 231

[1] «Вопросы литературы», 1965, № 3, стр. 253—254.

[2] Письмо Л. Ф. Зурова автору данной работы от 29 июля 1965 г.

---

* Коллекции находятся в парижском Музее человека.

** «Dyrkan av stenar, källor och träd bland setukeser och ryssar i Petseri-området». См. «Folk-Liv», 1940.

*** Был председателем объединения в 1937 (с 30 ноября 37 г.), 1938, 1939 и в 1940 гг. Объединение было закрыто немцами, оккупировавшими Париж. (*Примечания Л. Ф. Зурова.*)

Стр. 232

[1] Альм. «Мосты», Мюнхен, 1966, № 12, стр. 277—278.

Стр. 234

[1] Там же, стр. 278—279.

Стр. 235

[1] Там же, стр. 282—283.

[2] «Исторический архив», 1962, № 2, стр. 160.

[3] «Новый журнал», Нью-Йорк, 1965, № 81, стр. 118.

Стр. 236

[1] Газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1942, № 10658, 26 апреля.

Стр. 237

[1] Автограф письма хранится у автора настоящей работы. (Письмо начато 20 марта, закончено 10 мая 1959 года.) Частично опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1965, № 3, стр. 253—254.

Стр. 238

[1] Андрей Седых, Далекие, близкие, Нью-Йорк, 1962, стр. 214.

[2] Из частной коллекции Андрея Седых. Библиотека редких манускриптов Иельского университета, Нью-Хейвен, Коннектикут, США.

Стр. 239

[1] «Исторический архив», 1962, № 2, стр. 166—167; о Твардовском см. там же, стр. 158—159.

[2] К. Г. Паустовский, Собр. соч., т. 3, М. 1957, стр. 789.— Л. Ф. Зуров пишет: «Рассказ К. Паустовского («Корчма на Брагинке».— *А. Б.)* был напечатан в «Новом русском слове». Это было первое знакомство И. А. Бунина с прозой Паустовского. Потом И. А. прочел печатавшееся в «Новом русском слове» описание киевской осени» («Новый журнал», Нью-Йорк, 1966, № 85, стр. 139).

[3] Сб. «Литературный Смоленск», 1956, стр. 325.— О своих встречах с Буниным Симонов рассказал в воспоминаниях, напечатанных в «Литературной России» (1966, № 30, 22 июля). Этот номер я послал Л. Ф. Зурову. Ознакомившись с очерком, Л. Ф. Зуров писал 12 августа 1966 года из Парижа:

«Я внимательно вчера прочел страницы воспоминаний Константина Симонова «Об Иване Алексеевиче Бунине». К. Симонов пишет: «Эти записи я, к сожалению, сделал лишь много лет спустя после встречи с Иваном Алексеевичем Буниным... Однако, воспроизводя в некоторых местах своих записей прямую речь Бунина, я

не хочу и не могу настаивать на строгой документальности этого воспроизведения...» Да, двадцать лет прошло! Читая воспоминания Константина Симонова (а его горячо тогда встретила парижская публика), я сделал несколько заметок. Вот они:

1) Иван Алексеевич не присутствовал на вечере в зале (театральном) Iéna (где советский посол А. Е. Богомолов торжественно (после долгой речи) вручал б. эмигрантам советские паспорта).

2) Познакомили К. Симонова с Иваном Алексеевичем Буниным на литературном вечере Константина Симонова в зале Шопена (Плейель. Вход с рю Дарю). После этого вечера (Константин Симонов читал свои стихи и рассказы) парижские литераторы и поэты (Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины, Надежда Александровна Тэффи, Георгий Викторович Адамович, французская писательница Банин, Антонин Петрович Ладинский и др.) встретились с К. Симоновым (и его женой) у Дюпона (кафе-ресторан, вход с авеню Ваграм, находится недалеко от рю Дарю и зала Плейель).

3) Иван Алексеевич и Вера Николаевна уехали на юг задолго до захвата Парижа немцами. В моем архиве много писем, полученных мною в те времена. Да и дневники Веры Николаевны уцелели. Перед отъездом из Парижа Иван Алексеевич чемодан (и корзину) со своим архивом отправил в Тургеневскую библиотеку (немцы потом забрали все книги, но на сундук и корзину Ивана Алексеевича не обратили, к счастью, внимания), а я свой архив передал на хранение Владимиру Залкинду (с ним я работал в Музее человека) и дочери С. В. Рахманинова (Татьяне Сергеевне Конюс), которая спрятала мой архив на чердаке своего деревенского дома в Шод Жут.

4) Во время войны жили Бунины не на берегу Средиземного моря, а в Грассе, на вилле Жаннет. В столовой находился большой радиоаппарат фирмы «Дюкрет» (который Иван Алексеевич купил до войны). По вечерам мы слушали радиопередачи. Столовая находилась в нижнем этаже.

5) С Мережковскими у Ивана Алексеевича были отношения чрезвычайно сложные. Но о презрении к З. Н. Гиппиус Ив. Алексеевич никогда не говорил...

6) Константин Симонов не упомянул Веру Николаевну Бунину, но во время ужина с Константином Симоновым были не только Н. А. Тэффи, жена Константина Симонова, Г. В. Адамович, но и хозяйка квартиры (1, rue Jacques Offenbach) — Вера Николаевна Бунина (я в это время отдыхал в деревне Нуази ле Гран. Ив. А—ч мне подробно потом рассказал о беседах с Константином Симоновым)».

[4] Бунин говорил корреспонденту газеты «Сегодня» (Рига, 1938, 25 апреля): «Вот Валентин Катаев мой, так сказать, крестник. Помню, как много лет тому назад он принес мне на даче под Одессой тетрадку со своими первыми писательскими опытами. Он показался мне талантливым, и я его благословил».

13 августа 1914 года В. П. Катаев, перед отъездом «из Одессы с санитарным поездом на театр военных действий», писал Бунину и просил о встрече, чтобы узнать его мнение о своих «последних пяти-шести вещицах» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 2, ед. хр. 118).

В 1960 году В. П. Катаев приезжал в Париж. Вера Николаевна встретила его радушно. Она писала вскоре после этого: «В прошлое воскресение у нас были Катаевы, и мы провели очень приятный вечер. Вспоминали прошлое, его юность, Одессу, общих друзей... Он ведь литературный крестник Ивана Алексеевича. Пришел к нему еще гимназистом со своими стихами, а потом всегда приходил к нам, когда мы живали в Одессе, и читал свои рассказы. Жена его нам понравилась, он ее заразил своей любовью к Бунину» (письмо от 4 ноября 1960 года автору данной работы). Воспоминания В. П. Катаева о Бунине см.: «Новый мир», 1967, № 3.

В 1946 году Бунин написал письмо К. А. Федину — опубликовано Л. Ф. Зуровым. «Новый журнал», Нью-Йорк, кн. 86, стр. 137—138.

[5] Из частной коллекции Андрея Седых. Библиотека редких манускриптов Иельского университета, Нью-Хейвен, Коннектикут, США.— В одном из обращений к «меценатам» (подписанном М. Алдановым, С. Кусевицким, С. Сориным, А. Седых, М. Чеховым и др.) содержится просьба подписаться на отдельно изданный рассказ Бунина «Речной трактир» (Нью-Йорк, 1945) и сделать взнос для сбора средств к 75-летию Бунина, который «живет в большой нужде» (типографски отпечатанный текст этого обращения-листовки прислал А. Седых).

Стр. 240

[1] Из частной коллекции Андрея Седых. Библиотека редких манускриптов Иельского университета, Нью-Хейвен, Коннектикут, США.

[2] Письмо Л. Ф. Зурова автору данной работы от 12 августа 1966 года.

[3] Альм. «Мосты», Мюнхен, 1966, № 12, стр. 273.

Стр. 241.

[1] Из частной коллекции Андрея Седых. Библиотека редких манускриптов Иельского университета, Нью-Хейвен, Коннектикут, США.

[2] Письмо А. Седых автору данной работы от 13 марта 1965 года.

[3] Там же.

[4] Из частной коллекции Андрея Седых. Библиотека редких манускриптов Иельского университета, Нью-Хейвен, Коннектикут, США.— Франсуа Мориака Бунин чрезвычайно ценил.

В предисловии к книге: Франсуа Мориак, Волчица (Genitrix) в переводе Г. Н. Кузнецовой (Париж, 1938), Бунин писал: «Франсуа Мориак один из самых замечательных и едва ли не самый замечательный из современных французских писателей...»

(стр. 7). По словам Бунина, «редко кто так знает и чувствует всю глубину падения, греха человеческой природы и вместе с тем умеет писать столь обольстительно эту греховность» (стр. 8).

Стр. 243

[1] Андрей Седых, Далекие, близкие, Нью-Йорк, 1962, стр. 241.

[2] И. А. Бунин, Происхождение моих рассказов.— «Литература и жизнь», М. 1960, 5 августа.

[3] «Воздушные пути», Нью-Йорк, 1963, № 3, стр. 207.

Стр. 252

[1] Из частной коллекции Андрея Седых. Библиотека редких манускриптов Иельского университета, Нью-Хейвен, Коннектикут, США.— Бунин написал «Литературное завещание», которое опубликовано с комментариями Л. Ф. Зурова в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1961, кн. 66).

[2] О похоронах Бунина Л. Ф. Зуров писал мне 11 августа 1967 года: «Посылаю вам выдержку из моего письма (отправленного 1-го февраля 1954 года):

«...30 января, на восходе солнца, перенесли тело Ивана Алексеевича из временного склепа в постоянный (временный склеп находился недалеко от кладбищенских ворот. В нем стоял, дожидаясь погребения, — среди других гробов, — гроб Ивана Алексеевича. Вера Николаевна после смерти мужа купила на кладбище место для могилы и попросила бюро похоронных процессий соорудить склеп для двух гробов). Мы с Верой Николаевной выехали в это морозное утро из спящего еще Парижа с Конюсами в Сен-Женевьев-де-Буа. Поля были под снегом. Во время панихиды перед поднятием гроба солнце выходило из-за леса. Снег розовел. Служба была строгая, напоминающая зимнее фронтовое погребение. Бенуа построил там псковскую церковь с звонницей. Когда гроб понесли к могиле, перезванивали маленькие колокола. А гроб был за сургучными печатями... Мороз был жестокий. Нам подали на лопате землю, она смерзлась комками. Провожало Ивана Алексеевича к могиле всего одиннадцать человек (кладбищенский священник, Вера Николаевна, Татьяна Сергеевна Конюс, Борис Юльевич Конюс, князь Галицын с женой, Л. Ф. Зуров, четыре певчих. На кладбище находился полицейский комиссар, а гроб несли четыре служащих из бюро погребальных процессий). Утро было суровое, на дорогах гололедица, надо было встать в шесть часов утра (таковы французские правила: тело переносят всегда утром до девяти часов в присутствии полицейской власти). Вера Николаевна очень страдала. Это погребение она перенесла тяжелее торжественного отпевания Ивана Алексеевича осенью на рю Дарю».

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ **

Фронтиспис. И. А. Бунин. 14 декабря 1933. Стокгольм.

В тексте

Стр. 24. Письмо И. А. Бунина — А. П. Чехову, автограф. Январь 1891.

Стр. 185. И. А. Бунин, «Псальма про сироту», автограф, датированный автором: «28 февр. (13 марта) 1913 г. Анакапри».

Стр. 199. Стихотворение И. А. Бунина «Война», 12. IX. 1915, с правкой автора.

Стр. 242. Письмо Франсуа Мориака — И. А. Бунину, на французском языке, автограф Бунина. 16 октября 1950.

В альбоме

1. И. А. Бунин. Конец 1880 — начало 1890-х годов, с надписью Бунина: «Вот эту. И. А. Бунин в начале литературной деятельности».
2. И. А. Бунин. 1891.

* 3. И. А. Бунин, В. В. Пащенко. 1892.

* 4. А. Н. Цакни. Фотография с надписью Бунина на обороте: «23 сентября 1898 г.», Одесса.

** Фотографии, отмеченные звездочкой, публикуются впервые. Большая часть остальных печаталась или в зарубежной прессе, или в русских газетах и журналах дореволюционных лет и теперь мало кому известны.

5. И. А. Бунин. 1899. С дарственной надписью Бунина М. А. Алданову: «Дорогой Марк Александрович, вот какой был я когда-то, на пороге моего более или менее пристойного писательства, в дни, когда были у меня синие прекрасные глаза, темный пятнистый румянец на щеках, чудесные темно-каштановые волосы, молодые красивые руки... Примите этот портрет в знак моей неизменной любви к вам и на память о нашей двадцатилетней дружбе,— да продлит ее бог! Ив. Бунин. Париж, 5 ноября 1945».
6. А. П. Чехов. Фотография с дарственной надписью: «Милому Ивану Алексеевичу Бунину от коллеги. Антон Чехов. 1901. II. 19».
7. И. А. Бунин. 17 июля 1902. Одесса.
8. Ю. А. Бунин.
9. Ф. И. Шаляпин. Фотография с дарственной надписью: «Милый Ваня! Мой бог свободен от цензуры, и я ликую! Тебя любящий Федор Шаляпин. Бунину. 30. X. 902».
* 10. А. Н. Бунин, отец поэта.
11. С. Г. Скиталец, М. Горький, Л. Н. Андреев, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин, Н. Д. Телешов, Е. Н. Чириков. Декабрь 1902, Москва.
12. И. А. Бунин, М. П. Чехова, 1900—1902.
* 13. Сын И. А. Бунина Николай. Декабрь 1904, Одесса.
* 14. И. А. Бунин, В. Н. Муромцева. Декабрь 1906. Москва.
* 15. Л. А. Бунина, мать поэта.
16. Дом Пушешниковых в Глотове, Орловской губ.
17. И. А. Бунин. Фотография не позднее 1910 года.
* 18. Фотография с надписью И. А. Бунина: «Капри, весна 1910 г. На балконе виллы Горького. Ив. Бунин, М. Горький, его приемный сын (Зиновий), В. Муромцева (моя жена), М. Ф. Андреева и О. А. Каменская».
19. И. А. Бунин. 1911.
* 20. И. А. Бунин, А. Н. Бибиков. Конец октября 1912. Москва.
21. И. А. Бунин. 3 июля 1913.
22. Фотография с надписью Н. Д. Телешова на обороте: «Кабинет Горького. Капри, 1913 г. Снято после чтения Ив. Буниным своего рассказа. Сидят: Горький, Шаляпин, Максим — сын Горького; Ив. Бунин; впереди Бунина — Евг. Ляцкий; рядом с Буниным — его жена Вера Николаевна Муромцева; жена Шаляпина — Мария Валентиновна; Пешкова Екатерина Павловна; ниже — Новиков-Прибой. Стоят: жена Тихонова Варвара Васильевна, Старк Леонид Николаевич, Тихонов Ал. Н., Гусев Серг. Ник., Сикорская Мар. Вас. и ее муж Лоренц (Метцнер)».

23. И. А. Бунин. 1915. Фотография с дарственной надписью: «Дорогому Абраму Борисовичу Дерману. Ив. Бунин. 1. V. 1917».

* 24. И. А. Бунин. 1918.

* 25. С. В. Рахманинов, И. А. Бунин. Канны, 1926.

* 26. Вилла «Жаннетт», Грасс.

* 27. Слева направо: Г. Н. Кузнецова, И. А. Бунин, В. Н. Муромцева-Бунина. Грасс. 1930-е годы.

28. Слева направо: Г. Н. Кузнецова, И. Троцкий, В. Н. Муромцева-Бунина, А. Седых, И. А. Бунин, «Святая Лючия» — по традиции поздравляющая нобелевских лауреатов, 1933, Стокгольм.

* 29. В. Н. Муромцева-Бунина.

30. И. А. Бунин. 1940-е годы.

31. Могила И. А. Бунина. Сен-Женевьев-де-Буа, под Парижем. Надгробие — по рисунку художника А. Н. Бенуа.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



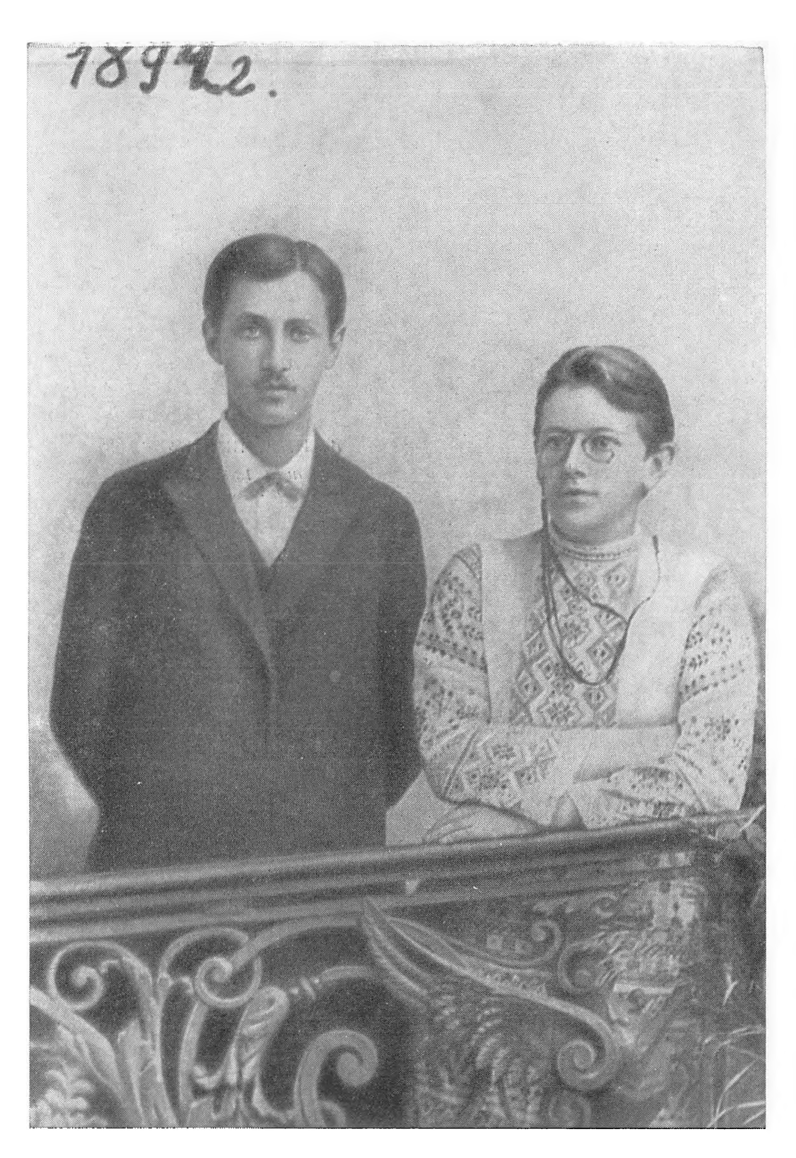


1. И. А. БУНИН

Конец 1880 — начало 1890-х годов

2. И. А. БУНИН

1891



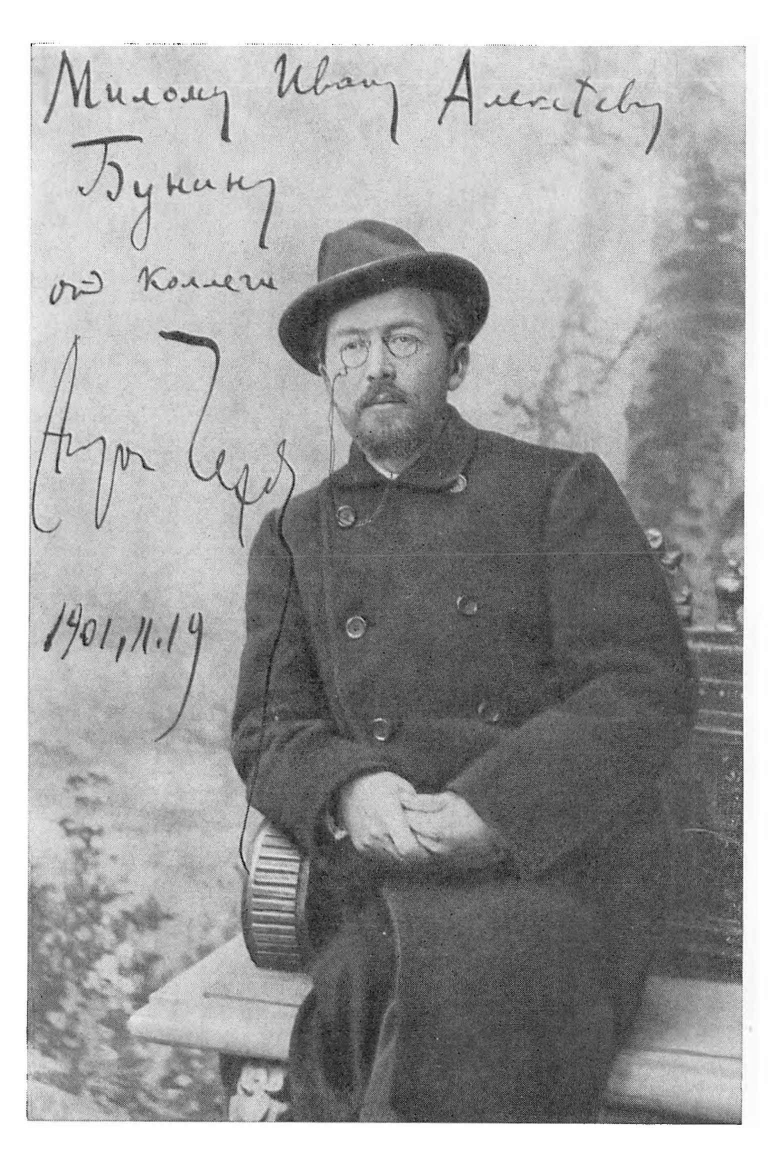
3. И. А. БУНИН, В. В. ПАЩЕНКО

1892



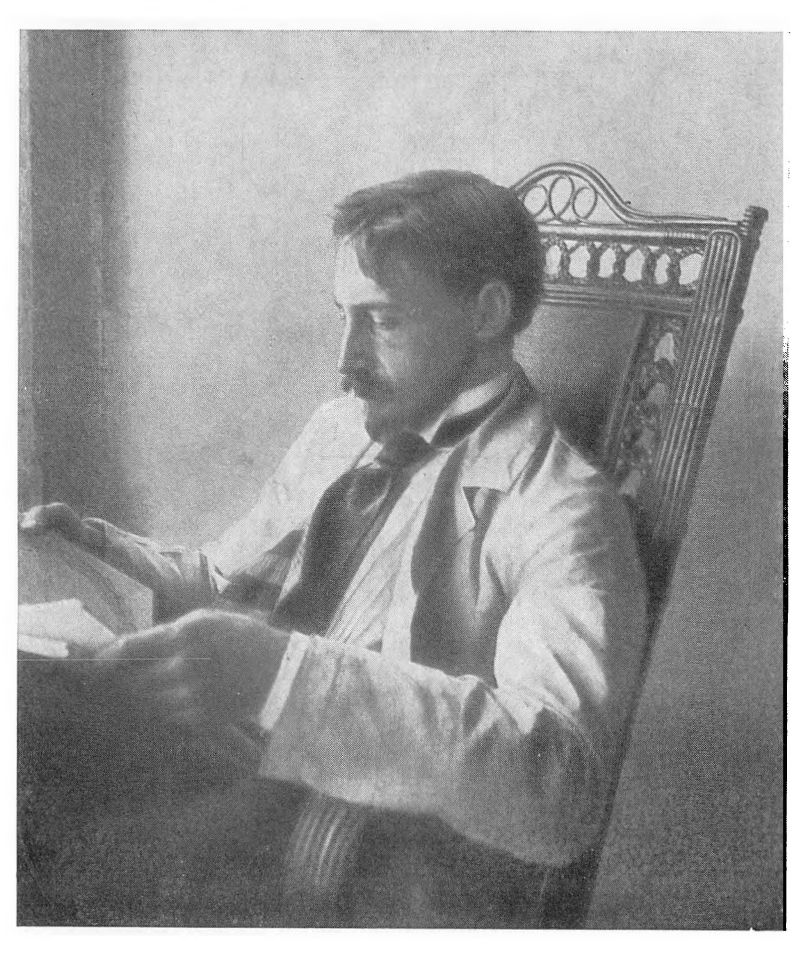
4. А. Н. ЦАКНИ
Одесса. 1898

5. И. А. БУНИН
1899



6. А. П. ЧЕХОВ

1901



7. И. А. БУНИН

Одесса. 1902



8. Ю. А. БУНИН



9. Ф. И. ШАЛЯПИН

1902

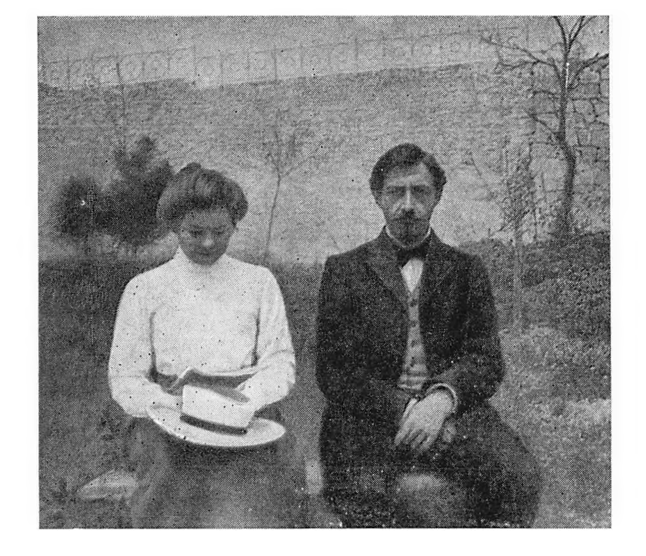


10. А. Н. БУНИН,
отец поэта



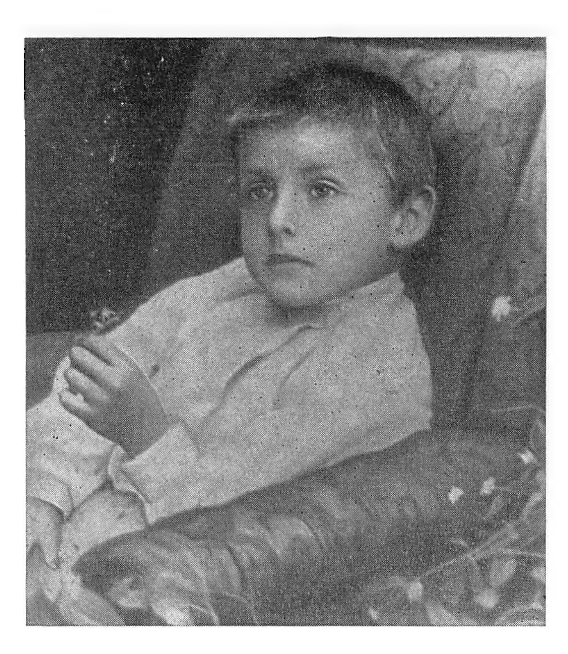
11. Слева направо, стоят: С. Г. Скиталец, М. Горький; сидят: Л. Н. Андреев, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин, Н. Д. Телешов, Е. Н. Чириков.

Москва 1902



12. И. А. БУНИН, М. П. ЧЕХОВА

1900—1902



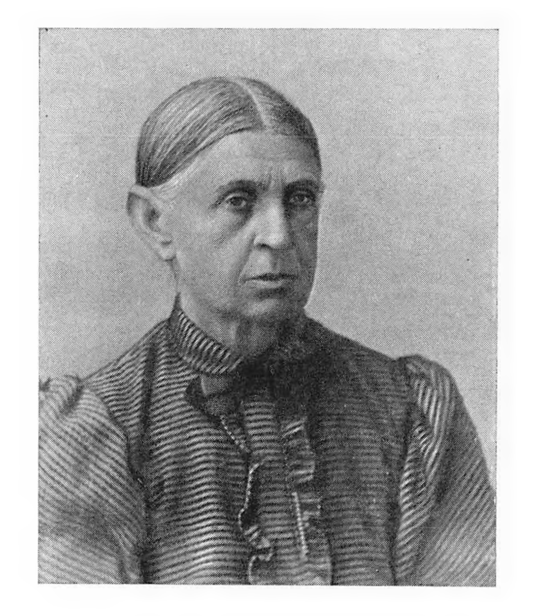
13. Сын И. А. Бунина Николай

Одесса. 1904



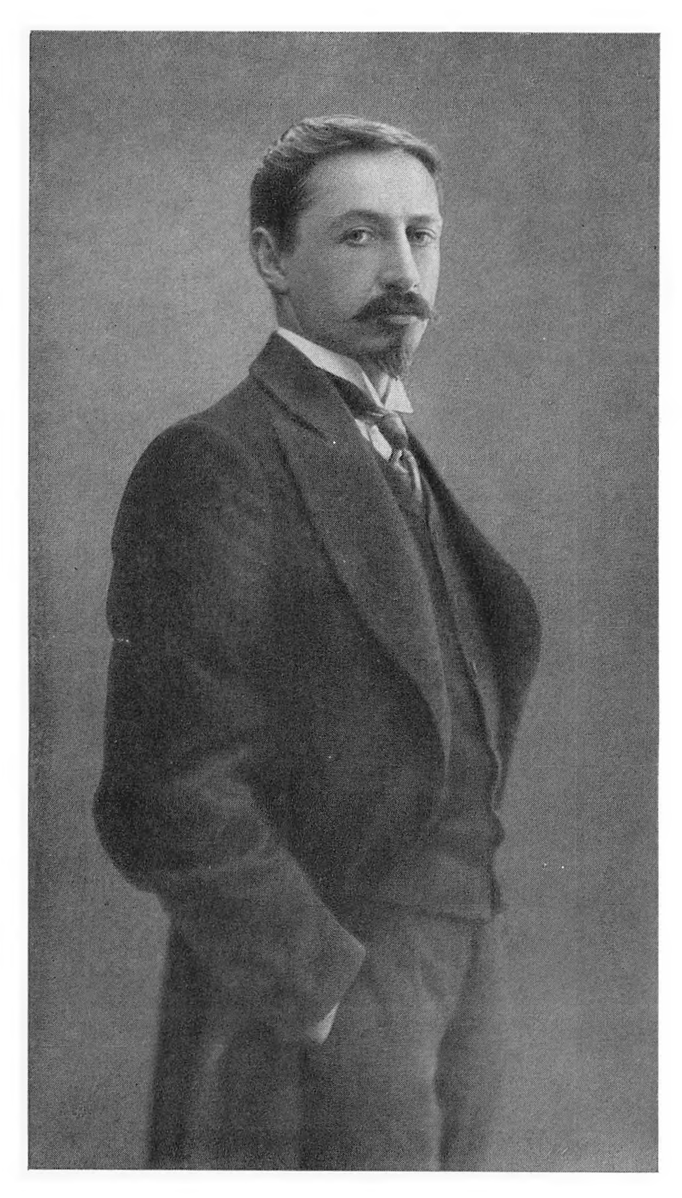
14. И. А. БУНИН, В. Н. МУРОМЦЕВА

Москва. 1906



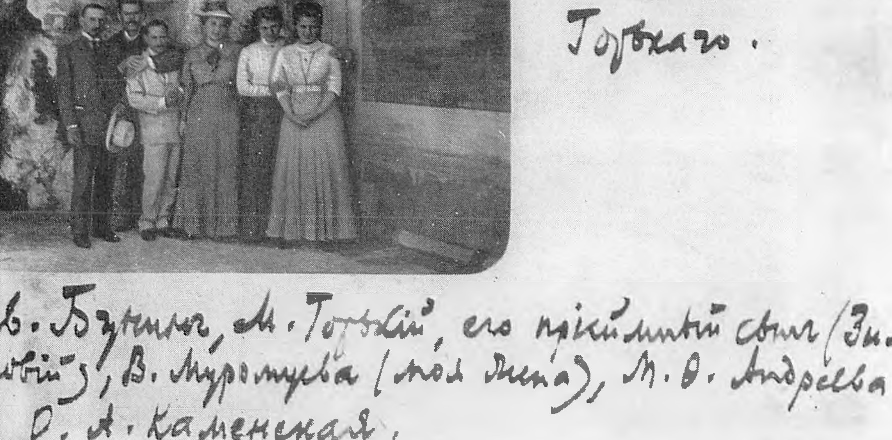
15. Л. А. БУНИНА,
мать поэта

16. Дом Пушешниковых в Глотове, Орловской губ.



17. И. А. БУНИН

Не позднее 1910 года



18. Слева направо: И. А. Бунин, М. Горький, З. А. Пешков, В. Н. Муромцева, М. Ф. Андреева, О. А. Каменская.

Капри. 1910



19. И. А. БУНИН

1911



20. И. А. БУНИН, А. Н. БИБИКОВ

Москва. 1912



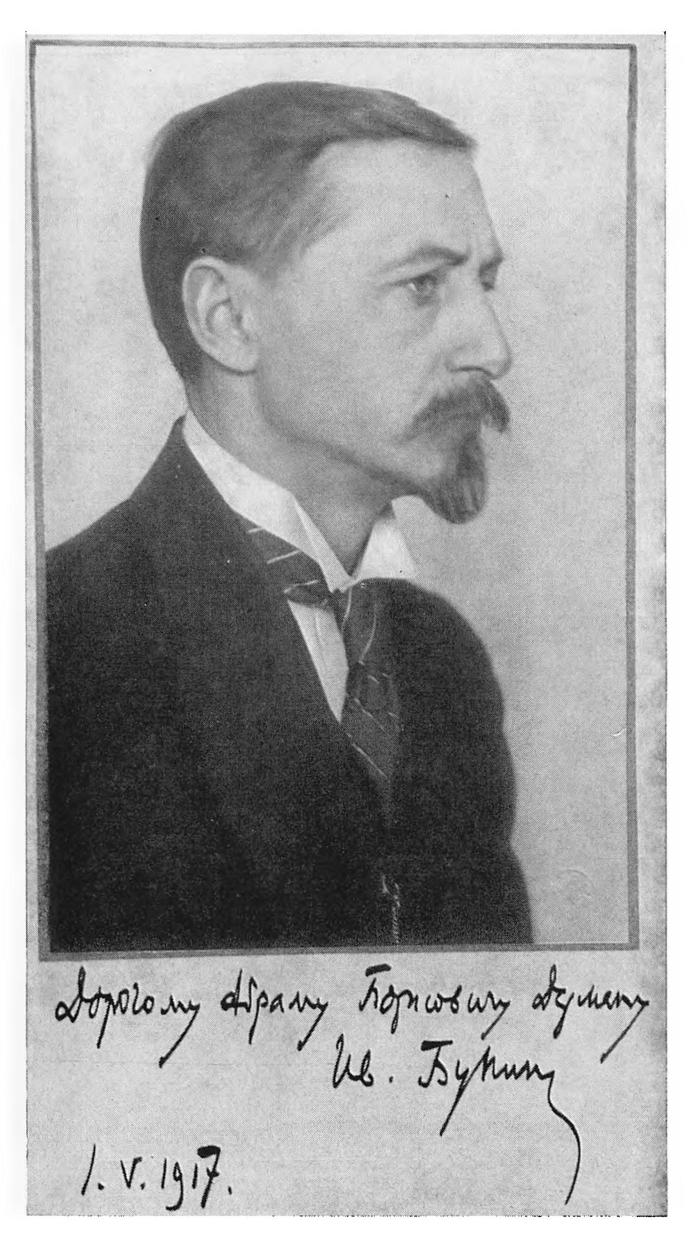
21. И. А. БУНИН

1913



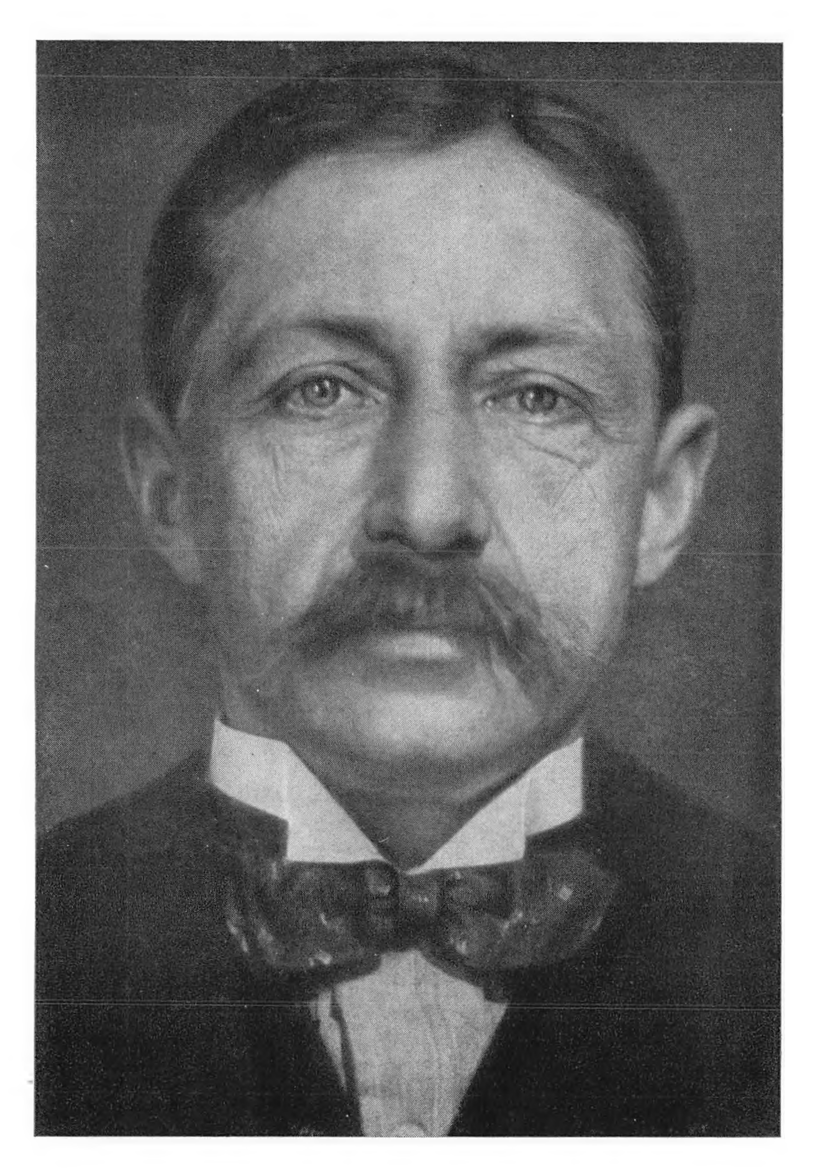
2. Слева направо: в 1-м ряду — М. Горький, Ф. И. Шаляпин, Е. А. Ляцкий; о 2-м ряду — М. А. Пешков, И. А. Бунин, В. Н. Муромцева, М. В. Шаляпина Петцольд), Е. П. Пешкова, А. С. Новиков-Прибой; в 3-м ряду — В. В. Шей-евич, Л. Н. Старк, А. Н. Тихонов, С. Н. Гусев, М. В. Сикорская, А. К. Лоренц-Метцнер.

Капри. 1913



23. И. А. БУНИН

1915



24. И. А. БУНИН

1918

С. В. Рахманиновъ
и
И. А. Бунинъ.
Лѣто 1926 г.
Cannes, a.m.

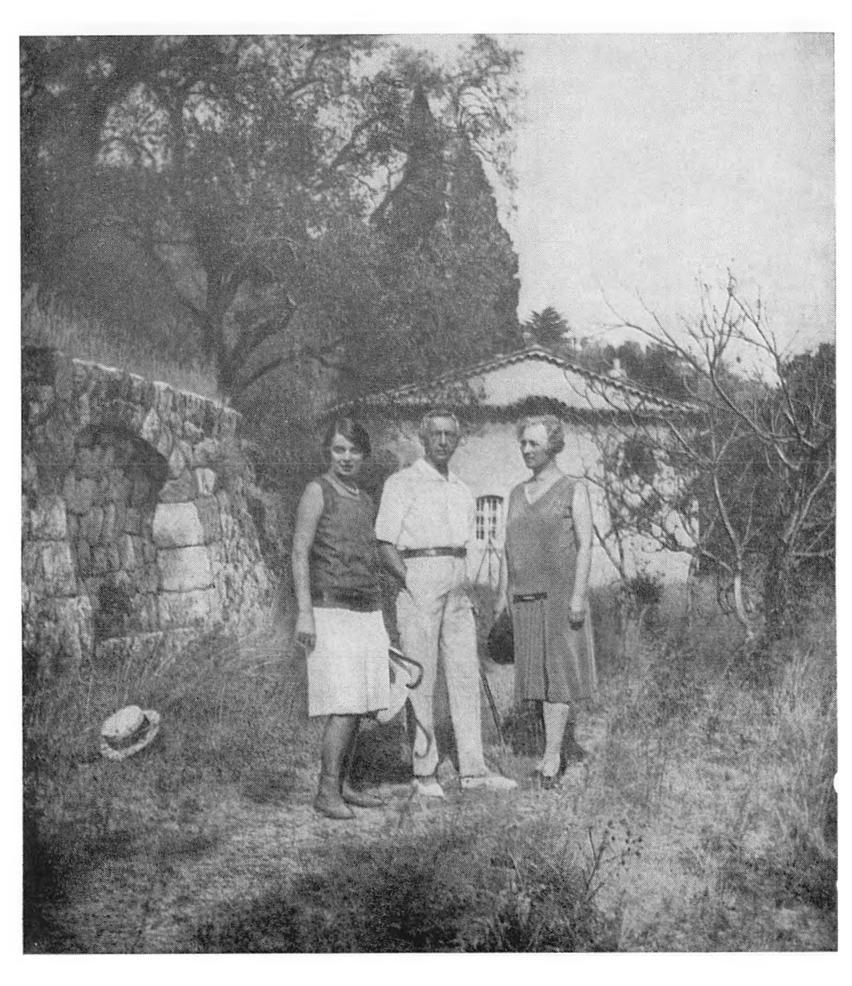
25. С. В. РАХМАНИНОВ, И. А. БУНИН

Канны. 1926



26. Вилла «Жаннетт»

Грасс



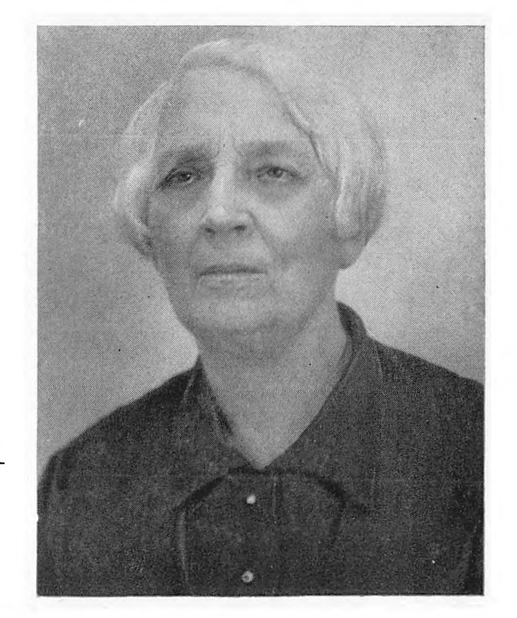
27. Слева направо: Г. Н. Кузнецова, И. А. Бунин, В. Н. Муромцева-Бунина.

Грасс. 1930-е годы

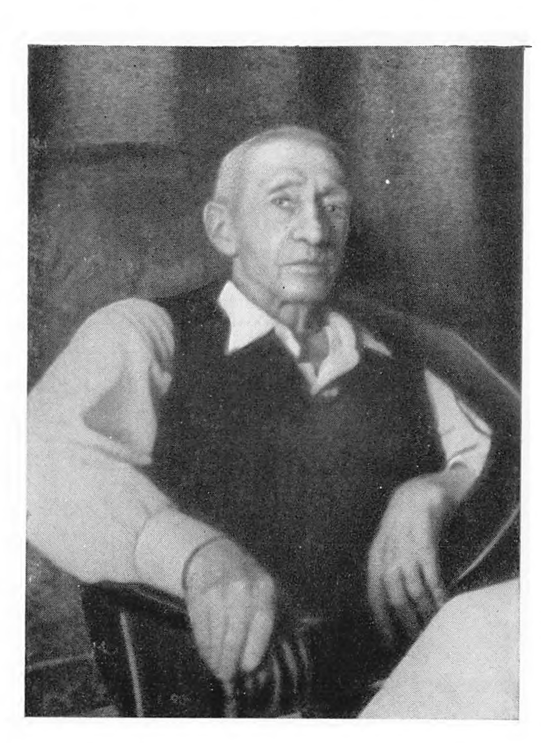


28. Слева направо: Г. Н. Кузнецова, И. Троцкий, В. Н. Муромцева-Бунина, А. Седых, И. А. Бунин, «Лючия».

Стокгольм. 1933



29. В. Н. МУРОМЦЕВА-БУНИНА



30. И. А. БУНИН
1940-е годы



31. Могила И. А. Бунина.

Сен-Женевьев-де-Буа, под Парижем

Бабореко

Александр Кузьмич

И. А. Бунин

Материалы для биографии

Редактор **Е. Мельникова**

Художеств. редактор **Г. Андронова**

Технический редактор **В. Гриненко**

Корректоры **Р. Пунга** и **А. Юрьева**

*

Сдано в набор 11/IV 1967 г.
Подписано в печать 29/X 1967 г.
А13512. Бумага типографская № 1.
Формат 84×108 1/32—10,375 печ. л. 17,43 усл. печ. л.
15,929 + 1 вкл. + альбом = 17,151 уч.-изд. л.
Тираж 15 000. Заказ 133. Цена 1 р. 02 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Московская типография № 20
Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете
Министров СССР
Москва, 1-й Рижский пер., 2